ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 3

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1852–1856 ГГ.

Лев Николаевич

ТОЛСТОЙ

Полное собрание сочинений . Том 3.
Произведения 1852-1856

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва — 1935

LÉON TOLSTOÏ

OEUVRES COMPLÈTES

SOUS LA RÉDACTION GÉNERALE
de V. TCHERTKOFF

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:
A. GROUSINSKY, N. GOUDZY, N. GOUSSEFF, N. PIKSANOFF,
N. RODIONOFF, P. SAKOULINE, V. SRESNEVSKY, A. TOLSTAÏA,
M. TSIAVLOVSKY et K. CHOKHOR-TROTSKY

SANCTIONNÉE PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:
V. BONTCH-BROUÏÉVITCH, I. LOUPPOL et M. SAVELIEFF

PREMIÈRE SÉRIE
OEUVRES

TOME
3

ÉDITION D'ÉTAT
MOSCOU — 1935

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ
А. Е. ГРУЗИНСКОГО, Н. К. ГУДЗИЯ, Н. Н. ГУСЕВА, Н. К. ПИКСАНОВА,
Н. С. РОДИОНОВА, Н. Н. САКУЛИНА, В. И. СРЕЗНЕВСКОГО, А. Л. ТОЛСТОЙ,
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО и К. С. ШОХОР-ТРОЦКОГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
В СОСТАВЕ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА, И. К. ЛУППОЛА
и М. А. САВЕЛЬЕВА

СЕРИЯ ПЕРВАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ
3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1 9 3 5

Перепечатка разрешается безвозмездно

Reproduction libre pour tous les pays.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1852 — 1856 гг.

РЕДАКТОРЫ:
Н. М. МЕНДЕЛЬСОН
С. Л. Т О Л С Т О Й

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.

В настоящий том входят шесть произведений 1852—1856 гг.: «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный» («Встреча в отряде с московским знакомым»), «Записки маркера», «Метель» и «Два гусара».

Рукописный материал, впервые печатаемый в этом томе, представлен двумя незаконченными произведениями: «Поездка в Мамакай-юрт» и «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», затем вариантами рассказа «Разжалованный», которые показывают, на какие цензурные уступки вынужден был итти Толстой, наконец, вариантами к «Набегу», «Рубке леса» и «Запискам маркера». Из двадцати четырех вариантов «Набега» впервые публикуются пятнадцать; впервые печатаются единственный сохранившийся набросок начала «Рубки леса», а также семь вариантов «Записок маркера».

Рассказ «Святочная ночь (Как гибнет любовь)», в последние годы дважды напечатанный по новой орфографии, впервые дан в орфографии подлинника. Страничка с перечнем глав этого произведения, сделанным в процессе его создания, и два варианта печатаются впервые.

Печатные варианты к «Набегу», «Рубке леса» и «Запискам маркера» по журнальным текстам дают представление об исключительно-суровых цензурных условиях, при которых эти рассказы впервые увидели свет.

В текстологических работах над рассказами «Святочная ночь», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» и «Записки маркера» принимали участие А. И. Толстая-Попова и П. С. Попов.

Н. М. Мендельсон.

С. Л. Толстой.

Москва, 24 июня 1930 г.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с сохранением больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Н. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого (произведения неотделанные, незаконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, например, крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кот.», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в

прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» и т. п., лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова в процессе беглого письма, для экономии времени и сил, писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится [*1 неразобр.*] или: [*2 неразобр.*], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сносках, а в самом тексте и ставятся в ломаных ⟨ ⟩ скобках; однако в отдельных случаях допускается воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных ⟨ ⟩ скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: *Абзац редактора.*

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Обозначения: *, **, *, *, *, *, в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Толстого, * — что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и * — что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
1851 [?] г.

Размер подлинн

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1852 — 1856 гг.

НАБЕГ.

РАССКАЗ ВОЛОНТЕРА.

(1852)

I.

Двенадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке — форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его, — вошел в низкую дверь моей землянки.

— Я прямо от полковника, — сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил: — завтра батальон наш выступает.

— Куда? — спросил я.

— В NN. Там назначен сбор войскам.

— А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение?

— Должно быть.

— Куда же? как вы думаете?

— Что думать? Я вам говорю, что̀ знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала — привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на два дня сухарей ; а куда, зачем, надолго ли? этого, батюшка, не спрашивают: велено итти и — довольно.

— Однако, если сухарей берут только на два дня, стало, и войска продержат не долее.

— Ну, это еще ничего не значит...

— Да как же так? — спросил я с удивлением.

— Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!

— А мне можно будет с вами итти? — спросил я, помолчав немного.

— Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?..

— Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дождаться случая видеть дело, — и вы хотите, чтобы я пропустил его.

— Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с Богом. И славно бы! — сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что ни за что не останусь.

— И чего вы не видали там? — продолжал убеждать меня капитан. — Хочется вам узнать, какие сражения бывают? прочтите Михайловского-Данилевского «Описание Войны» — прекрасная книга: там всё подробно описано, — и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

— Напротив, это-то меня и не занимает, — отвечал я.

— Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот, в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.

— Что, он храбрый был? — спросил я его.

— А Бог его знает: всё, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.

— Так, стало быть, храбрый, — сказал я.

— Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают..

— Что же вы называете храбрым?

— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос: — *храбрый тот, который ведет себя как следует*, сказал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определе-

ния греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*.

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

— Да, — сказал я: — мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, — трусость: поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчности рискует жизнию, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом.

Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.

— Ну, уж этого не умею вам доказать,— сказал он, накладывая трубку: — а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) и — живая грамота — могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка.

— Вот это неопалимой купины наша матушка-заступница,— сказала она, с крестом поцаловав изображение Божией Матери и передавая мне в руки: — потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на *Капказ*, я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок Божией Матери. Вот уж восемнадцать лет, как Заступница и угодники святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был!.. Как мне Михайло, что̀ с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что̀ и знаю про него, так только

от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет — меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

— Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит, — продолжала она: — я его им благословляю. Заступница Пресвятая защитит его! Особенно в сражениях, чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.

— Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку, — продолжала старушка: — он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а всё из одного жалованья! Истинно век благодарю Бога, — заключила она со слезами на глазах: — что дал Он мне такое дитя.

— Часто он вам пишет? — спросил я.

— Редко, батюшка: нечто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит жив и здоров, а коли что, избави Бог, случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери; капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

— Да, славная старуха, — сказал он оттуда несколько глухим голосом: — приведет ли еще Бог свидеться.

В этих простых словах выражалось очень много любви и печали.

— Зачем вы здесь служите? — сказал я.

— Надо же служить,— отвечал он с убеждением. — А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит.

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самбротолический табак*. Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть

прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.

II.

В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая попашка, с опустившимся пожелтевшим курпеем,[1] и незавидная азиятская шашка через плечо. Беленький маштачок,[2] на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какою-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки, и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки,[3] подле берега небольшой речки, которая в это время *играла*, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держидерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностию и выпуклостию на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающею ясностию виднелись ярко-белые,

[1] *Курпей* на кавказском наречии значит овчина.

[2] *Маштак* на кавказском наречии значит небольшая лошадь.

[3] *Балка* на кавказском наречии значит овраг, ущелье.

матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом, — одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах *самбротолического табаку* и трута показался мне необыкновенно приятным.

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с *тордоканьем*[1] и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поровнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья, и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

— И куда скачет? — с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.

— Кто это такой? — спросил я его.

— Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты... Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.

— Верно, он в первый раз идет в дело? — сказал я.

— То-то и радешенек! — отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой. — Молодость!

---

[1] *Тордоканье* — крик фазана.

— Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.

Капитан помолчал минуте две.

— То-то я и говорю: молодость! — продолжал он басом. — Чему радоваться, ничего не видя! Вот, как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь 20 человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть — уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а после завтра третьему: так чему же радоваться-то?

III.

Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись, и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышался изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях — большею частию унтер-офицеры — шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные навьючённые верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на Кавказе, джигитовали,[1] то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою.

Сажен сто впереди пехоты на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, *который хоть кому правду в глаза отрежет*, высокий и красивый офицер в азиятской одежде. На нем был черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами,[2] желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных сафьянных ножнах с галунами

---

[1] *Джигит* — по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад *джигитовать* соответствует слову «храбриться».

[2] *Чиразы* значит галуны, на кавказском наречии.

и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей — генералов, полковников, адъютантов, — даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени, — но он считал своей непременной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками[1] в одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться, — но всё это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги, и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отомстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства. Но любовница его, — черке-

[1] *Кунак* — приятель, друг, на кавказском наречии.

шенка, разумеется, — с которой мне после случалось видеться, — говорила, что он был самый добрый и кроткий человек, и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услыхал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли; но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости, ночью, был пожар, и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.

Фамилия его была *Розенкранц*; но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.

IV.

Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось

нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-та-тай...
В прошедшие годы.

В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось цаловаться и изъясняться в любви со всеми... Бедный мальчик! он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке, — не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился наконец на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил. Два офицера сидели под повозкой и на погребце играли в дурачки.

Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя было и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге!

V.

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили в широкие, укрепленные ворота крепости NN. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батарейки и сады

с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата, где я остановился, я успел заметить в крепости NN то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двуместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки», играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому: «Уж позвольте... что насчет политики, Марья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид,[1] в изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил пискливую, сломанную шарманку, и по всему форштату разносились звуки финала из «Лючии». Две женщины в шумящих платьях, повязанные шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у завалинки низенького домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару.

Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успел объяснить ему свое желание, и он — сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил, и остановилась у крыльца. Из кареты вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими эполетами и прошел к генералу.

---

[1] *См. ниже в Словаре трудных для понимания слов.*

— Ах, извините, пожалуйста, — сказал мне адъютант, вставая с места: — мне непременно нужно доложить генералу.

— Кто это приехал? — спросил я.

— Графиня, — отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх.

Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену.

— Bonsoir, madame la comtesse,[1] — сказал он, подавая руку в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошенькое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в окне кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал:

— Vous savez, que j'ai fait voeu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir.[2]

В карете засмеялись.

— Adieu donc, cher général.[3]

— Non, à revoir, — сказал генерал, всходя на ступеньки лестницы: — n'oubliez pas, que je m'invite pour la soirée de demain.[4]

Карета застучала дальше.

«Вот еще человек, — думал я, возвращаясь домой,— имеющий всё, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность, — и этот человек перед боем, который Бог один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале!»

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека, который еще больше удивил меня: это — молодой поручик К.

---

[1] [Добрый вечер, графиня,]

[2] [Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной.]

[3] [Ну, прощайте, дорогой генерал.]

[4] [Нет, до свиданья, — не забудьте, что я напросился к вам завтра вечером.]

полка, отличавшийся своей почти женской кротостью и робостью, который пришел к адъютанту изливать свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и т. д. Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили итти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли... Я совершенно ничего не понимал.

VI.

В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставень землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышевыми крышами, казались еще выше и чернее.

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге... На реке без умолку звенели лягушки;[1] на улицах слышны были то торопливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки шарманки: то *виют витры*, то какого-нибудь «Aurora-Walzer».

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость, а во-вторых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался так, что даже

[1] Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек.

не заметил, как колокол пробил 11, и генерал со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.

Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распоряжающимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии и ехавших верхом между орудиями офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший: «Агхтингхист, падай паааальник!» и голос солдатика, торопливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Большая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на верхушки их слабый и дрожащий полусвет, резко противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что, казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы; по сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные, то какие-то странные люди, и я узнавал, что это были кусты, только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которою они были покрыты.

Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен: это были авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас подвигалась такая же черная мрачная масса; но она была ниже первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекий заунывный вой чакалок, похожий то на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те ночные, чуть слышные движения природы, которые невозможно ни понять, ни определить, сливались в один полный прекрасный звук,

который мы называем тишиною ночи. Тишина эта нарушалась или, скорее, сливалась с глухим топотом копыт и шелестом высокой травы, которые производил медленно двигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фырканье лошади. По запаху сочной и мокрой травы, которая ложилась под ногами лошади, легкому пару, подымавшемуся над землей, и с двух сторон открытому горизонту можно было заключить, что мы идем по широкому роскошному лугу.

Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра.

VII.

Мы ехали уже более двух часов. Меня пробирала дрожь и начинало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором отдалении черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами; спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка пистолета в шитом кобуре; огонек папиросы, освещающий русые усы, бобровый воротник и руку в замшевой перчатке. Я нагибался к шее лошади, закрывал глаза и забывался на несколько минут; потом вдруг знакомый топот и шелест поражали меня: я озирался, — и мне казалось, что я стою на месте, что черная стена, которая была передо мной, двигается на меня, или что стена эта остановилась, и я сейчас наеду на нее. В одну из таких минут меня поразил еще сильнее тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое ущелье и приближались к горной реке, которая была в это время во всем разливе.[1] Гул усиливался, сырая трава становилась гуще и выше, кусты попадались чаще,

[1] Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце.

и горизонт постепенно суживался. Изредка на мрачном фоне гор вспыхивали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали.

— Скажите, пожалуйста, что это за огни? — спросил я шопотом у татарина, ехавшего подле меня.

— А ты не знаешь? — отвечал он.

— Не знаю.

— *Это горской солома на таяк* [1] *связал и огонь махать будет.*

— Зачем же это?

— *Чтобы всякий человек знал — русской пришел. — Теперь в аулах*, — прибавил он, засмеявшись: — *ай-ай, томаша* [2] *идет, всякий хурда-мурда* [3] *будет в балка тащить.*

— Разве в горах уже знают, что отряд идет? — спросил я.

— *Эй! как можно не знает! всегда знает: наши народ такой!*

— Так и Шамиль теперь сбирается в поход? — спросил я.

— *Йок*,[4] — отвечал он, качая головой в знак отрицания. — *Шамиль на похода ходить не будет*; *Шамиль наиб* [5] *пошлет, а сам труба смотреть будет, наверху.*

— А далеко он живет?

— *Далеко нету. Вот, левая сторона, верста десять будет.*

— Почему же ты знаешь? — спросил я. — Разве ты был там?

— *Был: наша все в горах был.*

— И Шамиля видел?

— *Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид* [6] *кругом. Шамиль середка будет!* — прибавил он с выражением подобострастного уважения.

Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившееся небо начинало светлеть на востоке, и стожары опускаться к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро и мрачно.

---

[1] *Таяк* значит шест, на кавказском наречии.

[2] *Томаша* значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках.

[3] *Хурда-мурда* — пожитки, на том же наречии.

[4] *Йок* по-татарски значит нет.

[5] *Наибами* называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления.

[6] Слово *мюрид* имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и громкий пронзительный крик. Это был неприятельский передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстрелили наудачу и разбежались.

Всё смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарин в белой черкеске подъехал к нему и о чем-то шопотом и с жестами довольно долго говорил с ним.

— Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь, — сказал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом.

Отряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сзади; начинало светать. Небосклон, на котором чуть заметны были бледные, неяркие звезды, казался выше; зарница начинала ярко блестеть на востоке; свежий, прохватывающий ветерок тянул с запада, и светлый туман, как пар, подымался над шумящей рекой.

VIII.

Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитою стали переправляться. Вода была лошадям по груди, с необыкновенной силой рвалась между белых камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды, и образовывала около ног лошадей пенящиеся, шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы, настороживали уши, но мерно и осторожно шагали против течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и оружие. Пехотные солдаты, буквально в одних рубахах, поднимая над водою ружья, на которые надеты были узлы с одеждой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с заметным, по их напряженным лицам, усилием старались противостоять течению. Артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящики, через которые изредка хлестала вода, звенели о каменное дно; но добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выбирались на другой берег.

Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность, повернул лошадь и с конницею рысью поехал по широкой, окруженной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу виднеется пеший человек в черкеске и папахе, другой, третий... Кто-то из офицеров говорит: «это татары». Вот показался дымок из-за дерева... выстрел, другой... Наши частые выстрелы заглушают неприятельские. Только изредка пуля, с медленным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехота беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь; слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипение ракет, трескотня ружей. Конница, пехота и артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росою зеленью и туманом. Полковник Хасанов подскакивает к генералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь.

— Ваше превосходительство! — говорит он, приставляя руку к папахе, — прикажите пустить кавалерию: показались значки,[1] — и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках.

— С Богом, Иван Михайлыч! — говорит генерал.

Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку и кричит: «Ура!»

— Ура! Ура! Ура! — раздается в рядах, и конница несется за ним.

Все смотрят с участием, вон значок, другой, третий, четвертый...

Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огонь. Пули летают чаще.

— Quel charmant coup d'oeil![2]—говорит генерал, слегка припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

— Charrmant! — отвечает грассируя майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к генералу. — C'est un vrrai plaisirr, que la guerre dans un aussi beau pays,[3] — говорит он.

— Et surtout en bonne compagnie,[4] — прибавляет генерал с приятной улыбкой.

---

[1] Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его.

[2] [Какое прекрасное зрелище!]

[3] [Очаровательно! Истинное наслаждение — воевать в такой прелестной стране,]

[4] [И особенно в хорошей компании,]

Майор наклоняется.

В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть; но никто, кроме меня, как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски.

— Прикажете отвечать на их выстрелы? — спрашивает, подскакивая, начальник артиллерии.

— Да, попугайте их, — небрежно говорит генерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают, и дым, в котором едва можно различить движущуюся прислугу около орудий, застилает глаза.

Аул обстрелян. Снова подъезжает полковник Хасанов и, по приказанию генерала, летит в аул. Крик войны снова раздается, и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли.

Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что̀ мне казалось лишним — и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух.

IX.

Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитою, в которую вмешался и я, подъехал к нему.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми[1] деревьями; с другой — торчали какие-то странные тени, перпендикулярно

[1] *Лыча* — мелкая слива.

стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву, и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган[1] с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N, тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма *самбротолического табаку* с таким равнодушным видом, что, когда я увидал его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома.

— А! и вы тут? — сказал он, заметив меня.

Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле; он без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держалась в плечах, и кривые босые ноги насилу передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими.

— Куда мне итти? — сказал он, спокойно глядя в сторону

---

[1] *Кумган* — горшок.

— Туда, куда другие ушли, — заметил кто-то.

— Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.

— Разве ты не боишься русских?

— Что̀ мне русские сделают? Я ста̀рик, — сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.

Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки, со связанными руками, трясся за седлом линейного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.

— Неприятеля, кажется, было немного, — сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле.

— Неприятеля? — повторил он с удивлением: — да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком посмотрите, как мы отступать станем: увидите, как провожать начнут: что̀ их там высыплет! — прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

— Что̀ это такое? — спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова:

— Э, не руби... стой... увидят... Нож есть, Евстигнеич?.. Давай нож...

— Что нибудь делят, подлецы, — спокойно сказал капитан.

Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

— Не трогайте, не бейте его! — кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам.

— Я думал, что это они ребенка хотят убить, — сказал он, робко улыбаясь.

X.

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости N, остался в арьергарде. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебегали от одного дерева к другому.

Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова: «иай гяур! Урус иай!» Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали беглым огнем; в рядах их только изредка слышались замечания в роде следующих: «*он* [1] откуда палит, *ему* хорошо из-за леса, *орудию* бы нужно...» и т. д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов картечью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканье.

Едва мы отступили сажен на триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убило солдата... Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу.

Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься *на ура*.

— Мы их отобьем, — убедительно говорил он: — право, отобьем.

— Не нужно, — кротко отвечал капитан: — надо отступать.

Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштачку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что не-

[1] *Он* — собирательное название, под которым кавказские солдаты разумеют вообще неприятеля.

чего было приказывать им.) Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы.

В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», сказалось мне невольно.

Он был *точно таким же, каким я всегда видал его:* те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: *таким же, как и всегда.* Но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

Француз, который при Ватерлоо сказал: «la garde meurt, mais ne se rend pas»,[1] и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости; и как же после этого не болеть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик со взводом, послышалось недружное и негромкое ура. Оглянувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах насилу-насилу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но всё подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик.

---

[1] [«гвардия умирает, но не сдается»,]

Всё скрылось в лесу...

Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко.

— Ах, какая жалость! — сказал я невольно, отворачиваясь от этого печального зрелища.

— Известно, жалко, — сказал старый солдат, который, с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня.— Ничего не боится: как же этак можно! — прибавил он, пристально глядя на раненого. — Глуп еще — вот и поплатился.

— А ты разве боишься? — спросил я.

— А то нет!

XI.

Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь, с навьюченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого.

— Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками, — сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось искреннее сожаление.

— Что, дорогой мой Анатолий Иваныч? — сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него: — видно, так Богу угодно.

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.

— Да, вас не послушался.

— Скажите лучше: так Богу угодно, — повторил капитан.

Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

— Что̀, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, — сказал он шутливо-небрежным тоном: — покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...

— Оставьте меня, — сказал он чуть слышным голосом: — всё равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «что̀ прапорщик?» мне отвечали: «*отходит*».

XII.

Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой колонной, с песнями подходил к крепости.

Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росою. Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху.

РУБКА ЛЕСА.

РАССКАЗ ЮНКЕРА.

(1852 — 1854)

I.

В середине зимы 185. года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером 14-го февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь, лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза попаху, закутался в шубу и заснул тем особенным, крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела на завтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

— Извольте вставать, — сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. — Извольте вставать, — повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. — Пехота выступает. — Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым све-

том. Вблизи слышался равномерный, спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканью и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников — где стоят орудия. Со словами: «с Богом», завзвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотою, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника.

— А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! — сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

— Кого?

— Веленчука нет-с. Как запрягали, он всё тут был, — я его видал, — а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед затем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, — а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

— Где он был? — спросил я у Антонова.

— В парке спал.

— Что, он хмелен, что ли?

— Никак нет.

— Так отчего же он заснул?

— Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханным бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались стрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто

Библиотека имени В. Д. Дешева

перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы, с некоторым соперничеством перед пехотными, разложили свой костер, и, хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра, солдатам всё казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували всё больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

— Ты форостинку зажги да подай, — сказал другой. — Пальник, братцы, подайте, — сказал третий.

Когда я, наконец, без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда, наконец, ему показа-

лось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней луговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился.

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

II.

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

1) Покорных.
2) Начальствующих и
3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на a) покорных хладнокровных, b) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на a) начальствующих суровых и b) начальствующих политичных.

Отчаянные подразделяются на a) отчаянных забавников и b) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, — тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле Божьей, — есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем несокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов,

с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда Мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении — отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, — и так же ужасно дурен во втором подразделении — отчаянных развратных, которые однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удальство в пороке — главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже 15 лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью некстати, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу; но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастие: сукно, которое стоило *семь рублей*, в ночь пропало! Веленчук, со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями, объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни пла-

кал, рассказывая про свое несчастие, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастия. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастие. Он не пил, не ел, работать даже не мог и всё плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-Богу, последние, Михаил Дорофеич, — и те у Жданова занял, — сказал он, снова всхлипывая, — а еще два рубля ей-ей отдам, как заработаю. Он (кто был *он*, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он — ехидная его мерзкая душа — у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, 15 лет служа...» К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

III.

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне; но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял

собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет.* В сущности Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова: «происходит» и «продолжать», и когда, бывало, скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов, — тот самый бомбардир Антонов, который еще в 37-м году, втроем, оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал итти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не карахтер его», говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смирнее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда негодным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на Масляницe и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к орудию, пьянствовал и буянил до самого Чистого Понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру, с короткими, выгнутыми ножками и глянцовитой усатой рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью в накидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдется по улице, — надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему не-солдатскому, игравшее в это время на его физиономии,

чтобы понять; каким образом не подраться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще не-артиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши, в походе, на смотру, на ученьи, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку»,[1] или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но, действительно, в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что̀ другим и в голову не приходило, и главное — способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что, казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил,

---

[1] Солдатская игра в карты.

не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Всё свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало, — со старшими чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как не пьющий, он имел мало случаев сходиться; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей 25, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что когда, 10 лет тому назад, он рекрутом пришел, и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уж не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал», говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастия пропажи шинели и многим, многим другим во время своей 25-летней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был 15 лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выраженья. Белая, как лунь, голова, нафабренные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, вглядевшись ближе в его большие, круглые глаза, особенно, когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское, вдруг поражало вас.

IV.

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — повторил Веленчук.

— А ты бы *сихарки* курил, милый человек! — заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. — Я так всё сихарки дома курю, она слаще!

Разумеется, все покатились со смеху.

— То-то, трубку забыл, — перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. — Ты где там пропадал? а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

— Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

— Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что̀ со мной сделалось, — отвечал Веленчук. — С какой радости напился! — проворчал он.

— То-то; а из-за вашего брата ответствуешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете — вовсе безобразно, — заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

— Ведь вот чудо-то, братцы мои, — продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности: — право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться, я собрался как следует — ничего не было, да вдруг у парке как *она* схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и всё... И как заснул, сам не слыхал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть, — заключил он.

— Ведь и то насилу я тебя разбудил, — сказал Антонов, натягивая сапог: — уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

— Вишь ты, — заметил Веленчук: — добро уж пьяный бы был...

— Так-то у нас дома баба была, — начал Чикин: — так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз,

думали, что спит, а уж она мертвая лежит, — так тоже всё на нее сон находил. Так-то, милый человек!

— А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, — сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

— Какой тон, Федор Максимыч! — сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд: — известно, рассказывал, какой такой Кашказ есть.

— Ну да, как же, как же! Ты не модничай... расскажи, как ты им *предводительствовал?*

— Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем, — начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое: — я говорю, живем хорошо, милый человек: провиянт сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата*, а в обед идет господский *суп* из перловых *круп*, а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что̀ без посуды, мол, сорок две!

— Важная модера! — громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук. — Вот так модера!

— Ну, а про эзиятов как рассказывал? — продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда, наконец, он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал.

— Тоже спрашивают, какой, говорит, там, малый, черкес, говорит, или турка у вас на Кашказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что̀ в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одном глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! — прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором, действительно, была уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся

до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: «вот так тавлинцы!»

— А то еще, говорю, мумры есть, — продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку: — те другие, — двойнешки маленькие, вот такие. Всё по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь.— Как же, говорит, малый, как же они, мумры-то, рука с рукой так и родятся, что ли? — воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. — Да, говорю, милый человек, он такой от природии. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, всё равно что̀ китаец: шапку с него сними, она, кровь, пойдет. — А кажи, малый, как они бьют-то? — говорит. — Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают, и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон...

— Ну, что̀ ж, и имели к тебе доверие, Чикин? — сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

— И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-Богу, верют! А стал им про гору *Кизбек* сказывать, что на ней всё лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! — Что̀ ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит. — Поди ты! — заключил Чикин, подмигивая.

V.

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

«Это еще было не дело, а одна потеха-с», как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир 9-й егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более 600 сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

— Видите, — говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча: — где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два. Видите? Нельзя ли их, пожалуйста...

— А вон еще трое едут, по-под лесом, — прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время: — еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!

— Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся,— сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

— Должно, в нашу цепь, прохвост! — заметил другой.

— Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят — орудию поставить хотят, — добавил третий. — Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали...

— А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? — спросил Чикин.

— Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет,— как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему так же, как и другим, ужасно хотелось выпалить: — коли 45 линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

— Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить, — продолжал упрашивать меня ротный командир.

— Прикажете навести орудие? — отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести 2-е орудие.

Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

— Чуть-чуть влево... самую малость вправо... еще, еще

трошки... так ладно, — сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.

— Ей-Богу, перенесет, — заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел чрез плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это.— Е-е-ей-Богу, перенесет, прямо в ту дерево попанет, братцы мои!

— Второе! — скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не любят!» послышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

— Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, — заметил Веленчук. — Говорил, в дереву попанет: оно и есть — взяло вправо.

VI.

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжурами*. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому.

Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? и на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

— Когда этот отряд кончится? — сказал он лениво: — скучно!

— Мне не скучно, — сказал я: — ведь в штабе еще скучнее.

— О, в штабе в десять тысяч раз хуже, — сказал он со злостью. — Нет! когда всё это совсем кончится?

— Что же вы хотите, чтоб кончилось? — спросил я.

— Всё, совсем!.. Что же, готовы битки, Николаев? — спросил он.

— Для чего же вы пошли служить на Кавказ, — сказал я: — коли Кавказ вам так не нравится?

— Знаете, для чего, — отвечал он с решительной откровенностью: — по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.

— Да, это почти правда, — сказал я: — бо́льшая часть из нас...

— Но что́ лучше всего, — перебил он меня, — что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, — всё это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д...

— Да, — сказал я смеясь: — мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?..

— Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ, — перебил он меня.

— Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе...

— Может быть, и хорош,— продолжал он с какою-то раз-

дражительностью: — знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

— Отчего же так? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

— Оттого, что, во-первых, *он* обманул меня. Всё то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, всё приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде всё это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное — то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности... просто, я не храбр...— Он остановился и посмотрел на меня. — Без шуток.

Хотя это непрошенное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

— Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле, — продолжал он: — и вы не можете себе представить, что̀ со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел, как полотно, и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не прострадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что̀ идет, — прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. — И что̀ смешно, — продолжал он: — что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. — Вино есть, Николаев? — прибавил он, зевая.

— Это *он*, братцы мои! — послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, — и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, всё, что̀ было на моих глазах в эту минуту, всё вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева, — всё это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит

в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.

— Вы где брали вино? — лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — Господи, приими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, — и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

— Вот, если бы я был Наполеон или Фридрих, — сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне: — я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

— Да вы и теперь сказали, — отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью.

— Да что ж, что сказал: никто не запишет.

— А я запишу.

— Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенков, — прибавил он улыбаясь.

— Тьфу ты проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону: — трошки по ногам не задела.

Всё мое старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.

VII.

Неприятель, действительно, поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут 20 или 30 посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, всё вдруг замолкало, средь мертвой тишины раздавались не совсем

спокойные голоса: «сторонись, ребята!» и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестки инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцовитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья... Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра — пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал на бок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Что̀, знакомая, что ли, что кланяешься?» говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направленью, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что̀ ж *он* нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

— Картечь! — крикнул Антонов лихо, в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был вышущен.

В это время недалеко сзади себя я услыхал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» — раздирающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Всё это я разобрал гораздо после; в первую минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова, только рекрутик пробормотал что-то в роде: «вишь ты как, в кровь», и Антонов, нахмурившись, крякнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с бо́льшей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

VIII.

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Что́ стали? берись!» крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных, помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

— Что̀ кричишь, как заяц! — сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу: — а нето бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами — должно быть, прощался — тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок [1] с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

— Тут три монеты и полтинник, — сказал он мне в то время, как я брал в руки черес: — уж вы их сберегите.

Повозка было тронулась; но он остановил ее.

— Я поручику Сулимовскому шинель работал. О... они мне 2 монеты дали. На $1^1/_2$ я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

— Хорошо, хорошо, — сказал я: — выздоравливай, брат̀ец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.

---

[1] Черес — кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом.

IX.

— Ты куда? Вернись! Куда ты идешь? — закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

— Куда ты шел? — спросил я.

— В лагерь.

— Зачем?

— А как же — Веленчука-то ранили, — сказал он, опять улыбаясь.

— Так тебе-то что? ты должен здесь оставаться.

Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра 3-й батальон К. полка и взвод 4-х-батарейной. Повозки и дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах, — все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с 3-м батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

X.

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: расставляли передки, ящики, разбивали коновязь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашицу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую, сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели; горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту.

— Ваше здоровье, — сказал мне подошедший Николаев: — пожалуйте к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чаю и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. «Что̀, нашел?» послышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

— Привел, ваше благородие! — басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без попахи. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнул штык со свечкой. «Каково?» с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

— А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром? — сказал он.

— Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо.

— Отчего? Нет! Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

— Отчего же вы не перейдете в Россию? — сказал я.

— Отчего? — повторил он. — О! я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

— Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

— Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердили Пассек, Слепцов и др., что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но всё-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что̀ до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу, и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, всё счастие жизни, всю будущность свою погублю.

XI.

В это время послышался снаружи голос батальонного командира: «с кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед затем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и масляными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

— О чем это толкуете, Николай Федорыч?—сказал он входя.

— Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил:

— Что̀, устали, Николай Федорыч?

— Нет, ведь мы... — начал было Болхов.

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

— А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливым и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по нескольку часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру, как одну возможную при своем образовании, и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание, — тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кисет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он с своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «я редко наказываю; но уж когда меня доведут до этого, то беда», и что когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить всё для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: «ну., вот видишь... ведь я могу...», и,

совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, т. е. человек, для которого рота, которою он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, — родиной, а песенники — единственными удовольствиями жизни, — человек, для которого всё, что̀ не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; всё же, что̀ было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное — он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустился и сел на землю.

— Ну, что̀? — сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для него лицо, остановился, вперил в меня мутный, пристальный взгляд.

— Так о чем это вы беседовали? — спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

— Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

— Разумеется, Николай Федорыч хочет здесь отличиться и потом во-свояси.

— Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

— Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. Что̀? — прибавил он, хотя все молчали. — Вчера я получил письмо из России, Николай Федорыч, — продолжал он, видимо желая переменить разговор: — мне пишут, что... такие вопросы странные делают.

— Какие же вопросы? — спросил Болхов.

Он засмеялся.

— Право, странные вопросы... Мне пишут, что может ли быть ревность без любви... Что̀? — спросил он, оглядываясь на всех нас.

— Вот как! — сказал, улыбаясь, Болхов.

— Да, знаете, в России хорошо, — продолжал он, как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой. — Когда я в 52 г. был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так знаете... очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так... что я не знал... Мою золотую шашку смотрят, как редкость какую-нибудь, спрашивают: за что шашку получил, за что — Анну, за что — Владимира, и я им так рассказывал... Что? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорыч! — продолжал он, не дожидаясь ответа: — там смотрят на нашего брата, кавказца, очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром — это много значит в России... Что?

— Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? — сказал Болхов.

— Хи-хи! — засмеялся он своим глупым смехом. — Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца!

— А что, хорошо там, в России-то? — сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

— Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

— Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Не даром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют... А, Болхов? — прибавил он.

— Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе, — сказал Болхов: — а помнишь, что Ермолов сказал; а Абрам Ильич только шесть...

— Какой десять! скоро шестнадцать.

— Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бррр!.. А? — прибавил он улыбаясь: — выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же видимо съежился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

— Вот я так уж никогда туда не поеду, — продолжал Тросенко, не обращая внимания на насупившегося майора: — я и ходить и говорить-то по русскому отвык. Скажут: что за чудо такая приехало? Сказано, Азия! Так, Николай Федорыч?

Да и что̀ мне в России! Всё равно, тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? Подстрелили. Что̀ вы тогда с восьмой ротой сделаете... а? — прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

— Послать дежурного по батальону! — крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

— А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? — сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту.

— Как же-с, очень-с.

— Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорыч, — продолжал он: — молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

— Нет, право, Абрам Ильич, — робко сказал адъютант: — хоть оно и двойное, а только что так... ведь лошадь надо иметь...

— Что̀ вы мне говорите, молодой человек! Я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите, — прибавил он, загибая мизинец левой руки.

— Всё вперед жалованье забираем — вот вам и счет, — сказал Тросенко, вышивая рюмку водки.

— Ну, да ведь на это что же вы хотите... Что̀?

В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

— Вы здесь, Абрам Ильич? а дежурный ищет вас.

— Заходите, Крафт! — сказал Болхов.

Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

— А, милый капитан! и вы тут? — сказал он, обращаясь к Тросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцаловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем», подумал я.

XII.

Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой*, и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку.

— Что̀, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни...— начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

— Что̀, вы обошли цепь?

— Обошел-с.

— А секреты высланы?

— Высланы-с.

— Так вы передайте приказание ротным командирам, чтобы были как можно осторожнее.

— Слушаю-с.

Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.

— Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.

— Они уж варят.

— Хорошо. Можете итти-с.

— Ну-с, так вот мы считали, что̀ нужно офицеру, — продолжал майор со снисходительной улыбкой обращаясь к нам. — Давайте считать.

— Нужно вам один мундир и брюки... так-с?

— Так-с.

— Это, положим, пятьдесят рублей на два года, стало быть, в год двадцать пять рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два абаза... так-с?

— Так-с; это даже много.

— Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта 30 руб.— вот и всё. Выходит всего 25 да 120 да 30=175. Всё вам остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак — рублей двадцать. Изволите видеть?.. Правда, Николай Федорыч?

— Нет-с. Позвольте, Абрам Ильич! — робко сказал адъютант: — ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься; а сапоги? я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки: всё ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это, ей-Богу-с, Абрам Ильич!

— Да, подвертки прекрасно носить, — сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово подвертки: — знаете, просто, по-русски.

— Я вам скажу, — заметил Тросенко: — как ни считай, всё выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое, — продолжал он, обращаясь к прапорщику: — тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается?

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали.

— Да ты что̀, брат, таким розаном смотришь? — продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него.— Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пу̀сти-ка сюда какого молодчика из России — видали мы их,— так у него тут и спазмы, и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот, сел тут — мне здесь и дом, и постель, и всё. Видишь...

При этом он выпил еще рюмку водки.

— А? — прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

— Вот это я уважаю! вот это истинно старый кавказец! Позвольте вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

— Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, — продолжал он: —в сорок пятом году... ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с 12 на 13, когда по коленки в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы 15 завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

— Изволите видеть... — начал Крафт чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, попеременно глядя то на того, то на дру-

гого. На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

— Вот изволите видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений — руку к козырьку. «Слушаю, ваше сиятельство!» и пошел. Только, как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! В оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю». С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната... я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули... взжинь! взжинь! взжинь!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут, как это... знаете... как это называется? — и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

— Обрыв, — подсказал Болхов.

— Нет... Ах, как это? Боже мой! ну, как это?.. обрыв, — сказал он скоро. — Только ружья наперевес... ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше — второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете. Только подошли мы, смотрим, я вижу, второй завал — нельзя итти. Тут... как это, ну, как называется этакая... Ах! как это...

— Опять обрыв, — подсказал я.

— Совсем нет, — продолжал он с сердцем: — не обрыв, а... ну, вот, как это называется, — и он сделал рукой какой-то нелепый жест. — Ах, Боже мой! как это...

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

— Река, может, — сказал Болхов.

— Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь — ад...

В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Всё врет, — сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана: — его и не было вовсе на завалах», и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

XIII.

Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябко*,[1] Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых — кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папироску. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сажен; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе. На лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало: Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинствен-

[1] Солдатское кушанье — моченые сухари с салом.

ные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отумaниться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненого в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке; ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы, и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года, один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке, и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было Бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного; они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

— Пехотные в лагерь за водкой посылали, — сказал Максимов после довольно долгого молчания: — сейчас воротились. — Он плюнул в огонь. — Унтер-офицер сказывал, нашего видали.

— Что, жив еще? — спросил Антонов, поворачивая котелок.

— Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

— Вишь, смерть-то не даром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, — сказал Антонов.

— Пустое! — сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень, — и все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

«Отче наш, Иже еси на небесех! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».

— Так-то у нас в 45 году солдатик один в это место контужен был, — сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня: — так мы его два дня на орудии возили... помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой подошел к нашему костру.

— Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку, — сказал он.

— Что ж, закуривайте: огню достаточно, — заметил Чикин.

— Это, верно, про Дарги, земляк, сказываете? — обратился пехотный к Антонову.

— Про 45 год, про Дарги, — ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки.

— Да уж было там всего, — заметил он.

— Отчего ж бросили? — спросил я Антонова.

— От живота крепко мучался. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да всё жалко было. Ну, а как *он* стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то. — Беда! совсем не думали орудия увезти. Грязь же была.

— Пуще всего, что под Индейской горой грязно было, — заметил какой-то солдат.

— Да, вот там-то ему пуще хуже стало. Подумали мы с Аношенкой, — старый фирверкин был, — что ж в самом деле, живому ему не быть, а Богом просит — оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Древо росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили, — у Жданова были, — прислонили его к древу к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили.

— И важный солдат был?

— Ничего солдат был, — заметил Жданов.

— И что с ним сталось, Бог его знает, — продолжал Антонов. — Много там всякого нашего брата осталось.

— В Даргах-то? — сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой: — уж было там всего.

И он отошел от нас.

— А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? — спросил я.

— Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да еще человек шесть есть. Больше не будет.

— А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? — сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно. — Почитай, год скоро, что его нет.

— А что, ты ходил в годовой? — спросил я у Жданова.

— Нет, не ходил, — отвечал он неохотно.

— Ведь хорошо итти, — сказал Антонов: — от богатого дома, али когда сам в силах работать, так и итти лестно, и тебе дома рады будут.

— А то что итти, когда от двух братьев! — продолжал Жданов: — самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж 25 лет прослужил. Да и живы ли, кто е знает.

— А разве ты не писал? — спросил я.

— Как не писать! Два письма послал, да всё в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

— А давно ты писал?

— Пришедши с Даргов, писал последнее письмо.

— Да ты «березушку» спел бы, — сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «березушку».

— Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова, — сказал мне шопотом Чикин, дернув меня за шинель: — другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться всё быстрее и быстрее, и наконец он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова, с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинутой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря — храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

— Вторая смена! Макатюк и Жданов! — крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

15 июня 1855 г.

ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ.

РАЗЖАЛОВАННЫЙ.

(1853 — 1856)

Мы стояли в отряде. — Дела уже кончались, дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батарейных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Мечиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невражденные группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе, солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката, с своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево, по полугоре, на черной притоптанной земле белели палатки, а за палатками чернели голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья. Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и низами около ручья тянулись с топотом и фырканьем казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопоя. Начинало подмораживать, все звуки были слышны особенно

явственно, — и далеко вперед по равнине было видно в чистом, редком воздухе. Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства солдат, тихо разъезжали по светло-желтому жневью кукурузных полей, кой-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы.

Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи, и несколько пехотных любили по вечерам собираться в нашей батарее и называли это место клубом.

Вечер был славный, лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д. и поручик О. проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей, — офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, — провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого. Особенно забавно было положение огромного, толстого штабс-капитана Ш., который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами проехал на маленьком и тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно, денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая без блюдечек, и мы, окончив игру, подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами, в нагольном тулупе и в папахе с длинною висящей белой шерстью. Как только мы подошли близко к нему, он нерешительно несколько раз снял и надел шапку и несколько раз как будто собирался подойти к нам и снова останавливался. Но решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ш.

— А, Гуськантини! Ну что, батенька? — сказал ему Ш., добродушно улыбаясь еще под влиянием своей поездки.

Гуськантини, как его назвал Ш., тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка, но с той стороны, с которой он стоял ко мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек (юнкер или разжалованный?), и я, не замечая того, что мой

взгляд (т. е. взгляд незнакомого офицера) смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет тридцать. Маленькие, серые, круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного, белого курпея папахи, висевшего ему на лицо. Толстый, неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную, неестественную худобу. Губы, весьма мало закрытые редкими, мягкими, белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недоконченны; на лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую, жилистую шею его обвязывал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полушубком. Полушубок был затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного цвета, и сапоги с короткими нечерненными солдатскими голенищами.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал я ему, когда он снова, робко взглянув на меня, снял было шапку.

Он поклонился мне с благодарным выражением, надел шапку и, достав из кармана грязный ситцевый кисет на шнурочках, стал делать папироску.

Я сам недавно был юнкером, старым юнкером, неспособным уже быть добродушно-услужливым младшим товарищем, и юнкером без состояния, поэтому, хорошо зная всю моральную тяжесть этого положения для немолодого и самолюбивого человека, я сочувствовал всем людям, находящимся в таком положении, и старался объяснить себе их характер и степень и направление умственных способностей, для того чтобы по этому судить о степени их моральных страданий. Этот юнкер или разжалованный, по своему беспокойному взгляду и тому умышленному беспрестанному изменению выражения лица, которое я заметил в нем, казался мне человеком очень неглупым и крайне самолюбивым и поэтому очень жалким.

Штабс-капитан Ш. предложил нам сыграть еще партию в городки, с тем чтобы проигравшая партия, кроме перевозу, заплатила за несколько бутылок красного вина, рому, сахару, корицы и гвоздики для глинтвейна, который в эту зиму, по случаю холода, был в большой моде в нашем отряде. Гуськантини, как его опять назвал Ш., тоже пригласили в партию, но, перед тем как

начинать игру, он, видимо борясь между удовольствием, которое ему доставило это приглашение, и каким-то страхом, отвел в сторону штабс-капитана Ш. и стал что-то нашептывать ему. Добродушный штабс-капитан ударил его своей пухлой, большой ладонью по животу и громко отвечал: «Ничего, батенька, я вам поверю».

Когда игра кончилась, и та партия, в которой был незнакомый нижний чин, выиграла, и ему пришлось ехать верхом на одном из наших офицеров, прапорщике Д., — прапорщик покраснел, отошел к диванчикам и предложил нижнему чину папирос в виде выкупа. Пока заказали глинтвейн и в денщицкой палатке слышалось хлопотливое хозяйничанье Никиты, посылавшего вестового за корицей и гвоздикой, и спина его натягивала то там, то сям грязные полы палатки, мы все семь человек уселись около лавочек и, попеременно попивая чай из трех стаканов и посматривая вперед на начинавшую одеваться сумерками равнину, разговаривали и смеялись о разных обстоятельствах игры. Незнакомый человек в полушубке не принимал участия в разговоре, упорно отказывался от чая, который я несколько раз предлагал ему, и, сидя на земле по-татарски, одну за другою делал из мелкого табаку папироски и выкуривал их, как видно было, не столько для своего удовольствия, сколько для того, чтобы дать себе вид чем-нибудь занятого человека. Когда заговорили о том, что на завтра ожидают отступления и, может быть, дела, он приподнялся на колени и, обращаясь к одному штабс-капитану Ш., сказал, что он был теперь дома у адъютанта и сам писал приказ о выступлении на завтра. Мы все молчали в то время, как он говорил, и, несмотря на то, что он видимо робел, заставили его повторить это крайне для нас интересное известие. Он повторил сказанное, прибавив однако, что он *был и сидел* у адъютанта, с которым *он живет вместе*, в то время как принесли приказание.

— Смотрите, коли вы не лжете, батенька, так мне надо в своей роте итти приказать кой-что к завтраму, — сказал штабс-капитан Ш.

— Нет... отчего же?.. как же можно, я наверно... — заговорил нижний чин, но вдруг замолчал и, видимо решившись обидеться, ненатурально нахмурил брови и, шепча что-то себе под нос, снова начал делать папироску. Но высыпанного мельчайшего табаку уже было недостаточно в его ситцевом кисете,

и он попросил Ш. *одолжить* ему *папиросочку*. Мы довольно долго продолжали между собою ту однообразную военную болтовню, которую знает каждый, кто бывал в походах, жаловались всё одними и теми же выражениями на скуку и продолжительность похода, одним и тем же манером рассуждали о начальстве, всё так же, как много раз прежде, хвалили одного товарища, жалели другого, удивлялись, как много выиграл тот, как много проиграл этот, и т. д., и т. д.

— Вот, батенька, адъютант-то наш прорвался так прорвался, — сказал штабс-капитан Ш., — в штабе вечно в выигрыше был, с кем ни сядет, бывало, загребет, а теперь уж второй месяц всё проигрывает. Не задался ему нынешний отряд. Я думаю, монетов 1000 спустил, да и вещей монетов на 500: ковер, что у Мухина выиграл, пистолеты Никитинские, часы золотые, от Сады, что ему Воронцов подарил, всё ухнуло.

— Поделом ему, — сказал поручик О., — а то уж он очень всех обдувал: — с ним играть нельзя было.

— Всех обдувал, а теперь весь в трубу вылетел, — и штабс-капитан Ш. добродушно рассмеялся. — Вот Гуськов у него живет — он и его чуть не проиграл, право. Так, батенька? — обратился он к Гуськову.

Гуськов засмеялся. У него был жалкий болезненный смех, совершенно изменявший выражение его лица. При этом изменении мне показалось, что я прежде знал и видал этого человека, притом и настоящая фамилия его, Гуськов, была мне знакома, но как и когда я его знал и видел, — я решительно не мог припомнить.

— Да, — сказал Гуськов, беспрестанно поднимая руки к усам и, не дотронувшись до них, опуская их снова. — Павлу Дмитриевичу очень в этот отряд не повезло, такая veine de malheur,[1] — добавил он старательным, но чистым французским выговором, причем мне снова показалось, что я уже видал, и даже часто видал, его где-то. — Я хорошо знаю Павла Дмитриевича, он мне всё доверяет, — продолжал он, — мы с ним еще старые знакомые, т. е. он меня любит, — прибавил он, видимо испугавшись слишком смелого утверждения, что он старый знакомый адъютанта. — Павел Дмитриевич отлично играет, но теперь удивительно, что с ним сделалось, он совсем как

[1] [полоса неудачи,]

потерянный, — la chance a tourné,[1] — добавил он, обращаясь преимущественно ко мне.

Мы сначала с снисходительным вниманием слушали Гуськова, но как только он сказал еще эту французскую фразу, мы все невольно отвернулись от него.

— Я с ним тысячу раз играл, и ведь согласитесь, что это странно, — сказал поручик О. с особенным ударением на этом слове, — удивительно *странно:* я ни разу у него не выиграл ни абаза. Отчего же я у других выигрываю?

— Павел Дмитриевич отлично играет, я его давно знаю, — сказал я. Действительно, я знал адъютанта уже несколько лет, не раз видал его в игре, большой по средствам офицеров, и восхищался его красивой, немного мрачной и всегда невозмутимо спокойной физиономией, его медлительным малороссийским выговором, его красивыми вещами и лошадьми, его неторопливой хохлацкой молодцеватостью и особенно его умением сдержанно, отчетливо и приятно вести игру. Не раз, каюсь в том, глядя на его полные и белые руки с бриллиантовым перстнем на указательном пальце, которые мне били одну карту за другою, я злился на этот перстень, на белые руки, на всю особу адъютанта, и мне приходили на его счет дурные мысли; но обсуживая потом хладнокровно, я убеждался, что он просто игрок умнее всех тех, с которыми ему приходится играть. Тем более, что, слушая его общие рассуждения об игре, о том, как следует не отгибаться, поднявшись с маленького куша, как следует бастовать в известных случаях, как первое правило играть на *чистые* и т. д., и т. д., было ясно, что он всегда в выигрыше только оттого, что умнее и характернее всех нас. Теперь же оказалось, что этот воздержный, характерный игрок проигрался впух в отряде не только деньгами, но и вещами, что означает последнюю степень проигрыша для офицера.

— Ему чертовски всегда везет со мной, — продолжал поручик О. — Я уж дал себе слово больше не играть с ним.

— Экой вы чудак, батенька, — сказал Ш., подмигивая на меня всей головой и обращаясь к О., — проиграли ему монетов 300, ведь проиграли!

— Больше, — сердито сказал поручик.

— А теперь хватились за ум, да поздно, батенька: всем давно

---

[1] [счастье отвернулось,]

Вместе на бирже собрались
Время уже было
Ответ
Ярмонка
Новгородская
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Вместе набор[ъ] 6 стр[аниц] 2

Военную цензуру. Два имени
Дружинин
Из Кавказских воспоминаний. ~~Разжалованный~~
~~Гусевой~~

~~Не знаете ли, кто имеющий какие нибудь~~
~~какой нибудь корректуры~~
~~Гусевой~~

Из Кавказских записок. Вторая ~~корректура~~ статья
из Кавказских Знакомых.

Мы стояли в отряде. —
Дома уже кончались и оканчивал
дождались
ли проводку и с каждым днем
ожидали ~~из~~ похода, принятия
о отступлении
~~отступлении~~ в окрестности. Наша
Девизион батареей орудий
стоял на скате крутой гор-
ного хребта, ~~оканчивающегося~~
Мелкими
~~Мягкими~~ быстро горной ре-
кой, ~~составлявшей~~ ~~во~~ ~~продол~~
~~ней~~ ~~ущелье~~ ~~составляющей~~ ~~стены~~ ~~кра~~
~~ней~~ ~~ущелье~~ ~~пашни~~ ~~пашню~~ ~~пашню

известно, что он наш полковой шулер, — сказал Ш., едва удерживаясь от смеха и очень довольный своей выдумкой. — Вот Гуськов налицо, он ему и карты подготовливает. От этого-то у них и дружба, батенька мой... — и штабс-капитан Ш. так добродушно, колебаясь всем телом, расхохотался, что расплескал стакан глинтвейна, который держал в руке в это время.

На желтом исхудалом лице Гуськова показалась как будто краска, он несколько раз открывал рот, поднимал руки к усам и снова опускал их к месту, где должны были быть карманы, приподнимался и опускался и, наконец, не своим голосом сказал Ш.: — Это не шутка, Николай Иванович; вы говорите такие вещи и при людях, которые меня не знают и видят в нагольном полушубке... потому что... — Голос у него оборвался, и снова маленькие красные ручки с грязными ногтями заходили от полушубка к лицу, то поправляя усы, волосы, нос, то прочищая глаз или почесывая без всякой надобности щеку.

— Да что и говорить, всем известно, батенька, — продолжал Ш., искренно довольный своей шуткой и вовсе не замечая волнения Гуськова. Гуськов еще прошептал что-то и, уперев локоть правой руки на коленку левой ноги, в самом неестественном положении, глядя на Ш., стал делать вид, как будто он презрительно улыбается.

«Нет, — решительно подумал я, глядя на эту улыбку, — я не только видел его, но говорил с ним где-то».

— Мы с вами где-то встречались, — сказал я ему, когда под влиянием общего молчания начал утихать смех Ш. Переменчивое лицо Гуськова вдруг просветлело, и его глаза в первый раз с искренно-веселым выражением устремились на меня.

— Как же, я вас сейчас узнал, — заговорил он по-французски. — В 48 году я вас довольно часто имел удовольствие видеть в Москве, у моей сестры Ивашиной.

Я извинился, что не узнал его сразу в этом костюме и в этой новой одежде. Он встал, подошел ко мне и своей влажной рукой нерешительно, слабо пожал мою руку и сел подле меня. Вместо того, чтобы смотреть на меня, которого он будто бы был так рад видеть, он с выражением какого-то неприятного хвастовства оглянулся на офицеров. Оттого ли, что я узнал в нем человека, которого несколько лет тому назад видал во фраке в гостиной, или оттого, что при этом воспоминании он вдруг поднялся в своем собственном мнении, мне показалось, что

его лицо и даже движения совершенно изменились: они выражали теперь бойкий ум, детское самодовольство от сознания этого ума и какую-то презрительную небрежность, так что, признаюсь, несмотря на жалкое положение, в котором он находился, мой старый знакомый уже внушал мне не сострадание, а какое-то несколько неприязненное чувство.

Я живо вспомнил нашу первую встречу. В 48 году я часто в бытность мою в Москве езжал к Ивашину, с которым мы росли вместе и были старые приятели. Его жена была приятная хозяйка дома, любезная женщина, что называется, но она мне никогда не нравилась... В ту зиму, когда я ее знал, она часто говорила с худо-скрываемой гордостью про своего брата, который недавно кончил курс и будто бы был одним из самых образованных и любимых молодых людей в лучшем петербургском свете. Зная по слухам отца Гуськовых, который был очень богат и занимал значительное место, и зная направление сестры, я встретился с молодым Гуськовым с предубеждением. Раз, вечером приехав к Ивашину, я застал у него невысокого, весьма приятного на вид молодого человека в черном фраке, в белом жилете и галстухе, с которым хозяин забыл познакомить меня. Молодой человек, повидимому собиравшийся ехать на бал, с шляпой в руке стоял перед Ивашиным и горячо, но учтиво спорил с ним про общего нашего знакомого, отличившегося в то время в венгерской кампании. Он говорил, что этот знакомый был вовсе не герой и человек, рожденный для войны, как его называли, а только умный и образованный человек. Помню, я принял участие в споре против Гуськова и увлекся в крайность, доказывая даже, что ум и образование всегда в обратном отношении к храбрости, и помню, как Гуськов приятно и умно доказывал мне, что храбрость есть необходимое следствие ума и известной степени развития, с чем я, ситая себя умным и образованным человеком, не мог втайне не согласиться! Помню, что в конце нашего разговора Ивашина познакомила меня с своим братом, и он, снисходительно улыбаясь, подал мне свою маленькую руку, на которую еще не совсем успел натянуть лайковую перчатку, и так же слабо и нерешительно, как и теперь, пожал мою руку. Хотя я и был предубежден против него, я не мог тогда не отдать справедливости Гуськову и не согласиться с его сестрою, что он был действительно умный и приятный молодой человек, который должен был иметь успех в свете. Он был

необыкновенно опрятен, изящно одет, свеж, имел самоуверенно-скромные приемы и вид чрезвычайно моложавый, почти детский, за который вы невольно извиняли ему выражение самодовольства и желание умерить степень своего превосходства перед вами, которое постоянно носили на себе его умное лицо и в особенности улыбка. Говорили, что он в эту зиму имел большой успех у московских барынь. Видав его у сестры, я только по выражению счастия и довольства, которое постоянно носила на себе его молодая наружность, и по его иногда нескромным рассказам мог заключить, в какой степени это было справедливо. Мы встречались с ним раз шесть и говорили довольно много, или, скорее, много говорил он, а я слушал. Он говорил большею частию по-французски, весьма хорошим языком, очень складно, фигурно и умел мягко, учтиво перебивать других в разговоре. Вообще он обращался со всеми и со мною довольно свысока, а я, как это всегда со мной бывает в отношении людей, которые твердо уверены, что со мной следует обращаться свысока, и которых я мало знаю, — чувствовал, что он совершенно прав в этом отношении.

Теперь, когда он подсел ко мне и сам подал мне руку, я живо узнал в нем прежнее высокомерное выражение, и мне показалось, что он не совсем честно пользуется выгодой своего положения нижнего чина перед офицером, так небрежно расспрашивая меня о том, что я делал всё это время и как попал сюда. Несмотря на то, что я всякий раз отвечал по-русски, он заговаривал на французском языке, на котором уже заметно выражался не так свободно, как прежде. Про себя он мне мельком сказал, что после своей несчастной, глупой истории (в чем состояла эта история, я не знал, и он не сказал мне) он три месяца сидел под арестом, потом был послан на Кавказ в N. полк, — теперь уже три года служит солдатом в этом полку.

— Вы не поверите, — сказал он мне по-французски, — сколько я должен был выстрадать в этих полках от общества офицеров; еще счастье мое, что я прежде знал адъютанта, про которого мы сейчас говорили: он хороший человек, право, — заметил он снисходительно, — я у него живу, и для меня это всё-таки маленькое облегчение. Oui, mon cher, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas,[1] — добавил он и вдруг

[1] [Да, дорогой мой, дни идут один за другим, но не повторяются,]

замялся, покраснел и встал с места, заметив, что к нам подходил тот самый адъютант, про которого мы говорили.

— Такая отрада встретить такого человека, как вы, — сказал мне шопотом Гуськов, отходя от меня, — мне бы много, много хотелось переговорить с вами.

Я сказал, что я очень рад этому, но в сущности, признаюсь, Гуськов внушал мне несимпатическое, тяжелое сострадание.

Я предчувствовал, что с глазу на глаз мне будет неловко с ним, но мне хотелось узнать от него многое и в особенности, почему, когда отец его был так богат, он был в бедности, как это было заметно по его одежде и приемам.

Адъютант поздоровался со всеми нами, исключая Гуськова, и подсел со мной рядом на место, которое занимал разжалованный. Всегда спокойный и медлительный, характерный игрок и денежный человек, Павел Дмитриевич был теперь совершенно другим, как я его знал в цветущие времена его игры; он как будто торопился куда-то, беспрестанно оглядывал всех, и не прошло пяти минут, как он, всегда отказывавшийся от игры, предложил поручику О. составить банчик. Поручик О. отказался под предлогом занятий по службе, собственно же потому, что, зная, как мало вещей и денег оставалось у Павла Дмитриевича, он считал неблагоразумным рисковать свои 300 рублей против 100 рублей, а может и меньше, которые он мог выиграть.

— А что, Павел Дмитриевич, — сказал поручик, видимо желая избавиться от повторения просьбы, — правда говорят — завтра выступление?

— Не знаю, — заметил Павел Дмитриевич, — только велено приготовиться, а право, лучше бы сыграли, я бы вам заложил моего кабардинца.

— Нет, уж нынче...

— Серого, уж куда ни шло, а то, ежели хотите, деньгами. Что ж?

— Да я что ж... Я бы готов, вы не думайте, — заговорил поручик О., отвечая на свое собственное сомнение, — а то завтра, может, набег или движение, выспаться надо.

Адъютант встал и, заложив руки в карманы, стал ходить по площадке. Лицо его приняло обычное выражение холодности и некоторой гордости, которые я любил в нем.

— Не хотите ли стаканчик глинтвейну? — сказал я ему.

— Можно-с, — и он направился ко мне, но Гуськов торо-

пливо взял стакан у меня из рук и понес его адъютанту, стараясь притом не глядеть на него. Но, не обратив вниманья на веревку, натягивающую палатку, Гуськов спотыкнулся на нее и, выпустив из рук стакан, упал на руки.

— Эка филя! — сказал адъютант, протянувший уже руку к стакану. Все расхохотались, не исключая Гуськова, потиравшего рукой свою худую коленку, которую он никак не мог вашибить при падении.

— Вот как медведь пустыннику услужил,— продолжал адъютант. — Так-то он мне каждый день услуживает, все колышки на палатках пообборвал, — всё спотыкается.

Гуськов, не слушая его, извинялся перед нами и взглядывал на меня с чуть заметной грустной улыбкой, которою он как будто говорил, что я один могу понимать его. Он был жалок, но адъютант, его покровитель, казался почему-то озлобленным на своего сожителя и никак не хотел оставить его в покое.

— Как же, ловкий мальчик! куда ни поверните.

— Да кто ж не спотыкается на эти колышки, Павел Дмитриевич, — сказал Гуськов, — вы сами третьего дня спотыкнулись.

— Я, батюшка, не нижний чин, с меня ловкости не спрашивается.

— Он может ноги волочить, — подхватил штабс-капитан Ш., — а нижний чин должен подпрыгивать...

— Странные шутки, — сказал Гуськов почти шопотом и опустив глаза. Адъютант был, видимо, неравнодушен к своему сожителю, он с алчностью вслушивался в его каждое слово.

— Придется опять в секрет послать, — сказал он, обращаясь к Ш. и подмигивая на разжалованного.

— Что ж, опять слезы будут, — сказал Ш., смеясь. Гуськов не глядел уже на меня, а делал вид, что достает табак из кисета, в котором давно уже ничего не было.

— Сбирайтесь в секрет, батенька, — сквозь смех проговорил Ш., — нынче лазутчики донесли, нападение на лагерь ночью будет, так надо надежных ребят назначать. — Гуськов нерешительно улыбался, как будто сбираясь сказать что-то, и несколько раз поднимал умоляющий взгляд на Ш.

— Что ж, ведь я ходил, и пойду еще, коли пошлют, — пролепетал он.

— Да и пошлют.

— Ну, и пойду. Что ж такое?

— Да, как на Аргуне, убежали из секрета и ружье бросили, — сказал адъютант и, отвернувшись от него, начал нам рассказывать приказания на завтрашний день.

Действительно, в ночь ожидали со стороны неприятеля стрельбу по лагерю, а на завтра какое-то движение. Потолковав еще о разных общих предметах, адъютант как будто нечаянно, вдруг вспомнив, предложил поручику О. прометать ему маленькую. Поручик О. совершенно неожиданно согласился, и они вместе с Ш. и прапорщиком пошли в палатку адъютанта, у которого был складной зеленый стол и карты. Капитан, командир нашего дивизиона, пошел спать в палатку, другие господа разошлись тоже, и мы остались одни с Гуськовым. Я не ошибался, мне действительно было с ним неловко с глазу на глаз. Я невольно встал и стал ходить взад и вперед по батарее. Гуськов молча пошел со мной рядом, торопливо и беспокойно поворачиваясь, чтобы не отставать и не опережать меня.

— Я вам не мешаю? — сказал он кротким, печальным голосом. Сколько я мог рассмотреть в темноте его лицо, оно мне показалось глубоко задумчивым и грустным.

— Нисколько, — отвечал я; но так как он не начинал говорить, и я не знал, что сказать ему, мы довольно долго ходили молча.

Сумерки уже совершенно заменились темнотою ночи, над черным профилем гор зажглась яркая вечерняя зарница, над головами на светло-синем морозном небе мерцали мелкие звезды, со всех сторон краснело во мраке пламя дымящихся костров, вблизи серели палатки, и мрачно чернела насыпь нашей батареи. От ближайшего костра, около которого, греясь, тихо разговаривали наши денщики, изредка блестела на батарее медь наших тяжелых орудий, и показывалась фигура часового в шинели в накидку, мерно двигавшегося вдоль насыпи.

— Вы не можете себе представить, какая отрада для меня говорить с таким человеком, как вы, — сказал мне Гуськов, хотя он еще ни о чем не говорил со мной, — это может понять только тот, кто побывал в моем положении.

Я не знал, что отвечать ему, и мы снова молчали, несмотря на то, что ему, видимо, хотелось высказаться, а мне выслушать его.

— За что вы были... за что вы пострадали? — спросил

я его наконец, не придумав ничего лучше, чтоб начать разговор.

— Разве вы не слышали про эту несчастную историю с Метениным?

— Да, дуэль, кажется; слышал мельком, — отвечал я: — ведь я уже давно на Кавказе.

— Нет, не дуэль, но эта глупая и ужасная история! Я вам всё расскажу, коли вы не знаете. Это было в тот самый год, когда мы с вами встречались у сестры, я жил тогда в Петербурге. Надо вам сказать, я имел тогда то, что называется une position dans le monde,[1] и довольно выгодную, ежели не блестящую. Mon père me donnait 10 000 par an.[2] В 49 году мне обещали место при посольстве в Турине, дядя мой по матери мог и всегда был готов очень много для меня сделать. Дело прошлое теперь, j'étais reçu dans la meilleure société de Pétersbourg, je pouvais prétendre[3] на лучшую партию. Учился я, как все мы учились в школе, так что особенного образования у меня не было; правда, я читал много после, mais j'avais surtout, знаете, ce jargon du monde,[4] и, как бы то ни было, меня находили почему-то одним из первых молодых людей Петербурга. Что меня еще больше возвысило в общем мнении — c'est cette liaison avec m-me D.,[5] про которую много говорили в Петербурге, но я был ужасно молод в то время и мало ценил все эти выгоды. Просто я был молод и глуп, чего мне еще нужно было? В то время в Петербурге этот Метенин имел репутацию... — И Гуськов продолжал в этом роде рассказывать мне историю своего несчастия, которую, как вовсе неинтересную, я пропущу здесь. — Два месяца я сидел под арестом, — продолжал он, — совершенно один, и чего ни передумал я в это время. Но знаете, когда всё это кончилось, как будто уж окончательно была разорвана связь с прошедшим, мне стало легче. Mon père, vous en avez entendu parler[6] наверно, он человек с характером железным и с твердыми убеждениями, il m'a déshérité[7] и прекратил все

---

[1] [положение в свете,]

[2] [Отец давал мне 10 000 ежегодно.]

[3] [я был принят в лучшем обществе Петербурга, я мог рассчитывать];

[4] [но особенно я владел этим светским жаргоном,]

[5] [так это связь с г-жей Д.,]

[6] [Мой отец, вы слышали о нем]

[7] [он лишил меня права на наследство]

сношения со мной. По его убеждениям так надо было сделать, и я нисколько не обвиняю его: il a été consequent.[1] Зато и я не сделал шагу для того, чтобы он изменил своему намерению. Сестра была за границей, m-me D. одна писала ко мне, когда позволили, и предлагала помощь, но вы понимаете, что я отказался. Так что у меня не было тех мелочей, которые облегчают немного в этом положении, знаете: ни книг, ни белья, ни пищи, ничего. Я много, много передумал в это время, на всё стал смотреть другими глазами; например, этот шум, толки света обо мне в Петербурге не занимали меня, не льстили нисколько, всё это мне казалось смешно. Я чувствовал, что сам был виноват, неосторожен, молод, я испортил свою карьеру и только думал о том, как снова поправить ее. И я чувствовал в себе на это силы и энергию. Из-под ареста, как я вам говорил, меня отослали сюда, на Кавказ, в N. полк.

— Я думал, — продолжал он, воодушевляясь более и более, — что здесь, на Кавказе — la vie de camp,[2] люди простые, честные, с которыми я буду в сношениях, война, опасности, всё это придется к моему настроению духа как нельзя лучше, что я начну новую жизнь. On me verra au feu[3] — полюбят меня, будут уважать меня не за одно имя, — крест, унтер-офицер, снимут штраф, и я опять вернусь et, vous savez, avec ce prestige du malheur! Но quel désenchantement.[4] Вы не можете себе представить, как я ошибся!.. Вы знаете общество офицеров нашего полка? — Он помолчал довольно долго, ожидая, как мне показалось, что я скажу ему, что знаю, как нехорошо общество здешних офицеров; но я ничего не отвечал ему. Мне было противно, что он, потому верно, что я знал по-французски, предполагал, что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которое я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов. Я хотел ему сказать это, но его положение связывало меня.

— В N. полку общество офицеров в тысячу раз хуже здешнего, — продолжал он. — J'espère que c'est beaucoup dire,[5] т. е.

---

[1] [он был последователен.]

[2] [лагерная жизнь,]

[3] [меня увидят под огнем]

[4] [и, знаете, с этим обаянием несчастья! Но, какое разочарование.]

[5] [Надеюсь, что этим достаточно сказано,]

вы не можете себе представить, что это такое! Уже не говорю о юнкерах и солдатах. Это ужас что такое! Меня приняли сначала хорошо, это совершенная правда, но потом, когда увидали, что я не могу не презирать их, знаете, в этих незаметных мелких отношениях, увидали, что я человек совершенно другой, стоящий гораздо выше их, они озлобились на меня и стали отплачивать мне разными мелкими унижениями. Ce que j'ai eu à souffrir, vous ne vous faites pas une idée.[1] Потом эти невольные отношения с юнкерами, а главное avec les petits moyens que j'avais, je manquais de tout,[2] у меня было только то, что сестра мне присылала. Вот вам доказательство, сколько я выстрадал, что я с моим характером, avec ma fierté, j'ai écrit à mon père,[3] умолял его прислать мне хоть что-нибудь. Я понимаю, что прожить пять лет такой жизнью — можно сделаться таким же, как наш разжалованный Дромов, который пьет с солдатами и ко всем офицерам пишет записочки, прося *ссудить* его тремя рублями, и подписывает tout à vous[4] Дромов. Надобно было иметь такой характер, который я имел, чтобы совершенно не погрязнуть в этом ужасном положении. — Он долго молча ходил подле меня. — Avez-vous un papiros?[5] — сказал он мне. — Да, так на чем я остановился? Да. Я не мог этого выдержать, не физически, потому что хотя и плохо, холодно и голодно было, я жил как солдат, но всё-таки и офицеры имели какое-то уважение ко мне. Какой-то prestige[6] оставался на мне и для них. Они не посылали меня в караулы, на ученье. Я бы этого не вынес. Но морально страдал я ужасно. И главное, не видел выхода из этого положения. Я писал дяде, умолял его перевести меня в здешний полк, который по крайней мере бывает в делах, и думал, что здесь Павел Дмитриевич, qui est le fils de l'intendant de mon père,[7] всё-таки он мог быть мне полезен. Дядя сделал это для меня, меня перевели. После того полка этот показался для меня собранием камергеров. Потом Павел Дмитриевич тут, он знал, кто я такой, и меня приняли прекрасно.

[1] [Вы не можете себе представить, сколько я перестрадал.]

[2] [при тех маленьких средствах, которые у меня были, я нуждался во всем,]

[3] [с моей гордостью, я написал отцу,]

[4] [весь ваш]

[5] [Есть у вас папироса?]

[6] [авторитет]

[7] [сын управляющего моего отца,]

По просьбе дяди... Гуськов, vous savez...[1] но я заметил, что с этими людьми, без образования и развития, — они не могут уважать человека и оказывать ему признаки уважения, ежели на нем нет этого ореола богатства, знатности; я замечал, как понемногу, когда увидали, что я беден, их отношения со мной становились небрежнее, небрежнее и, наконец, сделались почти презрительные. Это ужасно! но это совершенная правда.

— Здесь я был в делах, дрался, on m'a vu au feu,[2] — продолжал он, — но когда это кончится? Я думаю, никогда! а силы мои и энергия уже начинают истощаться. Потом я воображал la guerre, la vie de camp,[3] но всё это не так, как я вижу — в полушубке, немытые, в солдатских сапогах вы идете в секрет и целую ночь лежите в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты, и всякую минуту вас из-за куста могут застрелить, вас или Антонова, всё равно. Тут уж не храбрость — это ужасно. C'est affreux, ça tue.[4]

— Что ж, вы можете теперь за поход получить унтер-офицера, а на будущий год и прапорщика, — сказал я.

— Да, могу, мне обещали, но еще два года, и то едва ли. А что такое эти два года, ежели бы знал кто-нибудь. Вы представьте себе эту жизнь с этим Павлом Дмитриевичем: карты, грубые шутки, кутеж, вы хотите сказать что-нибудь, что у вас накипело на душе, вас не понимают или над вами еще смеются, с вами говорят не для того, чтобы сообщить вам мысль, а так, чтоб, ежели можно, еще из вас сделать шута. Да и всё это так пошло, грубо, гадко, и всегда вы чувствуете, что вы нижний чин, это вам всегда дают чувствовать. От этого вы не поймете, какое наслаждение поговорить à coeur ouvert[5] с таким человеком, как вы.

Я никак не понимал, какой это я был человек, и поэтому не знал, что отвечать ему...

— Закусывать будете? — сказал мне в это время Никита, незаметно подобравшийся ко мне в темноте и, как я заметил, недовольный присутствием гостя. — Только вареники да битой говядины немного осталось.

---

[1] [вы знаете...]
[2] [меня видели под огнем,]
[3] [войну, лагерную жизнь,]
[4] [Это ужасно, это убийственно.]
[5] [по душе]

— А капитан уж закусывал?

— Они спят давно, — угрюмо отвечал Никита. На мое приказание принести нам сюда закусить и водочки он недовольно проворчал что-то и потащился к своей палатке. Поворчав еще там, он однако принес нам погребец; на погребце поставил свечку, обвязав ее наперед бумагой от ветру, кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку с ручкой и бутылку с полынной настойкой. Устроив всё это, Никита постоял еще несколько времени около нас и посмотрел, как я и Гуськов выпили водки, что ему, видимо, было очень неприятно. При матовом освещении свечи сквозь бумагу и среди окружающей темноты виднелись только тюленевая кожа погребца, ужин, стоявший на ней, лицо, полушубок Гуськова и его маленькие красные ручки, которыми он принялся выкладывать вареники из кастрюльки. Кругом всё было черно и, только вглядевшись, можно было различить черную батарею, такую же черную фигуру часового, видневшуюся через бруствер, по сторонам огни костров и наверху красноватые звезды. Гуськов печально и стыдливо чуть заметно улыбался, как будто ему неловко было глядеть мне в глаза после своего признания. Он выпил еще рюмку водки и ел жадно, выскребая кастрюльку.

— Да, для вас всё-таки облегчение, — сказал я ему, чтобы сказать что-нибудь, — ваше знакомство с адъютантом: он, я слышал, очень хороший человек.

— Да, — отвечал разжалованный, — он добрый человек, но он не может быть другим, не может быть человеком, с его образованьем и нельзя требовать. — Он вдруг как будто покраснел. — Вы заметили его грубые шутки нынче о секрете, — и Гуськов, несмотря на то, что я несколько раз старался замять разговор, стал оправдываться передо мной и доказывать, что он не убежал из секрета и что он не трус, как это хотели дать заметить адъютант и Ш.

— Как я говорил вам, — продолжал он, обтирая руки о полушубок, — такие люди не могут быть деликатны с человеком — солдатом и у которого мало денег; это свыше их сил. И вот последнее время, как я пять месяцев уж почему-то ничего не получаю от сестры, я заметил, как они переменились ко мне. Этот полушубок, который я купил у солдата и который не греет, потому что весь вытерт (при этом он показал мне голую полу), не внушает ему сострадания или уважения к несчастью,

а презрение, которое он не в состоянии скрывать. Какая бы ни была моя нужда, как теперь, что мне есть нечего, кроме солдатской каши, и носить нечего, — продолжал он потупившись, наливая себе еще рюмку водки, — он не догадается предложить мне денег взаймы, зная наверно, что я отдам ему, а ждет, чтобы я в моем положении обратился к нему. А вы понимаете, каково это мне и с ним. Вам бы, например, я прямо сказал — vous êtes au-dessus de cela; mon cher, je n'ai pas le sou.[1] И знаете, — сказал он, вдруг отчаянно взглядывая мне в глаза, — вам я прямо говорю, я теперь в ужасном положении: pouvez vous me prêter 10 roubles argent?[2] Сестра должна мне прислать по следующей почте et mon père...[3]

— Ах, я очень рад, — сказал я, тогда как, напротив, мне было больно и досадно, особенно потому, что, накануне проигравшись в карты, у меня у самого оставалось только рублей пять с чем-то у Никиты. — Сейчас, — сказал я, вставая, — я пойду возьму в палатке.

— Нет, после, ne vous dérangez pas.[4]

Однако, не слушая его, я пролез в застегнутую палатку, где стояла моя постель и спал капитан. — Алексей Иваныч, дайте мне пожалуйста 10 р. до рационов, — сказал я капитану, расталкивая его.

— Что, опять продулись? а еще вчера хотели не играть больше, — спросонков проговорил капитан.

— Нет, я не играл, а нужно, дайте пожалуйста.

— Макатюк! — закричал капитан своему денщику, — достань шкатулку с деньгами и подай сюда.

— Тише, тише, — заговорил я, слушая за палаткой мерные шаги Гуськова.

— Что? отчего тише?

— Это этот разжалованный просил у меня взаймы. Он тут!

— Вот знал бы, так не дал, — заметил капитан, — я про него слыхал — первый пакостник мальчишка! — Однако капитан дал таки мне деньги, велел спрятать шкатулку, хорошенько запахнуть палатку и, снова повторив: — вот коли бы знал на что, так не дал бы, — завернулся с головой под

---

[1] [вы выше этого; дорогой мой, у меня нет ни гроша.]

[2] [можете вы одолжить мне 10 рублей серебром?]

[3] [и мой отец...]

[4] [не беспокойтесь.]

одеяло. — Теперь за вами тридцать два, помните, — прокричал он мне.

Когда я вышел из палатки, Гуськов ходил около диванчиков, и маленькая фигура его с кривыми ногами и в уродливой папахе с длинными белыми волосами выказывалась и скрывалась во мраке, когда он проходил мимо свечки. Он сделал вид, как будто не замечает меня. Я передал ему деньги. Он сказал: mercі и, скомкав, положил бумажку в карман панталон.

— Теперь у Павла Дмитриевича, я думаю, игра во всем разгаре, — вслед за этим начал он.

— Да, я думаю.

— Он странно играет, всегда аребур и не отгибается; когда везет, это хорошо, но зато, когда уже не пойдет, можно ужасно проиграться. Он и доказал это. В этот отряд, ежели считать с вещами, он больше полуторы тысячи проиграл. А как играл воздержно прежде, так что этот ваш офицер как будто сомневался в его честности.

— Да это он так... Никита, не осталось ли у нас чихиря? — сказал я, очень облегченный разговорчивостью Гуськова. Никита поворчал еще, но принес нам чихиря и снова с злобой посмотрел, как Гуськов выпил свой стакан. В обращении Гуськова заметна стала прежняя развязность. Мне хотелось, чтобы он ушел поскорее, и казалось, что он этого не делает только потому, что ему совестно было уйти тотчас после того, как он получил деньги. Я молчал.

— Как это вы с средствами, без всякой надобности, решились de gaieté de coeur [1] итти служить на Кавказ? вот чего я не понимаю, — сказал он мне.

Я постарался оправдаться в таком странном для него поступке.

— Я воображаю, и для вас как тяжело общество этих офицеров, людей без понятия об образовании. Вы не можете с ними понимать друг друга. Ведь кроме карт, вина и разговоров о наградах и походах, вы десять лет проживете, ничего не увидите и не услышите.

Мне было неприятно, что он хотел, чтобы я непременно разделял его положение, и я совершенно искренно уверял его, что я очень любил и карты, и вино, и разговоры о походах,

---

[1] [с легким сердцем]

и что лучше тех товарищей, которые у меня были, я не желал иметь. Но он не хотел верить мне.

— Ну, вы это так говорите, — продолжал он, — а отсутствие женщин, т. е. я разумею femmes comme il faut,[1] разве это не ужасное лишение? Я не знаю, что бы я дал теперь, чтоб только на минутку перенестись в гостиную и хоть сквозь щелочку посмотреть на милую женщину.

Он помолчал немного и выпил еще стакан чихиря.

— Ах, Боже мой, Боже мой! Может, случится еще нам когда-нибудь встретиться в Петербурге, у людей, быть и жить с людьми, с женщинами. — Он вылил последнее вино, остававшееся в бутылке, и, выпив его, сказал: — Ах, pardon, может быть, вы хотели еще, я ужасно рассеян. Однако я, кажется, слишком много выпил et je n'ai pas la tête forte.[2] Было время, когда я жил на Морской au rez de chaussée,[3] у меня была чудная квартирка, мебель, знаете, я умел это устроить изящно, хотя не слишком дорого, правда: mon père дал мне фарфоры, цветы, серебра чудесного. Le matin je sortais, визиты, à 5 heures régulièrement[4] я ехал обедать к ней, часто она была одна. Il faut avouer que c'était une femme ravissante![5] Вы ее не знали? нисколько?

— Нет.

— Знаете, эта женственность была у нее в высшей степени, нежность и потом что за любовь! Господи! я не умел ценить тогда этого счастия. Или после театра мы возвращались вдвоем и ужинали. Никогда с ней скучно не было, toujours gaie, toujours aimante.[6] Да, я и не предчувствовал, какое это было редкое счастье. Et j'ai beaucoup à me reprocher перед нею. Je l'ai fait souffrir et souvent.[7] Я был жесток. Ах, какое чудное было время! Вам скучно?

— Нет, нисколько.

— Так я вам расскажу наши вечера. Бывало, я вхожу —

---

[1] [порядочных женщин,]

[2] [и у меня слабая голова.]

[3] [в нижнем этаже,]

[4] [Утром я выезжал, ровно в 5 часов]

[5] [Надо признаться, что это была очаровательная женщина!]

[6] [всегда веселая, всегда любящая.]

[7] [Я за многое упрекаю себя перед нею. Я ее часто заставлял страдать.]

эта лестница, каждый горшок цветов я знал — ручка двери, всё это так мило, знакомо, потом передняя, ее комната... Нет, уже это никогда, никогда не возвратится! Она и теперь пишет мне, я вам, пожалуй, покажу ее письма. Но я уж не тот, я погиб, я уже не стою ее... Да, я окончательно погиб! Je suis cassé.[1] Нет во мне ни энергии, ни гордости, ничего. Даже благородства нет... Да, я погиб! И никто никогда не поймет моих страданий. Всем всё равно. Я пропащий человек! никогда уж мне не подняться, потому что я морально упал... в грязь... упал...— В эту минуту в его словах слышно было искренное, глубокое отчаяние: он не смотрел на меня и сидел неподвижно.

— Зачем так отчаиваться? — сказал я.

— Оттого, что я мерзок, эта жизнь уничтожила меня, всё, что во мне было, всё убито. Я терплю уж не с гордостью, а с подлостью, dignité dans le malheur[2] уже нет. Меня унижают ежеминутно, я всё терплю, сам лезу на униженья. Эта грязь a déteint sur moi,[3] я сам стал груб, я забыл, что знал, я по-французски уж не могу говорить, я чувствую, что я подл и низок. Драться я не могу в этой обстановке, решительно не могу, я бы, может быть, был герой: дайте мне полк, золотые эполеты, трубачей, а итти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко и т. д. и думать, что между мной и им нет никакой разницы, что меня убьют или его убьют — всё равно, эта мысль убивает меня. Вы понимаете ли, как ужасно думать, что какой-нибудь оборванец убьет меня, человека, который думает, чувствует, и что всё равно бы было рядом со мной убить Антонова, существо, ничем не отличающееся от животного, и что легко может случиться, что убьют именно меня, а не Антонова, как всегда бывает une fatalité[4] для всего высокого и хорошего. Я знаю, что они зовут меня трусом; пускай я трус, я точно трус и не могу быть другим. Мало того, что я трус, я по-ихнему нищий и презренный человек. Вот я у вас сейчас выпросил денег, и вы имеете право презирать меня. Нет, возьмите назад ваши деньги, — и он протянул мне скомканную бумажку. — Я хочу, чтоб вы меня уважали. — Он закрыл лицо руками и заплакал; я решительно не знал, что говорить и делать.

---

[1] [Я разбит.]

[2] [достоинства в несчастьи]

[3] [отпечаталась на мне,]

[4] [рок]

— Успокойтесь, — говорил я ему, — вы слишком чувствительны, не принимайте всё к сердцу, не анализируйте, смотрите на вещи проще. Вы сами говорите, что у вас есть характер. Возьмите на себя, вам недолго уже осталось терпеть, — говорил я ему, но очень нескладно, потому что был взволнован и чувством сострадания, и чувством раскаяния в том, что я позволил себе мысленно осуждать человека, истинно и глубоко несчастливого.

— Да, — начал он, — ежели бы я слышал хоть раз с тех пор, как я в этом аду, хоть одно слово участия, совета, дружбы — человеческое слово, такое, какое я от вас слышу. Может быть, я бы мог спокойно переносить всё; может, я даже взял бы на себя и мог быть даже солдатом, но теперь это ужасно... Когда я рассуждаю здраво, я желаю смерти, да и зачем мне любить опозоренную жизнь и себя, который погиб для всего хорошего в мире? А при малейшей опасности я вдруг невольно начинаю обожать эту подлую жизнь и беречь ее, как что-то драгоценное, и не могу, je ne puis pas,[1] преодолеть себя. То есть я могу, — продолжал он опять после минутного молчания, — но мне это стоит слишком большого труда, громадного труда, коли я один. С другими в обыкновенных условиях, как вы идете в дело, я храбр, j'ai fait mes preuves,[2] потому что я самолюбив и горд: это мой порок, и при других... Знаете, позвольте мне ночевать у вас, а то у нас целую ночь игра будет, мне где-нибудь, на земле.

Пока Никита устраивал постель, мы встали и стали снова ходить в темноте по батарее. Действительно, у Гуськова голова была, должно быть, очень слаба, потому что с двух рюмок водки и двух стаканов вина он покачивался. Когда мы встали и отошли от свечки, я заметил, что он, стараясь, чтобы я не видал этого, сунул снова в карман десятирублевую бумажку, которую во всё время предшествовавшего разговора держал в ладони. Он продолжал говорить, что он чувствует, что может еще подняться, ежели бы был у него человек, как я, который бы принимал в нем участие.

Мы уже хотели итти в палатку ложиться спать, как вдруг над нами просвистело ядро и недалеко ударилось в землю. Так странно было, — этот тихий спящий лагерь, наш разговор,

---

[1] [я не могу,]

[2] [я доказал,]

и вдруг ядро неприятельское, которое, Бог знает откуда, влетело в середину наших палаток, — так странно, что я долго не мог дать себе отчета, что это такое. Наш солдатик Андреев, ходивший на часах по батарее, подвинулся ко мне.

— Вишь подкрался! Вот тут огонь видать было, — сказал он.

— Надо капитана разбудить, — сказал я и взглянул на Гуськова.

Он стоял, пригнувшись совсем к земле, и заикался, желая выговорить что-то.— Это... а то... неприя... это пре... смешно.— Больше он не сказал ничего, и я не видал, как и куда он исчез мгновенно.

В капитанской палатке зажглась свеча, послышался его всегдашний пробудный кашель, и он сам скоро вышел оттуда, требуя пальник, чтобы закурить свою маленькую трубочку.

— Что это, батюшка, — сказал он, улыбаясь, — не хотят мне нынче спать давать: то вы с своим разжалованным, то Шамиль; что же мы будем делать: отвечать или нет? Ничего не было об этом в приказании?

— Ничего. Вот он еще, — сказал я, — и из двух. — Действительно, во мраке, справа впереди, загорелось два огня, как два глаза, и скоро над нами пролетело одно ядро и одна, должно быть наша, пустая граната, производившая громкий и пронзительный свист. Из соседних палаток повылезали солдатики, слышно было их покрякиванье и потягиванье и говор.

— Вишь, в очко свистит, как соловей,—заметил артиллерист.

— Позовите Никиту, — сказал капитан с своей всегдашней доброй усмешкой. — Никита! ты не прячься, а горных соловьев послушай.

— Что ж, ваше высокоблагородие, — говорил Никита, стоя подле капитана, — я их видал, соловьев-то, я не боюсь, а вот гость-то, что тут был, наш чихирь пил, как услышал, так живо стречка дал мимо нашей палатки, шаром прокатился, как зверь какой изогнулся!

— Однако надо съездить к начальнику артиллерии, — сказал мне капитан серьезным начальническим тоном, — спросить, стрелять ли на огонь или нет; оно толку не будет, но всё-таки можно. Потрудитесь, съездите и спросите. Велите лошадь оседлать, скорей будет, хоть моего Полкана возьмите.

Через пять минут мне подали лошадь, и я отправился к начальнику артиллерии.

— Смотрите, отзыв *дышло*, — шепнул мне пунктуальный капитан, — а то в цепи не пропустят.

До начальника артиллерии было с полверсты, вся дорога шла между палаток. Как только я отъехал от нашего костра, сделалось так черно, что я не видал даже ушей лошади, а только огни костров, казавшиеся мне то очень близко, то очень далеко, мерещились у меня в глазах. Отъехав немного по милости лошади, которой я пустил поводья, я стал различать белые четвероугольные палатки, потом и черные колеи дороги; через пол-
10 часа, спросив раза три дорогу, раза два зацепив за колышки палаток, за что получал всякий раз ругательства из палаток, и раза два остановленный часовыми, я приехал к начальнику артиллерии. Покуда я ехал, я слышал еще два выстрела по нашему лагерю, но снаряды не долетали до того места, где стоял штаб. Начальник артиллерии не приказал отвечать на выстрелы, тем более, что неприятель приостановился, и я отправился домой, взяв лошадь в повод и пробираясь пешком между пехотными палатками. Не раз я уменьшал шаг, проходя мимо солдатской палатки, в которой светился огонь, и прислушивался
20 или к сказке, которую рассказывал балагур, или к книжке, которую читал грамотей и слушало целое отделение, битком набившись в палатке и около нее, прерывая чтеца изредка разными замечаниями, или просто к толкам о походе, о родине, о начальниках.

Проходя около одной из палаток 3-го баталиона, я услыхал громкий голос Гуськова, который говорил очень весело и бойко. Ему отвечали молодые, тоже веселые, господские, не солдатские голоса. Это, очевидно, была юнкерская или фельдфебельская палатка. Я остановился.

30 — Я его давно знаю, — говорил Гуськов. — Когда я жил в Петербурге, он ко мне ходил часто, и я бывал у него, он очень в хорошем свете жил.

— Про кого ты говоришь? — спросил пьяный голос.

— Про князя, — сказал Гуськов. — Мы ведь родня с ним, а главное — старые приятели. Оно, знаете, господа, хорошо этакого знакомого иметь. Он ведь богат страшно. Ему сто целковых пустяки. Вот я взял у него немного денег, пока мне сестра пришлет.

— Ну, посылай же.

40 — Сейчас. Савельич, голубчик! — заговорил голос Гуськова,

подвигаясь к дверям палатки, — вот тебе десять монетов, поди к маркитанту, возьми две бутылки кахетинского и еще чего? Господа? Говорите! — И Гуськов, шатаясь, с спутанными волосами, без шапки вышел из палатки. Отворотив полы полушубка и засунув руки в карманы своих серенькых панталон, он остановился в двери. Хотя он был в свету, а я в темноте, я дрожал от страха, чтобы он не увидал меня, и, стараясь не делать шума, пошел дальше.

— Кто тут? — закричал на меня Гуськов совершенно пьяным голосом. Видно, на холоде разобрало его.— Какой тут чорт с лошадью шляется?

Я не отвечал и молча выбрался на дорогу.

15 ноября 1856 г.

ЗАПИСКИ МАРКЕРА.

РАССКАЗ.

(1853 — 1855)

Так часу в третьем было дело. Играли господа: гость большой (так его наши прозвали), князь был (что с ним всё ездит), усатый барин тоже был, гусар маленький, Оливер, что в актерах был, *Пан* были. Народу было порядочно.

Гость большой с князем играли. Только вот я себе с машинкой круг бильярда похаживаю, считаю: девять и сорок восемь, двенадцать и сорок восемь. Известно, наше дело маркёрское: у тебя еще во рту куска не было, и не спал-то ты две ночи, а всё знай покрикивай да шары вынимай. Считаю себе, смотрю: новый барин какой-то в дверь вошел, посмотрел, посмотрел да и сел на диванчик. Хорошо.

«Кто, мол, это такой будет? из каких, то есть», думаю про себя.

Одет чисто, уж так чисто, что как с иголочки всё платье на нем: брюки триковые клетчатые, сюртучок модный, коротенький, жилет плюшевый и цепь золотая, а на ней всякие штучки висят.

Одет чисто, а уж из себя еще того чище: тонкий, высокий, волоса завиты наперед, по-модному, и с лица белый, румяный, — ну, сказать, молодец.

Оно известно, наше дело такое, что народу всякого видим: и самого что ни есть важного, и дряни-то много бывает, так всё хотя и маркёл, а к людям приноровишься, то есть, в том разе, что в политике-то кое-что смыслишь.

Посмотрел я на барина, — вижу, сидит тихо, ни с кем не знаком, и платье-то на нем новехонько; думаю себе: али из ино-

странцев, англичан будет, али из графов каких приезжих. И даром что молодой, вид имеет в себе. Подле него Оливер сидел, так посторонился даже.

Кончили партию. Большой проиграл, кричит на меня:

— Ты, — говорит, — всё врешь: не так считаешь, по сторонам смотришь.

Бранится, кий шваркнул и ушел. Вот поди ты! По вечерам с князем по пятидесяти целковых партию играют, а тут бутылку *маконгу* проиграл и сам не в себе. Уж такой характер! Другой раз до двух часов играют с князем, денег в лузу не кладут, и уж знаю, денег нет ни у того, ни у другого, а всё форсят:

— Идет, — говорит, — от двадцати пяти угол?

— Идет!

Зевни только али шара не так поставь — ведь не каменный человек! — так еще норовит в морду заехать.

— Не на щепки, — говорит, — играют, а на деньги.

Уж этот пуще всех меня донимает.

Ну, хорошо. Только князь и говорит новому барину-то, как большой ушел:

— Не угодно ли, — говорит, — со мной сыграть?

— С удовольствием, говорит.

Сидел он, так таким фофаном смотрит, что ну! Куражный то есть из себя; ну, а как встал, подошел к бильярду, и не то: заробел. Заробел, не заробел, а видно, что уж не в своем духе. В платье, что ли, в новом неловко, али боится, что смотрят все на него, только уж форцу того нет. Ходит боком как-то, карманом за лузы цепляет, станет кий мелить — мел уронит. Где бы и сделал шара, так всё оглядывается да краснеет. Не то, что князь: тот уж привык — намелит, намелит себе руку, рукава засучит, да как пойдет садить, так лузы трещат, даром что маленький.

Сыграли две ли три партии, уж не помню, князь кий положил, говорит:

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нехлюдов, — говорит.

— Ваш, — говорит, — батюшка корпусом командовал?

— Да, — говорит.

Тут по-французски что-то часто заговорили; уж я не понял. Должно, всё родство вспоминали.

— А ревуар, — говорит князь! — очень рад с вами познакомиться.

Вымыл руки и ушел кушать; а тот стоит с кием у бильярда, шарики поталкивает.

Наше дело, известно, с новым человеком что грубей быть, то лучше: я взял шары да и собираю. Он покраснел, говорит:

— Можно еще сыграть?

— Известно, — говорю, — на то бильярд стоит, чтоб играть. А сам на него не смотрю, кии уставляю.

— Хочешь со мной играть?

— Извольте, — говорю, — сударь!

Шары поставил.

— На пролаз угодно?

— Что такое значит, — говорит, — на пролаз?

— Да так, — я говорю, — вы мне полтинничек, а я под бильярд пролезу.

Известно, ничего не видамши, чудно ему показалось, смеется.

— Давай, — говорит.

Хорошо. Я говорю: — Мне вперед сколько пожалуете?

— Разве, — говорит, — ты хуже меня играешь?

— Как можно, — я говорю, — у нас против вас игроков мало.

Стали играть. Уж он и точно думает, что мастер: стучит так, что беда; а *Пан* сидит да всё приговаривает:

— Вот так шар! Вот так удар!

А какой!.. ударишка точно был, да расчету ничего не знает. Ну, как водится, проиграл я первую партию: полез, кряхчу. Тут Оливер, *Пан* с местов пососкочили, киями стучат.

— Славно! Еще, — говорят, — еще!

А уж чего «еще»! Особенно *Пан*-то за полтинник рад бы не то под бильярд, под Синий мост пролезть. А то туда же кричит:

— Славно, — говорит, — пыль не всю еще вытер.

Петрушка маркёл, я чай, всем известен. Тюрин был да Петрушка маркёл.

Только игры, известно, не открыл: проиграл другую.

— Мне, — говорю, — с вами, сударь, так и так не сыграть.

Смеется. Потом как выиграл я три партии — у них сорок девять было, у меня никого — я положил кий на бильярд, говорю:

— Угодно, барин, на всю?

— Как на всю? — говорит.

— Либо три рубля за вами, либо ничего, — говорю.

— Как, — говорит, — разве я с тобой на деньги играю? Дурак!

Покраснел даже.

Хорошо. Проиграл он партию.

— Довольно, — говорит.

Достал бумажник, новенький такой, в аглицком магазине куплен, открыл, уж я вижу, пофорсить хотел. Полнехонек денег, да всё сторублевые.

— Нет, — говорит, — тут мелочи нет.

Достал из кошелька три рубля.

— Тебе, — говорит, — два, да за партии, а остальное возьми на водку.

Благодарю, мол, покорно. Вижу, барин славный! Для такого можно полазить. Одно жаль: на деньги не хочет играть; а то, думаю, уж я бы изловчился: глядишь, рублей двадцать, а то и сорок потянул бы.

Как *Пан* увидел деньги у молодого барина-то: — Не угодно ли, говорит, со мной партийку? Вы так отлично играете. — Такой лисой подъехал.

— Нет, — говорит, — извините: мне некогда. — И ушел.

И чорт его знает, кто он такой был, *Пан* этот. Прозвал его кто-то *паном*, так и пошло. День деньской, бывало, сидит в бильярдной, всё смотрит. Уж его и били-то, и ругали, и в игру ни в какую не принимали, всё сидит себе, принесет трубку и курит. Да уж и играл чисто... бестия!

Хорошо. Пришел Нехлюдов в другой раз, в третий, стал часто ходить. И утром, и вечером, бывало, ходит. В три шара, алагер, пирамидку — всё узнал. Смелей стал, познакомился со всеми и играть стал порядочно. Известно, человек молодой, большой фамилии, с деньгами, так уважал каждый. Только с одним с гостем с большим раз как-то повздорил.

И из-за пустяков дело вышло.

Играли алагер князь, гость большой, Нехлюдов, Оливер и еще кто-то. Нехлюдов стоит около печки, говорит с кем-то, а большому играть, — он же крепко вышимши был в тот раз. Только шар его и придись как раз против самой печки: тесненько там, да и любит он размахнуться.

Вот он, не видал, что ли, Нехлюдова, али нарочито, как

размахнется в шара, да Нехлюдова в грудь турником ка-ак стукнет! Охнул даже сердечный. Так что ж? Нет того, чтоб извиниться — грубый такой! Пошел себе дальше, на него и не посмотрел; да еще бормочет:

— Чего, — говорит, — тут суются? От этого шара не сделал. Разве нет места?

Тот подошел к нему, побледнел весь, а говорит, как ни в чем не был, учтиво так:

— Вы бы прежде, сударь, должны извиниться: вы меня толкнули, — говорит.

— Не до извинений мне теперь: я бы,— говорит,— должен выиграть, а теперь, — говорит, — вот моего шара сделают.

Тот ему опять говорит:

— Вы должны,—говорит,— извиниться.

— Убирайтесь вы,— говорит. — Вот пристал!

А сам всё на своего шара смотрит.

Нехлюдов подошел к нему еще ближе да за руку его.

— Вы невежа,— говорит,— милостивый государь!

Даром что тоненький, молоденький, как девушка красная, а какой задорный: глазенки горят, вот так съесть его хочет. Большой-то гость мужчина здоровый, высокий, куда Нехлюдову!

— Что-о? — говорит,— я невежа!

Да как закричит, да как замахнется на него. Тут подскочили, кто был, за руки их поймали обоих, растащили.

Тары да бары, Нехлюдов говорит:

— Пусть он мне удовлетворенье даст, он меня оскорбил, дескать, — т. е. дуэль хотел с ним иметь. Известно, господа: уж у них такое заведение... нельзя!.. Ну, одно слово, господа!

— Никакого,— говорит,— удовлетворенья знать не хочу! Он мальчишка, больше ничего. Я его за уши выдеру.

— Ежели вы,— говорит,— не хотите драться, так вы не благородный человек.

А сам чуть не плачет.

— А ты, — говорит, — мальчишка! я от тебя ничем не обижусь.

Ну, развели их, как водится, по разным комнатам. Нехлюдов с князем дружны были.

— Поди,— говорит,— ради Бога, уговори его, чтобы он, то есть, на дуэль согласие сделал. Он, — говорит, — пьян

был; может, он опомнится. Нельзя, — говорит, — этому так кончиться.

Пошел князь. Большой говорит:

— Я, — говорит, — и на дуэли, и на войне дрался. Не стану, — говорит, — с мальчишкой драться. Не хочу, да и шабаш.

Что ж, поговорили, поговорили, да и замолчали; только гость большой перестал к нам ездить.

Насчет этого, то есть канфузу, какой петушок был, амбиционный был... то есть, Нехлюдов-то... а уж что касается чего другого прочего, так вовсе не смыслил. Помню раз:

— Кто у тебя здесь есть? — говорит князь Нехлюдову-то.

— Никого, — говорит.

— Как же, — говорит, — никого?

— Зачем? — говорит.

— Как зачем?

— Я, — говорит, — до сих пор так жил, так отчего же нельзя?

— Как: так жил? Не может быть!

И заливается-хохочет, и усатый барин тоже хохочет. Совсем на смех подняли.

— Так никогда? — говорят.

— Никогда.

Помирают со смеху. Я, известно, сейчас понял, что они так над ним смеются. Смотрю: что, мол, будет из него?

— Поедем, — говорит князь, — сейчас.

— Нет, ни за что! — говорит.

— Ну, полно! это смешно, — говорит. — Вышей для куражу, да и поедем.

Принес я им бутылку шампанского. Выпили, повезли молодчика.

Приехали часу в первом. Сели ужинать, и собралось их много, что ни есть самые лучшие господа: Атанов, князь Равин, граф Шустах, Мирцов. И все Нехлюдова поздравляют, смеются. Меня позвали. Вижу — веселы порядочно.

— Поздравляй, — говорят, — барина.

— С чем? — говорю.

Как бишь он сказал? *с посвещением ли, с просвящением ли*, не помню уж хорошенько.

— Честь имею, — говорю, — поздравить.

А он красный сидит; улыбается только. То-то смеху-то было!

Хорошо. Приходят потом в бильярдную, веселы все, а Нехлюдов на себя не похож: глаза посоловели, губами водит, икает всё и уж слова не может сказать хорошенько. Известно, ничего не видамши, его и сшибло. Подошел он к бильярду, облокотился, да и говорит:

— Вам,— говорит,— смешно, а мне грустно. Зачем,— говорит,— я это сделал; и тебе,— говорит,— князь, и себе в жизнь свою этого не прощу.

Да как зальется, заплачет. Известно, вышил, сам не знает, что говорит. Подошел к нему князь, улыбается сам.

— Полно,— говорит,— пустяки!.. Поедем домой, Анатолий.

— Никуда,— говорит,— не поеду. Зачем я это сделал?

А сам-то заливается. Нейдет от бильярда, да и шабаш. Что значит человек молодой, непривычный.

Таким-то родом езжал он к нам часто. Приезжают раз с князем и с усатым господином, который всё с князем ходил. Из чиновников или из отставных каких он был, Бог его знает, только *Федоткой* его всё господа звали. Скуластый, дурной такой, а ходил чисто и в карете езжал. За что его господа так любили, Бог их ведает. *Федотка*, *Федотка*, а глядишь — его и кормят, и поят, и деньги за него платят. Да уж и шельма же был! проиграет — не платит; а выиграет, так не босъ! Уж его и ругали-то, и бил в глазах моих гость большой, и на дуэль вызывал... всё с князем под ручку ходит.

— Ты,— говорит,— пропадешь без меня. Я *Федот*,— говорит,— да не тот.

Шутник такой! Ну, ладно. Приехали, говорят:

— Давай алагер втроем составим.

— Давай,— говорит.

Стали играть по три рубля ставку. Нехлюдов с князем тары да бары.

— Ты,— говорит,— посмотри, какая у нее ножка. Нет,— говорит,— что ножка! у нее коса,— говорит,— хороша.

Известно, на игру не смотрят; только всё промеж себя разговаривают. А *Федотка* свое дело помнит: знай с накатцем сыграет, а те промах али вовсе на себя. И зашиб по шести рублей с брата. С князем-то у них Бог знает какие счеты были, никогда друг другу денег не платили, а Нехлюдов достал две зелененьких, подает ему.

— Нет, — говорит, — я не хочу с тебя денег брать. Давай простую сыграем: китудубль, то есть: либо вдвое, либо ничья.

Поставил я шаров. *Федотка* вперед взял, и стали играть. Нехлюдов-то бьет, чтоб пофорсить; другой раз на партии стоит: нет, — говорит, — не хочу, легко, мол, слишком; а *Федотка* свое дело не забывает, знай себе подбирает. Известно, игру скрыл, да как будто невзначай и выиграй партию.

— Давай, — говорит, — еще на все.

— Давай.

Опять выиграл.

— С пустяков, — говорит, — началось. Я не хочу у тебя много выигрывать. Идет на все?

— Идет.

Оно как бы ни было, пятидесяти-то рублей жалко. Уж Нехлюдов просит: «давай на всю». Пошла да пошла, дальше да больше, двести восемьдесят рублей на него и набил. *Федотка* сноровку знает: простую проиграет, а угол выиграет. А князь сидит, видит, что дело в серьёз пошло.

— *Асе*,[1] — говорит, — *асе*.

Какой! всё куш прибавляют.

Наконец тому дело вышло, за Нехлюдовым пятьсот с чем-то рублей. *Федотка* кий положил, говорит:

— Не довольно ли? я устал, — говорит.

А сам до зари готов играть, только б денежки были... политика, известно. Тому еще пуще хочется: давай да давай.

— Нет, — говорит, — ей Богу, устал. Пойдем, — говорит, — наверх; там реванш возьмешь.

А наверху у нас в карты играли господа. Сначала преферансик, а там глядишь — *любишь не любишь* пойдет.

Вот с того самого числа так его *Федотка* окрутил, что начал он к нам каждый день ездить. Сыграет партию-другую, да и наверх, да и наверх.

Уж что там у них бывало, Бог их знает; только что совсем другой человек стал, и с *Федоткой* всё пошло заодно. Прежде, бывало, модный, чистенький, завитой, а нынче только с утра еще в настоящем виде; а как наверху побывал, придет взъерошенный, сюртук в пуху, в мелу, руки грязные.

---

[1] [Довольно,]

Раз этаким манером приходит оттуда с князем, бледный, губы трясутся, и спорит что-то.

— Я, мол, не позволю *ему* говорить мне (как бишь он сказал?)... что я не *великатен*, что ли, и что *он* моих карт не будет бить. Я, — говорит, — *ему* десять тысяч заплатил, так *он* мог бы при других-то быть осторожнее.

— Ну, полно, — говорит князь: — стоит ли на *Федотку* сердиться?

— Нет, — говорит, — я этого так не оставлю.

— Перестань, — говорит, — как можно до того унижаться, что с *Федоткой* иметь историю!

— Да ведь тут были посторонние.

— Что ж, — говорит, — посторонние? Ну, хочешь, я его сейчас заставлю у тебя прощенья просить?

— Нет, — говорит.

И забормотали что-то по-французски, уж я не понял. Что ж? тот же вечер с *Федоткой* вместе ужинали, и опять дружба пошла.

Хорошо. Придет другой раз один.

— Что, — говорит, — хорошо я играю?

Наше дело, известно: потрафлять каждому надо; скажешь: хорошо, — а какой хорошо, стучит дуром, а расчету ничего нет. И с того самого время, как с *Федоткой* связался, всё на деньги играть стал. Прежде не любил ни на что, — ни на кушанье, ни на шампанское. Бывало, князь скажет:

— Давай на бутылку шампанского.

— Нет, — говорит, — я лучше так велю принести... Гей! дай бутылку.

А нынче всё на интерес стал играть. Ходит, бывало, день деньской у нас, или с кем в бильярд играет, или наверх пойдет. Я себе и думаю: что же другим, а не мне всё будет доставаться?

— Что, — говорю, — сударь, со мной давно не играли?

Вот и стали играть.

Как набил я на него полтинников десять, — на квит, — говорю, — хотите, сударь?

Молчит. Не то что прежде *дурака* сказал. Вот и стали играть на квит да на квит. Я на него рублей восемьдесят и набил. Так что ж? Каждый день со мной играть стал. Того и ждет, бывало, чтобы не было никого, а то, известно, при других стыдно ему

с *маркёлом* играть. Раз как-то погорячился он, а рублей уж за ним с шестьдесят было.

— Хочешь, — говорит, — на все?

— Идет, говорю.

Выиграл я.

— Сто двадцать на сто на двадцать?

— Идет, — говорю.

Опять выиграл.

— Двести сорок на двести на сорок?

— Не много ли будет? — говорю.

Молчит. Стали играть: опять моя партия.

— Четыреста восемьдесят на четыреста на восемьдесят?

Я говорю:

— Что ж, сударь, мне вас обижать. Сто-то рубликов пожалуйте; а то пусть так будут.

Так он как крикнет! А ведь какой тихий был.

— Я, — говорит, — тебя исколочу. Играй или не играй.

Ну, вижу, делать нечего.

— Триста восемьдесят, — говорю, — извольте.

Известно, хотел проиграть.

Дал я сорок вперед. У него пятьдесят два было, у меня тридцать шесть. Стал он желтого резать, да и положи на себя восемнадцать очков, а мой — на перекате стоял.

Ударил я так, чтоб выскочил шар. Не тут-то было, он дуплетом и упади. Опять моя партия.

— Послушай, — говорит, — *Петр* (Петрушкой не назвал), я тебе сейчас не могу отдать всех, а через два месяца хоть три тысячи могу заплатить.

А сам весь кра-асный стал, дрожит ажно голос у него.

— Хорошо, — говорю, — сударь.

Да и поставил кий. Он походил, походил, пот так с него и льет.

— Петр, — говорит, — давай на все.

А сам чуть не плачет.

Я говорю:

— Что, сударь, играть!

— Ну, давай, пожалуйста.

И сам кий мне подает. Я взял кий да шары на бильярд так шваркнул, что на пол полетели: известно, нельзя не пофорсить; говорю:

— *Давай, сударь.*

А уж он так заторопил, что сам шар поднял. Думаю себе: «Не получить мне семисот рублей; всё равно проиграю». Стал нарочно играть. Так что же?

— Зачем, — говорит, — нарочно дурно играешь?

А у самого руки дрожат; а как шар к лузе бежит, так пальцы растаращит, рот скривит да всё к лузе и головой-то и руками тянет. Уж я говорю:

— Этим не поможешь, сударь.

Хорошо. Как выиграл он эту партию, я говорю:

— Сто восемьдесят рубликов за вами будет да полтораста партий; а я, мол, ужинать пойду.

Поставил кий и ушел.

Сел я себе за столик против двери, а сам смотрю: что, мол, из него будет? Так что ж? Походит, походит — чай думает: никто на него не глядит — да за волосы себя как дернет, и опять ходит, бормочет всё что-то, да опять как дернет.

После того дней с восемь не видать его было. Пришел в столовую раз, угрюмый такой, и в бильярдную не зашел.

Увидал его князь:

— Пойдем, — говорит, — сыграем.

— Нет, — говорит, — я больше играть не буду.

— Да полно! пойдем.

— Нет, — говорит, — не пойду. Тебе, — говорит, — добра не сделает, что я пойду, а мне дурно от этого будет.

Так и не ходил дней с десять еще. А потом на праздниках как-то заехал, во фраке, видно в гостях был, и целый день пробыл: всё играл; на другой день приехал, на третий... Пошло по-старому. Хотел я было с ним еще поиграть, так — нет, — говорит, — с тобой играть не стану. А сто восемьдесят рублей, что я тебе должен, приди ко мне через месяц: получишь.

Хорошо. Пришел к нему через месяц.

— Ей-Богу, — говорит, — нет, а в четверг приди.

Пришел я в четверг. Славную такую квартерку занимал.

— Что, — говорю, — дома?

— Почивает, — говорят.

Хорошо, подожду.

Камердин у него из своих был — старичок такой седень-

кий, простой, ничего политики не знал. Вот и поразговорились мы с ним.

— Что, — говорит, — мы тут живем с барином! Совсем замотались, и никакой им ни чести, ни пользы нет от Петербургу от этого. Из деревни ехали, думали: будем как при покойнике барине, царство небесное, по князьям, по графам да по генералам ездить; думали: возьмем себе какую из графинь кралю, с приданым, да и заживем по-дворянски; а выходит на поверку, что мы только по трахтирам бегаем — совсем плохо! Княгиня-то Ртищева ведь нам тетка родная, а князь Воротынцев тятенька хресный. Что ж? только на Рождество был раз, да и носу не кажет. Уж ихние люди и то смеются мне: что, мол, ваш барин-то, видно, не в папеньку пошел. Я раз и говорю ему:

— Что, сударь, к тетеньке не изволите ездить? Они скучают, что вас давно не видали.

— Скучно, — говорит, — там, Демьяныч!

Поди ты! только и веселья нашел, что в трахтире. Хоть бы служил что ли, а то нет: занялся картами да прочим, а уж евти дела никогда к добру не поведут... Э-эх! пропадаем мы, так, ни за грош пропадаем!.. У нас от барыни-покойницы, царство небесное, богатейшее именье осталось: тысяча душ слишком, тысяч на триста лесу было. Всё заложил теперь, лес продал, мужичков разорил, и всё нет ничего. Без господина, известно, управляющий сам больше господина... дерет с мужика последнюю шкуру, да и шабаш. Ему что? набить бы только карман, а там хоть с голоду все помирай. Намедни пришли два мужичка, жалобы принесли от всей вотчины.

— Разорил, — говорят, — в конец мужиков.

Что ж? прочитал жалобы, дал по десяти рублей мужичкам.— Я, — говорит, — сам скоро буду. Получу деньги, — говорит, — расплачусь, тогда уеду.

А где расплатиться, когда мы всё долги делаем! Ведь много ли, мало ли, тут зиму прожили, тысяч восемьдесят спустили; а теперь в доме рубля серебром нету! А всё от добродетели своей. Уж такой простой барин, что и сказать нельзя. От этого самого и пропадает, так вот ни за что пропадает.

И сам чуть не плачет, старик-то. Такой старик смешной.

Проснулся часу в одиннадцатом, позвал меня.

— Не прислали мне, — говорит, — денег, только я виноват. Затвори, — говорит, — дверь.

Я затворил.

— Вот,—говорит,—возьми часы или булавку брильянтовую и заложи их. Тебе,— говорит,— за них больше ста восьмидесяти рублей дадут, а когда я получу деньги, то выкуплю,— говорит.

— Что ж,—я говорю,—сударь, коли денег у вас нет, нечего делать: пожалуйте хоть часы. Я для вас могу уважить.

А сам вижу, что часы рублей триста стоят.

Хорошо. Заложил я часы за сто рублей, а записку ему принес.

— Восемьдесят,—говорю,—рублей за вами будут; а часы сами извольте выкупить.

Так и по сие время восемьдесят рублей моих денег за ним осталось.

Таким-то родом стал он к нам опять каждый день ходить. Уж не знаю, какие у них промеж себя расчеты были, только всё вместе с князем езжали. Или с *Федоткой* наверх пойдут играть. И тоже какие-то у них втроем мудреные счеты были: тот тому дает, тот тому дает; а кто кому должен, не разберешь никак.

И бывал он таким манером у нас два года, почитай, что каждый день, только вид уж свой потерял: бойкой стал и другой раз до того доходил, что у меня по целковому занимал извозчику отдать; а по сту рублей с князем партию играли.

Скучный, худой, желтый стал. Приедет, бывало, абсинту сейчас рюмочку велит подать, *канапе* закусит, да портвейном запьет; ну, и повеселей как будто.

Приезжает раз перед обедом, на маслянице дело было, и стал с каким-то гусаром играть.

— Хотите,—говорит,—заинтересовать партию?

— Извольте,—говорит.—На что?

— Бутылку Клодвужо, хотите?

— Идет.

Хорошо. Гусар выиграл, и пошли кушать. Сели за стол; только Нехлюдов и говорит:

— Simon! бутылку Клодвужо; да смотри, согреть хорошенько.

Simon ушел, приносит кушанье, бутылки нет.

— Что ж, говорит, вино?

Simon побежал, приносит жаркое.

ШЕСТОЙ ЛИСТ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ «ЗАПИСОК МАРКЕРА»

(Размер подлинника)

— Подавай же вино,— говорит.

Simon молчит.

— Что ты с ума сошел! мы уж кончаем обедать, а вина нет. Кто ж его пьет с десертом?

Побежал Simon.

— Хозяин, — говорит, — вас просит.

Покраснел весь, выскочил из-за стола.

— Что, — говорит, — ему надо?

А хозяин стоит у двери.

— Я, — говорит, — не могу вам больше верить, коли вы мне по счету не заплатите.

— Да я, — говорит, — вам сказал, что я в первых числах отдам.

— Как вам угодно, — говорит, — будет; а я в долг не могу беспрестанно давать и ничего не получать. У меня и так, — говорит, — десятки тысяч в долгах пропадают.

— Ну, полно, *моншер*, — говорит, — уж мне-то можно поверить. Пришлите бутылку, а я постараюсь вам поскорее отдать.

И убежал сам.

— Что это, вас зачем вызывали? — гусар говорит.

— Так, — говорит, — просил меня об одной вещи.

— А славно бы, — говорит гусар, — теперь винца тепленького стакан выпить.

— Simon, что же?!

Побежал мой Simon. Опять нет ни вина, ничего. Плохо. Вышел из-за стола, прибежал ко мне.

— Ради Бога, — говорит, — Петруша, дай мне шесть целковых.

А на самом лица нет.

— Нету, — говорю, — сударь, ей-Богу, да уж и так за вами моих много.

— Я тебе, — говорит, — сорок целковых за шесть через неделю отдам.

— Коли бы были, — говорю, — я бы не смел отказать, а то, ей-ей, нету.

Так что же? выскочил, зубы стиснул, кулаки сжал, как шальной по колидору бегает, да по лбу себя как треснет.

— Ах! — говорит, — Господи! Что это?

Даже не зашел в столовую, вскочил в карету и ускакал.

То-то смеху было. Гусар говорит:

— Где, мол, барин, что со мной обедал?

— Уехал, — говорят.

— Как уехал? Что ж он сказать велел?

— Ничего, — говорят, — не велели сказывать: сели, да и уехали.

— Хорош, — говорит, — гусь!

Ну, думаю себе, теперь долго ездить не будет, после то есть сраму такого. Так нет. На другой день в вечеру приезжает. Пришел в бильярдную и ящик какой-то с собой принес. Снял пальто.

— Давай играть, — говорит.

Глядит исподлобья, сердитый такой.

Сыграли партийку.

— Довольно, — говорит, — поди принеси мне перо и бумаги: письмо нужно написать.

Я, ничего не думамши, не гадамши, принес бумаги, положил на стол в маленькую комнату.

— Готово, — говорю, — сударь.

Хорошо. Сел за стол. Уж он писал, писал, бормотал всё что-то, вскочил потом нахмуренный такой.

— Поди, — говорит, — посмотри, приехала ли моя карета?

Дело в пятницу на Масляной было, так никого из гостей не было: все по балам.

Я пошел было узнать о карете, только за дверь вышел:

— Петрушка! Петрушка! — кричит, точно испужался чего.

Я вернулся. Смотрю, он белый, вот как полотно, стоит, на меня смотрит.

— Звать, — говорю, — изволили, сударь?

Молчит.

— Что, — говорю, — вам угодно?

Молчит.

— Ах, да! давай еще играть, — говорит.

Хорошо. Выиграл он партию.

— Что, — говорит, — хорошо я научился играть?

— Да, — я говорю.

— То-то. Поди, — говорит, — теперь, узнай, что карета?

А сам по комнате ходит.

Я себе, ничего не думая, вышел на крыльцо: вижу, кареты никакой нет, иду назад.

Только иду назад, слышу, кием ровно стукнул кто-то. Вхожу в бильярдную: пахнет что-то чудно.

Глядь: а он на полу лежит, ве-есь в крови, и пистоль подле брошена. Так я до того испужался, что слова сказать не мог.

А он дрыгнет, дрыгнет ногой, да и потянется. Захрапел потом, да и растянулся вот этаким родом.

И отчего такой грех с ними случился, что душу свою загубил, то есть Бог его знает; только что бумагу эту оставил, да и то я никак не соображу.

Уж чего не делают господа!.. Сказано, господа... Одно слово: — господа.

«Бог дал мне всё, чего может желать человек: богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь всё, что было во мне хорошего.

«Я не обесчещен, не несчастен, не сделал никакого преступления; но я сделал хуже: я убил свои чувства, свой ум, свою молодость.

«Я опутан грязной сетью, из которой не могу выпутаться и к которой не могу привыкнуть. Я беспрестанно падаю, падаю; чувствую свое падение и не могу остановиться. Мне легче бы было быть обесчещенным, несчастным или преступным: тогда было бы какое-то утешительное, угрюмое величие в моем отчаянии. Ежели бы я был обесчещен, я бы мог подняться выше понятий чести нашего общества и презирать его. Ежели бы я был несчастлив, я бы мог роптать. Ежели бы я сделал преступление, я бы мог раскаянием или наказанием искупить его; но я просто низок, гадок, знаю это — и не могу подняться.

«И что погубило меня? Была ли во мне какая-нибудь сильная страсть, которая бы извиняла меня? Нет.

«Семерка, туз, шампанское, желтый в середину, мел, серенькие, радужные бумажки, папиросы, продажные женщины — вот мои воспоминания!

«Одна ужасная минута забвения, низости, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмеримая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть. В моем воображении возникли надежды, мечты и думы моей юности.

«Где те светлые мысли о жизни, о вечности, о Боге, которые

с такою ясностью и силой наполняли мою душу? Где беспредметная сила любви, отрадной теплотой согревавшая мое сердце? Где надежда на развитие, сочувствие ко всему прекрасному, любовь к родным, к ближним, к труду, к славе? Где понятие об обязанности?

«Меня оскорбили — я вызывал на дуэль и думал, что вполне удовлетворил требованиям благородства. Мне нужны были деньги для удовлетворения своих пороков и тщеславия — я разорил тысячи семейств, вверенных мне Богом, и сделал это без стыда, — я, который так хорошо понимал эти священные обязанности. Бесчестный человек сказал мне, что у меня нет совести, что я хочу красть, — и я остался его другом, потому что он бесчестный человек и сказал мне, что он не хотел меня обидеть. Мне сказали, что смешно жить скромником, — и я отдал без сожаления цвет своей души — невинность — продажной женщине. Да, никакой убитой части моей души мне так не жалко, как любви, к которой я так был способен. Боже мой! Любил ли хоть один человек так, как я любил, когда еще не знал женщин!

«А как я мог быть хорош и счастлив, ежели бы шел по той дороге, которую, вступая в жизнь, открыли мой свежий ум и детское, истинное чувство! Не раз пробовал я выйти из грязной колеи, по которой шла моя жизнь, на эту светлую дорогу. Я говорил себе: употреблю всё, что есть у меня воли,— и не мог. Когда я оставался один, мне становилось неловко и страшно с самим собой. Когда я был с другими, я забывал *невольно* свои убеждения, не слыхал более внутреннего голоса и снова падал.

«Наконец я дошел до страшного убеждения, что не могу подняться, перестал думать об этом и хотел забыться; но безнадежное раскаяние еще сильнее тревожило меня. Тогда мне в первый раз пришла страшная для других и отрадная для меня мысль о самоубийстве.

«Но и в этом отношении я был низок и подл. Только вчерашняя глупая история с гусаром дала мне довольно решимости, чтобы исполнить свое намерение. Во мне не осталось ничего благородного — одно тщеславие, и из тщеславия я делаю единственный хороший поступок в моей жизни.

«Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. Я ошибался. Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой

нисколько не изменился. Я так же вижу, так же слышу, так же думаю; та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположная тому единству и ясности, которые, Бог знает зачем, дано воображать человеку. Мысли о том, что будет за гробом, и какие толки будут завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, с одинаковой силой представляются моему уму.

— —

«Непостижимое создание человек!»

МЕТЕЛЬ.

РАССКАЗ.

(1856)

I.

В седьмом часу вечера, я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркасска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки, и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить в бок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

— Не заблудиться бы нам? — сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: — Что, доедем до станции, ямщик? не заблудимся?

— А Бог знает,— отвечал он мне, не поворачивая головы,— вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

— Да ты скажи лучше, надеешься ты довезти до станции или нет? — продолжал я спрашивать. — Доедем ли?

— Должны доехать, — сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось; но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская — большая, раскачивающаяся в разные стороны; да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, тóчно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная, сгорбленная спина, торчавшая передо мною.

— А по-моему лучше бы воротиться, — сказал мне Алешка: — плутать-то чтò веселого!

— Господи-батюшка! вишь, несет какая кура! ничего дороги не видать, все глаза залепило... Господи-батюшка! — ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу.

— Чтò? куда ты? сбились, что ли? — спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

— Ну чтò? есть? — повторил я, когда он вернулся.

— Нету ничего, — сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

— Чтò ж будем делать? — спросил я, когда мы снова тронулись.

— Чтò ж делать! поедем, куда Бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже очевидно целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту.

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая всё усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем Бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

— Что̀, как ты думаешь, — спросил я опять ямщика: — доедем мы до станции?

— До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

— Ну, так пускай назад, — сказал я: — и в самом деле...

— Стало, ворочаться? — повторил ямщик.

— Да, да, ворочайся!

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

— Анадысь так-то в заметь обратные с той станции поехали, — сказал он: — да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзли — холод был. И то один ноги позаморозил, — так три недели от них умирал.

— А теперь ведь не холодно и потише стало, — сказал я: — можно бы ехать?

— Оно тёпло-то тёпло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажет; а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер али что̀, по своей воле; а то ведь шутка ли — седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?

II.

В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

— Колокол кульерский, — сказал мой ямщик: — один такой на всей станции есть.

И, действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотницкое заведение: три колокольчика — один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и

дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

— Пошта бежит, — сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поровнялась с нами. — А что̀ дорога? проехать можно? — крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

— А то поедемте, барин! — сказал он мне: — люди проехали — теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это, или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и наконец дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но всё тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что̀ мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные, белые слои снега, и дорога мне виднелась только в воображении, — как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» но голос мой — я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани, — саней не было, пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся на бок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

— Еще спасибо — тёпло, — сказал он: — а морозом хватит — беда!.. Господи-батюшка!

— Пускай лошадей, пусть везут назад, — сказал я, усевшись в сани. — Привезут? а, ямщик?

— Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотницкий колокольчик и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотницким колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».

III.

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

— Вишь, чорт косоглазый, не видит! куда воротит — на людей. Чорт! — принялся ругаться хриплым дребезжащим голосом один невысокий ямщик, старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика.

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади, и ямщик скрылись в белой мгле метели.

— Васили-ий! давай сюда буланого: так не пойма-ешь, — послышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, взлез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

— Как же! поймает! — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. — Уж коли к лошадям не пошла, значит — оголтелая лошадь, туда заведет, что и... не выйдет.

С тех пор, как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что̀ он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до Рождества недостает, и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их села каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не езжал ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава Богу, по 120 р. ассигн. в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, «да кульеры оченно звери, да и народ здесь всё ругатель».

— Ну, чего ругался ямщик-то этот? Господи-батюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит да и сам пропадет, — повторял богобоязненный мужичок.

— А это что̀ чернеется? — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

— А обоз. То-то любезная езда! — продолжал он, когда мы поровнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах. — Гляди, ни одного человека не видать — все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядою, — прибавил он, — так знаем.

Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной

дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поровнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне.

— А что̀, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

— Не знаю, — отвечал я.

— Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем, — заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусоват — на миру и смерть красна, — он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много, и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами, и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настороживала уши.

— Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! — сказал мой ямщик недовольным тоном. — Кульерские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим.

Он прокашлялся.

— Вернемся-ка, барин, от греха.

— Зачем? куда-нибудь да приедем.

— Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно уже потеряв и дорогу, и направление, не отыскивал дороги, а, ве-

село покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

— Пошел за ними, — сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

IV.

Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому, обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и, когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись, и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что̀ я видел ясно, это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая — курьерская, в которой всё так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка *затишку*, сидели двое и, не переставая, курили трубочку, что̀ видно было по искрам, блестевшим оттуда, и третья, в которой никого не видно было, и предположительно ямщик спал в середине. Передовой ямщик однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно-огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди

однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрикиванье и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

— Слышь, Игнашка! влево совсем забрали: правее забирай, под погоду-то. — Или: Что̀ кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит — как раз выедешь. — Или: Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб никак. — Или: Что̀ путаешь-то? что̀ путаешь? Отпряжь-ка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка, и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на кульерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу. — А наши лошади в заметь передом не пойдут! — крикнул он: — не такие лошади!

— Так не мути! — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключал по неугасаемой его трубочке и по тому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

— Ну что̀ стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый, и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел знай!

— Как же! небось, поштальон в прошлом году до смерти замерз! — отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался всё время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

— Филипп! а, Филипп! — и, не получив ответа, заметил: — Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который поспевал на всё, подошел к саням и начал толкать спящего.

— Вишь, с косушки как его розобрало! Замерз, так скажи! — говорил он, раскачивая его.

Спящий промычал что-то и ругнулся.

— Жив, братцы! — сказал Игнашка и снова побежал вперед, и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

V.

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали они это в темную, слепую метель, средь голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поровнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

— Вишь, чорт косоглазый! право...

— Э, дядя Митрич, — крикнул сказочник из вторых саней: — жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

— Всех поймал? — сказали ему оттуда.

— А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудью взвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же, как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

— Вишь, ругатель... Господи-батюшка! — пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза — та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ременными поводками узды

поматывается, всё в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гненькая пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз — тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит всё в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева всё белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора — ничего не видно. Везде всё бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно-далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая, высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убегать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх — покажется светло в первую минуту, кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое, неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзлому черепку, ясно долетают до слуха энергическое посвистывание Игната и заливистый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отрадно нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня зябнуть, и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

VI.

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что всё кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, — думаю я, — в роде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с заворочеными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит, не переставая:

— На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

— Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни, — робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол рояля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что̀ это? — рассуждал я, — думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что Бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые по колено в воде тянут невод, и опять Федор Филиппыч с лейкой, крича на всех, бегает по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придержав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то. Я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Всё вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и одно, что̀ мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые,

перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх: глазам больно — солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, — и кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком; становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и также, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

— Ах, батюшки! Да что ж это! и мужчин никого нету!

— Что это, что? — спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и стопятилетняя старуха Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в отцовском сюртуке, держась за посконную юбку одной из них, поспешает сзади.

— Что случилось? — спрашиваю я у них.

— Мужик утонул.

— Где?

— В пруде.

— Какой? наш?

— Нет, прохожий.

Кучер Иван, ёрзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе», чего мне именно и хочется.

— Где же, где? — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу.

— Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти, — говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. — Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «тону, батюшки!» и опять ушел на низ, — только пузырики пошли. Тут я увидала, мужик тонет. Как взвою: «батюшки, мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

— Вишь, грех какой! — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом: — что̀ теперь хлопот с земским судом будет — не оберешься.

Какой-то один мужик с косой пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.

— Где же, где он утонул? — всё спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное.

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода всё так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце, и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более, что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ всё сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга; но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье; из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с лаем и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филиппыча; но вот и

самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы.

— Что̀ стоите? — кричит он, на бегу снимая сюртук. — Человек потонул, а они стоят! Давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

— Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракиты, Федор Филиппыч, вон там-то, — говорит ему кто-то.

— Знаю! — отвечает он и, нахмурив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы и чмокая, съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и, вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескиванье по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

— Теперь вместе тяни, дружней, разом! — кричит голос Федора Филиппыча. Показываются камола, облитые водой.

— Есть что-то, тяжело идет, братцы, — говорит чей-то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмутившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный средь мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

— Тащи, дружней, на сухое тащи! — слышится решительный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетушку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню больное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты всё один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи сбирались на горизонте, как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась, и как, проходя по плотине, я снова услыхал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валек этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более, что я знаю — этот валек есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валек этот, как инструмент пытки, сжимает мою ноту, которая зябнет, — я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

— Слышь, Игнат, а Игнат! — говорит голос моего ямщика: — возьми седока — тебе всё одно ехать, а мне что̀ даром гонять! — возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает: — А что̀ мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

— Ну, полштофа!.. косушку уж так и быть.

— Вишь, косушку! — кричит другой голос: — лошадей помучить за косушку!

Я открываю глаза. Всё тот же несносный колеблющийся снег мерещится в глазах, те же ямщики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

— Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что̀ ли?

Мой ямщик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость: он кланяется, благодарит меня, Алешку, Игнашку.

— Ну вот и слава Богу! а то что̀ это, Господи-батюшка! половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка-барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью.

Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух ямщиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же с вышущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку: «В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не полюбовник; а полюбовник мой есть тот самый принц...»

— В то самое время... — продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

— Что̀, барин, сказочку пришли послушать? — сказал другой, которого я называл советчиком.

— Да у вас славно, весело! — сказал я.

— Что̀ ж! от скуки, — по крайности не думается.

— А что̀, не знаете вы, где мы теперь?

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам*

— А кто е разберет, где? може и к калмыкам заехали вовсе, — отвечал советчик.

— Что же мы будем делать? — спросил я.

— А что делать? Вот едем, можь и выедем, — сказал он недовольным тоном.

— Ну, а как не выедем, да лошади станут в снегу, что тогда?

— А что! Ничего.

— Да замерзнуть можно.

— Известно, можно, потому и стогов теперича не видать: значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело надо по снегу смотреть.

— А ты никак боишься замерзнуть, барин? — сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки.

— Да, холодно очень становится, — сказал я.

— Эх ты, барин! А ты бы как я: нет, нет да и пробегись, — оно тебя и согреет.

— Первое дело, как пробежишь за саньми,—сказал советчик.

VII.

— Пожалуйте: готово! — кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу-насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинели, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ямщик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, причем ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой нисколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне: «Ну, дай Бог вам, барин...» и, задергав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед затем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покрикиванья и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался

рассматриванием фигуры нового ямщика и лошадей. Игнашка сидел молоддом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висящим кнутом на лошадей, покрикивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлею коренной, которая всё сбивалась на правую сторону. Он был не велик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полушубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого воротник был почти откинут, и шея совсем голая, сапоги были не валеные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако, чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, подпрыгивал на облучке, похлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и заметно было, как лошади бежали неохотнее: уже надобно было постегивать, и коренная, добрая, большая косматая лошадь, спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившейся и подпрыгивающей с полевой стороны, заметно спускала постромки, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз всё усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту, — и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело, и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице, — и главное, странно было думать, что мы всё едем и, шибко едем куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

— Ге-гей! что̀ горло-то дерешь, Игнат! — послышался голос советчика: — постой на час!

— Чаво?

— Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять всё замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

— Ну что̀?

— Да что̀! куда ехать-то?

— А кто е знает!

— Что̀, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

— Вовсе зашлись.

— А ты бы вот сходил: во-он маячит — никак калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогрел.

— Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

— Всё надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! — говорил мне советчик: — вишь, как лошадей упарил!

Всё время, пока Игнат ходил, — а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, — советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпречь лошадь и пустить, что она, как Бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

— Ну что̀, есть? — спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колени в снегу.

— Есть-то есть, кочевье видать, — отвечал, задыхаясь, Игнат: — да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левей брать.

— И что̀ мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы, — возразил советчик.

— Да говорю, что нет!

— Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Всё надо правей забирать: как раз и выедем на большой мост — осьмую версту.

— Да говорят, что нет! Ведь я видал! — с досадой отвечал Игнат.

— Э, брат! а еще ямщик!

— То-то ямщик! ты сходи сам.

— Что̀ мне ходить! я так знаю.

Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.

— Вишь, как зашлись ноги: ажно не согреешь, — сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенищи.

Мне ужасно хотелось спать.

VIII.

«Неужели это я уже замерзаю, — думал я сквозь сон, — замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, всё равно — утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, всё это кончится? — вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство: — чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что̀, кажется, скоро случится — мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун! — кричит он: — ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько

заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу, — и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделаемте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребце мои деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Всё одно умирать!» и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее: рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно,— стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подь-ка посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснусь лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом

и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

IX.

Я спал крепко; но терция колокольчиков всё время была слышна и виделась мне во сне, то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывая ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но всё это, больше чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом — всё бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на передок и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за

нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги.

— Что̀ это ты делаешь? — спросил я.

— Перебуться надо; а то вовсе ноги заморозил, — отвечал он и продолжал свое дело.

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.

— Что̀, где мы теперь? — спросил я: — доедем ли хоть к свету?

— Будьте покойны: доставим, — отвечал он. — Теперь важно ноги согрелись, как перебулся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.

X.

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил, и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; но сильный, сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое темно-синеватого цвета; но яркие, красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева; налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что̀ мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Околыш Игнашкиной темно-синей шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты

снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел воображать мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впалому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и всё еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и всё-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат запахивался и покрикивал; сзади фыркали лошади, и звенели колокольчики троек старичка и советчика; но тот, который спал, решительно в степи отбился от нас. Проехав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась верно, виднелись на нем.

— Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил! — сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено, и стоит лопата; но с крыши всё метет еще и крутит снег гудящий ветер.

Из двери, на звон наших колоколов, выходит большой, красный, рыжий ямщик, со стаканом вина в руках, и кричит что-то. Игнашка обертывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожу.

XI.

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светло, ярко голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий низ его лица, были залеплены

снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

— Только поскорее, — сказал я.

— В одну минутую, — отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

— Давай, брат, — сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Цаловальник, должно быть, отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

— Кому подносить? — сказал он.

Высокий Василий, худощавый, русый мужик с козлиною бородкой, и советчик, толстый, белобрысый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным, посинелым лицом, жиденькой бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишка, истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валеные сапоги. Сам он весь сгорбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо стараясь согреться.

— Что́ ж, Митрич, поставь косушку-то: согрелся бы важно, — сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

— Что́ ж, барин, — сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь: — всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что́, — прибавил он с подобострастной улыбочкой.

Я дал ему четвертак. Цаловальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнутом и поднес маленькую черную, корявую и немного посиневшую руку к стакану; но большой палец его, как чужой, не повиновался ему: он

не мог удержать стакана и, разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

— Вишь, замерз Митрич-то как! аж вина не сдержит.

Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал осклаблять свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косуху, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег всё становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже краєный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге около станицы след был ясный, отчетливый, желтоватый, кой-где были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая-то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень шибко. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, под охотницким колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запорашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой мороз повизгивал под полозьями; сзади звонко-празднично звенели два колокольчика, и слышны были пьяные покрикиванья ямщиков. Я оглянулся назад: серые, курчавые пристяжные, вытянув шеи, равномерно сдерживая дыханье, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнутом, поправлял шапку; старичок, задрав ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани заскрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

— Доставили таки, барин! — сказал он.

11 февраля 1856.

ДВА ГУСАРА.

ПОВЕСТЬ.

(Посвящается графине М. Н. Толстой)

(1856

... Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова...
Д. Давыдов.

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, — в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела вынниманием билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, — в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных,— в губернском городе К. был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы.

I.

— Ну, всё равно, хоть в залу, — говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

— Съезд такой, батюшка, ваше сиятельство, огромный, — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его: «ваше сиятельство». — Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать: так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый нумер, — говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек — *здешних* дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.

Войдя в комнату и зазвав туда *Блюхера*, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.

— Сашка! — крикнул граф: — дай ему!

Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.

— Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.

— Сашка! дай ему целковый!

Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.

— Будет с него, — сказал он басом, — да у меня и денег нет больше.

Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.

— Вот пригнал! — сказал граф: — последние пять рублей.

— По-гусарски, граф, — улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах,

очевидно, отставной кавалерист. — Вы здесь долго намерены пробыть, граф?

— Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и нумеров нет. Чорт их дери, в этом кабаке проклятом...

— Позвольте, граф, — возразил кавалерист, — да не угодно ли ко мне? Я вот здесь, в седьмом нумере. Коли не побрезгуете покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

— Право, граф, погостите, — подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек: — куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает — выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф!

— Сашка! давай белье: поеду в баню, — сказал граф, вставая. — А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть.

Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, «что всё дело рук человеческих», и вышел.

— Так я, батюшка, к вам в нумер велю перенести чемодан,— крикнул граф из-за двери.

— Сделайте одолжение, осчастливите,— отвечал кавалерист, подбегая к двери. — Седьмой нумер! не забудьте.

Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:

— А ведь это тот самый.

— Ну?

— Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар, — ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была — мы вместе сотворили — от этого он как будто ничего. А молодчина, а?

— Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно, — отвечал красивый молодой человек. — Как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?

— Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? — он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка,

надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар-душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с ранжевыми отворотами с тем, чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.

— Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. — Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом. — Едешь, бывало, перед эскадроном, под тобой чорт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чортом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста — без вас ничего не будет — проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут — есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, чорт возьми, времечко было!

Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой нумер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастии, которое ему выпало на долю — жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что,— приходило ему в голову, — как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или просто... нет, по-товарищески не сделает...» утешал он себя.

— Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф.

Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.

— Ты уж не утерпел: напился, каналья!.. Накормить Блюхера!

— И так не издохнет: вишь, какой гладкий! — отвечал Сашка, поглаживая собаку.

— Ну, не разговаривать! пошел, накорми.

— Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

— Эй, прибью! — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах, и кавалеристу даже стало немного страшно.

— Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека, — проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.

— Он мне зубы разбил,— ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера, — он мне зубы разбил, Блюшка, а всё он мой граф, и я за него могу пойти в огонь — вот что! Потому, он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?

Полежав немного, он встал, накормил собаку и почти трезвый пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.

— Вы меня просто обидите, — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели: — я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостию готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!

— Спасибо, батюшка, — сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, — спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?

Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала

выборов поет, Стешка запевает, и что нынче к ним *все* от предводителя собираются.

— И игра есть порядочная, — рассказывал он: — Лухнов, приезжий, играет, с деньгами, и Ильин, что в 8-м нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж не скупой — последнюю рубашку отдаст.

— Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, — сказал граф.

— Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.

II.

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и пятнадцать тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, — что уже и казенных недоставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту — валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных недоставало уже двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.

Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но в сущности по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы — задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был

рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он сбирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь»,— подумал он.

«Погубил я свою молодость», сказал он вдруг сам себе, не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость — он даже вовсе и не думал об этом — но так ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать?» рассуждал он. «Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая барыня», подумал он отчего-то. «Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало 2 500 рублей. «Поставлю первую 25, вторую угол... на семь кушей, на 15, на 30, на 60... — 3 000. Куплю хомуты и уеду. Не даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.

— Что, давно встали, Михайло Васильич? — спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.

— Нет, сейчас только. Отлично спал.

— Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского... не слыхали?

— Нет, не слыхал... А что же, еще никого нет?

— Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.

Действительно, скоро вошли в нумер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по целым ночам всегда семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.

— Надо вообразить, — говорил он: — Москва — первопрестольный град, столица — и по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих — и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.

Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался.

— Что ж, господа, золотое-то времячко терять! За дело, так за дело.

— Да вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравится, — сказал грек.

— Точно, пора бы, — сказал гарнизонный офицер.

Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.

— Будете метать? — спросил улан.

— Не рано ли?

— Белов! — крикнул улан, покраснев отчего-то, — принеси мне обедать... я еще не ел ничего, господа... шампанского принеси и карты подай.

В это время в нумер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского и через пять минут уж были на ты. Казалось, Ильин очень понравился графу.

Граф всё улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.

— Экой молодчина улан! — говорил он. — Усищи-то, усищи-то!

У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.

— Что, вы играть собираетесь, кажется? — сказал граф. — Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! — прибавил он, улыбаясь.

— Да вот собираются, — отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт. — А вы, граф, не изволите?

— Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. Проигрался под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то с перстнями, должно-быть, шулер, — и облапошил дочиста.

— Разве ты долго сидел там на станции? — спросил Ильин.

— Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель не забудет.

— А что?

— Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенницкая рожа, плутовская, — лошадей нет, говорит; а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату, знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказываю отворить настежь все двери и форточки: угарно будто бы. Ну, и тут тоже. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце — градусов двадцать было. Смотритель разговаривать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на деревню... Я к двери; говорю: давай лошадей, так уеду, а то не вышущу, всех заморожу!

— Вот так отличная манера! — сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом: — это как тараканов вымораживают!

— Только не укараулил я как-то, вышел, — и удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке, она всё чихала и Богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека всё уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером притравливал, — отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер! Фю!

Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.

— Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болтун, — сказал Турбин, — *любишь не любишь* — дело хорошее.

III.

Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами, коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

— Так же, как вчера — банку двести, — сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

— Хорошо, — сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел с боку банкомета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал: «вывези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему; только изредка его очки на мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

— Вот бы мне эту карточку убить, — приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине.

— Вы бейте у Ильина, а мне-то что, — замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкомета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

— Ильин! — сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который совершенно невольно для него заглушал все другие, — зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

— Уж как ни играй, всё равно.

— Так ты наверно проиграешь. Дай я за тебя попонтирую.

— Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.

— За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься.

— Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкомета.

— Скверно! — вдруг проговорил он громко и протяжно.

Лухнов оглянулся на него.

— Скверно, скверно! — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову.

Игра продолжалась.

— Не-хо-ро-шо! — опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.

— Что это вам не нравится, граф? — учтиво и равнодушно спросил банкомет.

— А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.

Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть.

— Блюхер! фю! — крикнул граф, вставая, — узи его! — прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: «кто тут грубит? а?»

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.

— Этак нельзя играть, — сказал он: — я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут!

— Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажется, — поддакнул гарнизонный офицер.

— Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? — сказал Лухнов хозяину.

— Не мешай нам, пожалуйста, граф! — обратился Ильин к Турбину.

— Поди сюда на минутку, — сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.

Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда слышно было за три комнаты.

— Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках — шулер первой руки.

— Э, полно! что ты говоришь!

— Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы всё равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?..

— Нет; да и с чего ты выдумал?

— Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю: я тебе говорю, что в очках — это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

— Ну, вот я только одну талию, и кончу.

— Знаю, как одну; ну, да посмотрим.

Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много.

Турбин положил руки на середину стола.

— Ну, баста! Поедем.

— Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста, — сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.

— Ну, чорт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора. Завальшевский! поедем к предводителю.

И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору.

— Эка башка! — сказал помещик, смеясь.

— Ну, теперь не будет мешать, — прибавил торопливо и еще шопотом гарнизонный офицер.

И игра продолжалась.

IV.

Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Александр, Елисавета», и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить: екатерининский генерал-губернатор, со звездой, под руку с худощавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д. — губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский, в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем-гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели владимирский крест и медаль двенадцатого года, вошли в залу. Граф был не высок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами, темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем: красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на смех подымет этот мальчишка», было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончился и пары взаимно раскланивались, снова отделяясь женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливый и гордый, подвел графа к хозяйке. Предводительша, испытывая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар этот не сделал с ней при всех какого-нибудь скандала, гордо и презрительно отворотясь, сказала: «очень рада-с, надеюсь, будете танцовать» — и недоверчиво взглянула на него с выражением, говорившим: «уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после этого». Граф однако скоро победил это предубеждение своею любезностью, внимательностью и прекрасной, веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица предводительши уже говорило всем окружающим: «я знаю, как вести этих господ: он сейчас понял,

с кем говорит. Вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что еще больше успокоило губернскую публику и возвысило в ее мнении графа. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре — молодой, полненькой вдовушке, с самого приезда графа впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцовать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно своим искусством танцовать победил общее предубеждение.

— А мастер танцовать! — сказала толстая помещица, следя за ногами в синих рейтузах, мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз, два, три... — мастер!

— Так и строчит, так и строчит, — сказала другая приезжая, считавшаяся дурного тона в губернском обществе, — как он шпорами не заденет! Удивительно, очень ловок!

Граф затмил своим искусством танцовать трех лучших танцоров в губернии: и высокого белобрысого адъютанта губернаторского, отличавшегося своею быстротой в танцах и тем, что он держал даму очень близко, и кавалериста, отличавшегося грациозным раскачиванием во время вальса и частым, но легким притопыванием каблучка, и еще другого, штатского, про которого все говорили, что он хотя и не далек по уму, но танцор превосходный и душа всех балов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца приглашал всех дам по порядку, как они сидели, не переставал танцовать ни на минуту и только изредка останавливался, чтоб обтереть сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изнуренное, но веселое лицо. Граф затмил всех их и танцовал с тремя главными дамами: с большой — богатой, красивой и глупой, с средней — худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой — некрасивой, но очень умной дамой. Он танцовал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу, с ней он танцовал и кадриль, и экосес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой и с Дианой, и с розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице, или из одной

руки в другую перекладывая опахало. Когда же она говорила: «полноте, граф, вы шутите» и т. п., голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий, бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.

Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутки разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила; но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающею любезностью почтителен, по теперешним понятиям, до приторности. Он бегал ей за оршадом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее, и т. д.

Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты: уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас стать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось: вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой всё более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренно влюблен в нее.

Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний восемнадцатилетний обожатель, неслужащий сын самого богатого помещика, золотушный молодой человек, тот самый, у которого вырвал стул Турбин, она приняла его чрезвычайно холодно, и в ней не было заметно и десятой доли того смущения, которое она испытывала с графом.

— Хороши вы, — сказала она ему, глядя в это время на спину Турбина и бессознательно соображая, сколько аршин золотого шнурка пошло на всю куртку, — хороши вы: обещали за мной заехать кататься и конфект мне привезти.

— Да я ведь приезжал, Анна Федоровна, а вас уже не было, и конфекты самые лучшие оставил, — сказал молодой человек, несмотря на высокий рост, очень тоненьким голоском.

— Вы найдете всегда отговорки! не нужно мне ваших конфект. Пожалуйста, не думайте...

— Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменились, и знаю отчего. Только это нехорошо, — прибавил он, но видимо не докончив своей речи от какого-то внутреннего сильного волнения, заставившего весьма быстро и странно дрожать его губы.

Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным.

Предводитель, хозяин дома, величаво-толстый, беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую, сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную.

— Ну что? мил? — спросила барышня.

— Только ужасно как пристает, — отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него.

Лицо ее просияло, глаза засмеялись, она покраснела даже и вдруг, подражая балетным танцовщицам, которых видела на этих выборах, перевернулась на одной ножке, потом засмеялась своим горловым, но милым смехом и припрыгнула даже, поджав колени.

— Каков? он у меня сувенир просил, — сказала она приятельнице, — только ничего ему не бу-у-у-дет, — пропела она последнее слово и подняла один палец в лайковой, до локтя высокой перчатке...

В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах.

— Когда всё благородное дворянство нашего уезда почтило его выбором, — говорил вновь выбранный исправник, уже значительно выпивший, — то он не должен был манкировать перед всем обществом, никогда не должен был...

Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтоб он не отказался ехать с

ними в компании после бала в новый трактир, где он угащивает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.

— Что ж вы не танцуете, господа? — спросил он перед тем, как выходить из комнаты.

— Мы не танцоры, — отвечал исправник, смеясь: — мы больше насчет вина, граф... А впрочем, ведь это при мне повыросло, все эти барышни, граф! Я этак иногда тоже в экосесе пройдусь, граф... могу, граф...

— А пойдем, теперь пройдемся,— сказал Турбин,— разгуляемся перед цыганами.

— Что ж, пойдемте, господа! Потешим хозяина.

И человека три дворян, с самого начала бала пившие в кабинете, с красными лицами, надели кто черные, кто шелковые вязаные перчатки и вместе с графом уже собрались итти а залу, когда их задержал золотушный молодой человек, весь бледный и едва удерживая слезы, подошедший к Турбину.

— Вы думаете, что вы граф, так можете толкаться, как на базаре, — говорил он, с трудом переводя дыхание, — оттого, что это неучтиво...

Снова против его воли запрыгавшие губы остановили поток его речи.

— Что? — крикнул Турбин, вдруг нахмурившись. — Что? Мальчишка! — крикнул он, схватив его за руки и сжав так, что у молодого человека кровь в голову бросилась, не столько от досады, сколько от страха: — что, вы стреляться хотите? Так я к вашим услугам.

Едва Турбин выпустил руки, которые он сжал так крепко, как уже двое дворян подхватили под руки молодого человека и потащили к задней двери.

— Что, вы с ума сошли? Вы напились, верно. Вот папеньке сказать. Что с вами? — говорили они ему.

— Нет, не напился, а он толкается и не извиняется. Он свинья! вот что! — пищал молодой человек, уже совершенно расплакавшись.

Однако его не послушали и увезли домой.

— Полноте, граф! — увещевали, с своей стороны, Турбина исправник и Завальшевский: — ведь ребенок, его секут еще, ему ведь шестнадцать лет. И что с ним сделалось, нельзя

понять. Какая его муха укусила? И отец его почтенный такой человек, кандидат наш.

— Ну, чорт с ним, коли не хочет...

И граф вернулся в залу и так же, как и прежде, весело танцовал экосес с хорошенькой вдовушкой и от всей души хохотал, глядя на па, которые выделывали господа, вышедшие с ним из кабинета, и залился звонким хохотом на всю залу, когда исправник поскользнулся и во весь рост шлепнулся по середине танцующих.

V.

Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующеюся графом, стала расспрашивать: «Что это за гусар такой, что со мной танцовал? скажите, братец». Кавалерист объяснил, сколько мог, сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли, и что он сам дал ему сто рублей взаймы, но этого мало, так не может ли сестрица ссудить ему еще рублей двести; но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу, сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и наконец, сделав над собою усилие, таким образом приступила к делу.

— Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастие было, и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была.

Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа.

— Ваш братец дурак! — сказал он резко. — Вы знаете, что, когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?

У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.

— Женщину цалуют при всех, — тихо сказал граф, нагнувшись ей на ухо. — Мне позвольте хоть вашу ручку поцаловать, — потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.

— Ах, только не сейчас, — проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая.

— Так когда же? Я завтра рано еду... А уж вы мне это должны.

— Ну так, стало-быть, нельзя, — сказала Анна Федоровна, улыбаясь.

— Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтоб поцаловать вашу руку. Я уж найду его.

— Да как же вы найдете?

— Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня всё возможно... Так хорошо?

— Хорошо.

Экосес кончился; протанцовали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, ловя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно, по-варшавски, так что все старики вышли из-за бостона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцовали еще грос-фатер и стали разъезжаться. Граф во всё время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда, без шубы, на двор к тому месту, где стояли экипажи.

— Анны Федоровны Зайцовой экипаж! — закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. — Стой! — закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.

— Чего надо? — отозвался кучер.

— В карету надо сесть, — отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. — Стой же, чорт! Дурень!

— Васька! стой! — крикнул кучер на форейтора и остановил лошадей. — Что ж в чужую карету лезете? это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета.

— Ну, молчи ж, болван! На тебе целковый, да слезь, закрой дверцы, — говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым басоном, пахло какой-то гнилью и горелой

щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и всё тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, сбирался слезть. Но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали: «Зайцовой карету!» кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты.

— Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь,— сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, — я тебя вздую, а не скажешь — еще десять рублей.

Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился: так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салопа по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него.

Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна; но когда он взял ее за руку и сказал: «ну, уж теперь поцалую-таки вашу ручку», она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцалуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась.

— Скажи ж что-нибудь. Ты не сердишься? — говорил он ей.

Она молча прижалась в свой угол, но вдруг отчего-то заплакала и сама упала головой к его груди.

VI.

Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.

— Батюшка, ваше сиятельство! ждали не дождались! — говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросаясь снимать шубу. — С Лебедяни не видали... Стеша зачахла совсем по вас...

Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими, глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу.

— А! графчик! голубчик! золотой! вот радость-то! — заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой.

Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством.

Молодых цыганок Турбин всех расцаловал в губы; старухи и мужчины цаловали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более, что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каждый начинал испытывать пресыщение; вино, потеряв возбудительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухарства и пригляделся один к другому; все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал:

— Шампанского!.. граф приехал!.. шампанского!.. приехал!.. ну, шампанского!.. ванну сделаю из шампанского и буду купаться... Господа дворяне! люблю благородное дворянское общество!.. Стешка! пой «Дорожку».

Кавалерист был тоже навеселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокой красивой цыганкой Любашей и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал ими, помахивал головой и, повторяя одни и те же слова, шопотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросала изредка взгляды на своего мужа, косого Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста

нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, душков и ленту.

— Ура! — закричал кавалерист, когда вошел граф.

Красивый молодой человек, с озабоченным видом, старательно, твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в серале».

Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него всё расстроится и лучше не ехать, лежал на диване, куда он повалился тотчас, как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем сам доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще с приездом графа кутеж оживился.

Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запевалу, себе на колени и велел еще подать шампанского.

Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась *пляска*, то-есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары...», «Слышишь, разумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пенья, смеющиеся, страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикиванье при начале хора, — всё это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывал ногой гитару, перевертывал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Всё его тело от шеи до пяток начинало плясать каждой жилкой... И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскаливая зубы, вскрикивали в лад

и в такт одна громче другой. Басы, склонив головы на бок и напружив шеи, гудели, стоя за стульями.

Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли.

Когда заиграли плясовую и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом.

Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал: «виват!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пятьсот осталось, и что он может сделать всё, что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и хотел уехать; но его не пустили. Красивый молодой человек упрашивал цыганку протанцовать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина.

— Ах ты, мой голубчик! — сказал он, — зачем ты только от нас уехал! А? — Граф молчал, видимо думая о другом. — Куда ездил? Ах ты, плут, граф, уж я знаю, куда ездил.

Турбину отчего-то не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалеристу и вдруг пустил в упор на него такое страшное, грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду: в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбнулся и пошел опять к своей цыганке, уверял ее, что он на ней непременно женится после Святой. Запели другую песню, третью, еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагою, но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела «Дружбы нежное волненье». В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра.

Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать в присядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского

и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и, к общему хохоту, медлительно вылил на него всю бутылку.

Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа.

— Однако мне пора в Москву, — сказал он вдруг, вставая. — Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня... и чаю напьемся.

Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, набились битком в трое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу.

VII.

— Закладывать! — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. — Сашка! не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальшевский! распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он, — прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в нумер улана.

Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном, заваленном картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове улана никаких не было: какой-то густой туман игорной страсти застилал все его душевные способности, даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить пятнадцать тысяч проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи, — и на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-ни будь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только наищели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры; он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает девятку, кладет короля пик на две тысячи рублей, направо ложится дама, налево туз, направо король бубен, — и всё пропало; а ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался, поставил

бы еще всё на пе и выиграл бы тысяч пятнадцать чистых, купил бы себе тогда иноходца у полкового командира, еще пару лошадей, фаэтон купил бы. Ну, что же еще потом? Да ну и славная, славная бы штука была!

Он опять лег на диван и стал грызть волосы.

«Зачем это поют песни в седьмом нумере? — подумал он, — это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нешто туда да выпить хорошенько».

В это время вошел граф.

— Ну что, продулся, брат, а? — крикнул он.

«Притворюсь, что сплю, — подумал Ильин, — а то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется».

Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове.

— Ну что, дружок любезный, продулся? проигрался? говори.

Ильин не отвечал.

Граф дернул его за руку.

— Проиграл. Ну, что тебе? — пробормотал Ильин сонным, равнодушно-недовольным голосом, не переменяя положения.

— Всё?

— Ну да. Что ж за беда. Всё. Тебе что?

— Послушай, говори правду, как товарищу, — сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. — Право, я тебя полюбил. Говори правду: ежели проиграл казенные, я тебя выручу; а то поздно будет... Казенные деньги были?

Ильин вскочил с дивана.

— Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной, оттого что... и, пожалуйста, не говори со мной... пулю в лоб — вот что мне осталось одно! — проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах.

— Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меня тут.

Граф вышел из комнаты.

— Где стоит Лухнов, помещик? — спросил он у коридорного.

Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед

ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.

— Вы, кажется, меня не узнаете? — сказал граф, решительными шагами подходя к столу.

Лухнов узнал графа и спросил:

— Что вам угодно?

— Мне хочется поиграть с вами, — сказал Турбин, садясь на диван.

— Теперь?

— Да.

— В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь я устал и соснуть сбираюсь. Не угодно ли винца? Доброе винцо.

— А я теперь хочу поиграть немножко.

— Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет; а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.

— Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

— Ни за что не будете?

Опять тот же жест.

— А я вас очень прошу... Что ж, будете играть?..

Молчание.

— Будете играть? — второй раз спросил граф: — Смотрите!

То же молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.

— Будете играть? — громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась. — Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю.

— Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! И вовсе неприлично притти с ножом к горлу к человеку, — заметил Лухнов, не поднимая глаз.

Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги — и закричал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда

спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.

— Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем нумере еще пробуду полчаса, — прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.

— Мошенник! грабитель!.. — послышалось оттуда. — Под уголовный подведу!

Ильин всё так же, не обратив никакого внимания на обещания графа выручить его, лежал у себя в нумере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы — всё было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.

На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.

— На! отыграл! — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. — Сочти, всё ли! Да приходи скорей в общую залу, я сейчас еду, — прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты.

VIII.

Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой нумер переодеваться.

Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ

ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтобы повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что *барорай* (по-цыгански: граф или князь, или, точнее, большой барин) прогневается. Вообще уже догорала во всех последняя искра разгула.

— Ну, на прощанье еще песню и марш по домам, — сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.

Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.

— У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста, — сказал он: — эти твои, стало быть.

— Хорошее дело! давай!

Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.

— Убирайся! Илюшка!.. слушай меня... на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы. — И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.

Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф, в синей медвежьей шубе, вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильин, Стешка, Илюшка и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись дру-

гие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выровнялись, и цыгане затянули хоровую песню.

Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы.

Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами.

Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом.

Ильин, выпивший довольно много на прощаньи и всё время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно со слезами бросился цаловать своего нового друга и обещал, что, как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему ты, толкнул в сугроб, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, который всё хотел стоять на середине. Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у *них* графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул: «пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.

Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичек с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчинной пазухой сидела на другом возу, погоняя концами вожжей белую шелохвостую клячонку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.

— Назад! — крикнул он.

Ямщик не понял вдруг.

— Поворачивай назад! Пошел в город! Живо!

Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцовой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящею, взял ее на руки, приподнял с постели, поцаловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?». Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.

IX.

Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарелось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло, и еще больше недоросшего уродливого молодого появилось на свет Божий.

Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком... При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.

В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и на этой белой толщине были за-

метны крупные мягкие морщины. Она уже не ездила никогда в город, с трудом даже влезала в экипаж, но так же была добродушна и всё так же глупенька, можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрехлетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию всё свое именьице и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась; а всё-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста.

В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад, сидело всё семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой кацавейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги — занятие, которому его научила племянница, и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог, и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза были уже слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекладывая ногу на ногу.

— Как это кладется? Лизанька, покажи-ка. Я всё забываю, — сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса.

Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты.

— Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! — сказала она, перекладывая карты. — Вот так надо было. Всё-таки сбудется, что вы загадали,—прибавила она, незаметно снимая одну карту.

— Ну, уж ты всегда меня обманываешь: говоришь, что вышло.

— Нет, право, значит, удастся. Вышло.

— Ну, хорошо, хорошо, баловница! Да не пора ли чаю?

— Я уж велела разогревать самовар. Сейчас пойду. Вам сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пойдем бегать.

И Лиза вышла из двери.

— Лизочка! Лизанька! — заговорил дядя, пристально вглядываясь в свою рогульку. — Опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!

— Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть.

И действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.

— Вот вам, чтобы не спускали петлей, — сказал она, смеясь: — урок и не довязали.

— Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек было видно.

Лиза взяла рогульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнуло немного ветром из окна, и как-то булавочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рогульку дяде.

— Ну, поцалуйте же меня за это, — сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку. — Вам с ромом нынче чаю. Нынче ведь пятница.

И она опять ушла в чайную.

— Дяденька, идите смотреть: гусары идут к нам! — послышался оттуда звучный голосок.

Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.

— А жаль, сестрица, — заметил дядя Анне Федоровне, — жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще: попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры — ведь это всё такая молодежь, славная, веселая; посмотрел бы хоть на них.

— Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостиная, да вот эта ваша комната — вот и всё. Где ж их тут поместить, сами посудите. Им старостину избу очистил Михайло Матвеев; говорит: чисто тоже.

— А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха приискали, славного гусара! — сказал дядя.

— Нет, я не хочу гусара; я хочу улана; ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.

И Лиза покраснела немного; но снова засмеялась своим звучным смехом.

— Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что видела, — сказала она.

Анна Федоровна велела позвать Устюшку.

— Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бегать на солдат смотреть, — сказала Анна Федоровна. — Ну что, где поместились офицеры?

— У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие, один граф, сказывают.

— А фамилия как?

— Казаров ли, Турбинов ли — не запомнила, виновата-с.

— Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.

— Что ж, я сбегаю.

— Да уж я знаю, что ты на это мастерица, — нет, пускай Данило сходит; скажите ему, братец, чтоб он сходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; всё учтивость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела.

Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров.

— Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то, — говорила она, — просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.

Другие горничные одобрительно улыбнулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, втягивая в себя дух, какую-то молитву.

— Так вот как тебе понравились гусары, — сказала Лиза, — да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша, — кисленьким гусаров поить.

И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты.

«А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой, — думала она, — брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут

была и об нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется, — подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку. — Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюбился, кроме Иван Ипатыча рябого; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня!»

Голос матери, звавшей ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную.

Лучшие вещи всегда выходят нечаянно; а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частию дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна, по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя — дочку, отдала ее кормилице и няньке, кормила ее, одевала в ситцевые платьица и козловые башмачки, посылала гулять и сбирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста и нечаянно чрез шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно всё в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, при-

везенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах, — но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая; глаза у ней были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем — уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом, и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки так и светилось, как на зло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, — так и светилось неиспорченное умом, доброе, прямое сердце.

X.

Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни, рысцой, оглядываясь и с мычаньем изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли на вороных, замундштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распущенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой — очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов.

Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.

— Где квартира для нас отведена? — спросил его граф.

— Для вашего сиятельства? — отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом.—Здесь, у старосты, избу очистил. Требовал на

барском дворе, так говорят: нетути. Помещица такая злющая.

— Ну, хорошо, — сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостиной избы. — А что, коляска моя приехала?

— Изволила прибыть, ваше сиятельство! — отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и бросаясь вперед в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицера. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом.

Изба была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, уставив железную кровать и постлав ее, разбирал белье из чемодана.

— Фу, мерзость какая квартира! — сказал граф с досадой. — Дяденко! разве нельзя было лучше отвести у помещика где-нибудь?

— Коли ваше сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор, — отвечал Дяденко, — да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывает.

— Теперь уж не надо. Ступай.

И граф лег на постель, закинув за голову руки.

— Иоган! — крикнул он на камердинера, — опять бугор по середине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько.

Иоган хотел поправить.

— Нет, уж не надо теперь... А халат где? — продолжал он недовольным голосом.

Слуга подал халат.

Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу.

— Так и есть: не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! — прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его. — Ты, скажи, это нарочно делаешь?... Чай готов?...

— Я не мог успевать, — отвечал Иоган.

— Дурак!

После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его; а Иоган вышел в сени раздувать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа, — должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.

— Иоган! — крикнул он снова, — подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?

Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.

— К чаю рому подай.

— Рому не покупал, — сказал Иоган.

— Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!

— Денег недоставало.

— Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.

— Корнет Полозов? не знаю. Они купили чаю и сахару.

— Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения... знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.

— Вот два письма из штаба к вам, — сказал камердинер.

Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.

— Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.

— Очень хорошо! Поганая, вонючая изба, и рому нет по твоей милости: твой болван не купил и этот тоже. Ты бы хоть сказал.

И.он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол.

— Отчего же ты не купил рому? — спрашивал в это время в сенях корнет шопотом у своего денщика. — Ведь у тебя деньги были?

— Да что ж мы одни всё покупать будем! И так всё я расход держу; а ихний немец только трубку курит, да и всё.

Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф улыбаясь читал его.

— От кого это? — спросил Полозов, возвратясь в комнату и устраивая себе ночлег на досках подле печки.

— От Мины, — весело отвечал граф, подавая ему письмо.— Хочешь прочесть? Что это за прелесть женщина!.. Ну, право, лучше наших барышень... Посмотри, сколько тут чувства и ума, в этом письме!.. Одно нехорошо — денег просит.

— Да, это нехорошо, — заметил корнет.

— Я ей, правда, обещал; да тут поход, да и... впрочем, ежели прокомандую еще месяца три эскадроном, я ей пошлю. Не жалко, право: что за прелесть... а? — говорил он улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо.

— Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит, — отвечал корнет.

— Гм! Еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят.

— А то письмо от кого? — спросил корнет, передавая то, которое он читал.

— Так... это там есть господин один, дрянной очень, которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает... не могу я отдать теперь... глупое письмо! — отвечал граф, видимо огорченный этим воспоминанием.

Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красивую, отуманившуюся наружность Турбина, пристально глядевшего в окно, и не решался начать разговора.

— А что, ведь может отлично выйти, — вдруг обернувшись к Полозову и весело тряхнув головой, сказал граф, — ежели у нас по линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело попадем, я могу своих ротмистров гвардии перегнать.

Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данило и передал приказание Анны Федоровны.

— Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Иваныча Турбина? — добавил от себя Данило, узнавший фамилию офицера и помнивший еще приезд покойного графа в город К. — Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были.

— Это мой отец был; да доложи барыне, что очень благодарен, ничего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно, комнатку почище где-нибудь, в доме или где-нибудь.

— Ну, зачем ты это? — сказал Полозов, когда Данило вышел. — Разве не всё равно? одна ночь здесь разве не всё равно; а они будут стесняться.

— Вот еще! Кажется, довольно мы пошлялись по курным избам!.. Сейчас видно, что ты непрактический человек... Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А они, напротив, ужасно довольны будут.

— Одно только противно: ежели эта барыня точно знала

отца, — продолжал граф, открывая улыбкой свои белые, блестящие зубы, — как-то всегда совестно за *папашу* покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-нибудь. От этого я терпеть не могу встречать этих отцовских знакомых. Впрочем, тогда век такой был, — добавил он уже серьезно.

— А я тебе не рассказывал, — сказал Полозов, — я как-то встретил уланской бригады командира Ильина. Он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца.

— Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтобы подделаться ко мне, и как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда,— я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи, — он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, всё дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость.

Через четверть часа вернулся слуга и передал просьбу помещицы пожаловать ночевать в доме.

XI.

Узнав, что гусарский офицер был сын графа Федора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась.

— А, батюшки мои! Голубчик он мой!.. Данило! Скорей беги, скажи: барыня к себе просит, — заговорила она, вскакивая и скорыми шагами направляясь в девичью. — Лизанька! Устюшка! приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде; а вы, братец... братец! вы в гостиной уж ночуйте. Одну ночь ничего.

— Ничего, сестрица, я на полу лягу.

— Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хоть погляжу на него, на голубчика... Вот ты посмотри, Лиза! А отец красавец был... Куда несешь стол? оставь тут, — суетилась Анна Федоровна, — да две кровати принеси — одну у приказчика возьми, да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и калетовскую свечу поставь.

Наконец, всё было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнатку для двух офицеров.

Она достала чистое, надушенное резедой постельное белье и приготовила постели; велела поставить графин воды и свечи подле, на столике; накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась с своею постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая их, оперлась на пухлый локоть и задумалась. «Времечко-то, времечко как летит! — шопотом про себя твердила она. — Давно ли, кажется? Как теперь гляжу на него. Ах, шалун был! — И у нее слезы выступили на глаза. — Теперь Лизанька... но всё она не то, что я была в ее года-то... хороша девочка, но нет, не то...»

— Лизанька, ты бы платьице муслин-де-леневое надела к вечеру.

— Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо, — отвечала Лиза, испытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров, — лучше не надо, мамаша!

Действительно, она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастия, которое, как ей казалось, ожидало ее.

— Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, гладя ее по волосам и вместе с тем думая: «Нет, не те волоса, какие у меня были в ее годы... Нет, Лизочка, как бы я желала тебе...» И она точно чего-то очень желала для своей дочери, но женитьбы с графом она не могла предполагать, тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать, — но чего-то такого она очень-очень желала для своей дочери. Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которою она жила с покойником.

Старичок-кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и с смущенно-довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает бальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату.

— Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица! Покойник граф, точно, истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю.

Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату.

— Ну, вот видишь ли, — сказал граф, как был, в пыльных сапогах ложась на приготовленную постель: — разве тут не лучше, чем в избе с тараканами!

— Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам...

— Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно... Человек! — крикнул он, — спроси чего-нибудь завесить это окошко, а то ночью дуть будет.

В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснея несколько, разумеется, не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением, и даже сказал, что он не раз был облагодетельствован покойником. Разумел ли он под благодениями покойного то, что тот так и не отдал ему занятых ста рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его, — старичок не объяснил нисколько. Граф был весьма учтив с старичком-кавалеристом и благодарил за помещение.

— Уж извините, что не роскошно, граф (он чуть было не сказал: ваше сиятельство, — так уж отвык от обращения с важными людьми), домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь, и будет хорошо, — прибавил старичок и под предлогом занавески, но главное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая, вышел из комнаты.

Хорошенькая Устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю.

Хорошее помещение, повидимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа: он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном, расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов, так нельзя ли теперь водки, закусить чего-нибудь и хересу, ежели есть.

Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантажнее прежних.

Анна Федоровна не соглашалась — лучше графа Федора Иваныча никто не был — и наконец уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее

стали, а что всё-таки граф Федор Иваныч так танцовал экосес и так любезен был, что тогда все, можно сказать, без ума от него были; только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди».

В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса.

— Ну вот, как же вы, братец! Вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать, — заговорила Анна Федоровна.— Лиза! распорядись, дружок!

Лиза побежала в кладовую за грибками и свежим сливочным маслом, повару заказали битки.

— Только хересу у вас осталось, братец?

— Нету, сестрица! у меня и не было.

— Как же нету! А вы что-то пьете такое с чаем.

— Это ром, Анна Федоровна.

— Разве не всё равно? Вы дайте этого, всё равно — ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, братец? Вы всё знаете. Они, кажется, не обидятся?

Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется, и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гро-гро и новый чепец, а Лиза так была занята, что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована: ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая, черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятным, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи — всё должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Всё, что он думает и говорит, должно быть умно и правда; всё, что он делает, должно быть честно; вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно.

Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу.

— Пойдем же, — сказал он Полозову.

— Право, лучше не ходить, — отвечал корнет, — ils feront des frais pour nous recevoir.[1]

— Вздор! это их осчастливит. Да я уж и навел справки: там дочка хорошенькая есть... Пойдем, — сказал граф по-французски.

— Je vous en prie, messieurs![2] — сказал кавалерист только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.

XII.

Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, торопливо вскочила, поклонилась и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенья или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад, потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф за чаем, закурив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала, в промежутки непрерывных речей Анны Федоровны, вставляя свои рассказы, а под конец один овладев разговором. Одно немного странно поражало его слушателей: в рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелы, причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела; но граф не замечал этого и был всё так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокоивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не

[1] [они израсходуются для того, чтобы принять нас.]

[2] [Прошу вас, господа!]

видела той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того, как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он нисколько не отличался от всех тех, кого она видела, что не стоило бояться его, — только ногти чистые, длинные, а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски расставшись с своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» думала она.

XIII.

После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место.

— Да вы отдохнуть не хотите ли, граф? — спрашивала она.— Так чем бы вас занять, дорогих гостей? — продолжала она после отрицательного ответа. — Вы играете в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь...

— Да ведь вы сами играете в преферанс, — отвечал кавалерист, — так уж вместе давайте. Будете, граф? И вы будете?

Офицеры изъявили согласие делать всё то, что угодно будет любезным хозяевам.

Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, приедет ли сегодня соседка и т. д. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.

— Только вы не станете по маленькой играть, может быть? — спросил дядя. — Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки... И то она нас всех обыгрывает.

— Ах, по чем прикажете, я очень рад, — отвечал граф.

— Ну, так по копейке ассигнациями! Уж для дорогих гостей идет: пускай они меня обыграют, старуху, — сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилию.

«А, может, и выиграю у них целковый», — подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.

— Хотите, я вас выучу с табелькой играть, — сказал граф,— и с мизерами! Это очень весело.

Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это то же, что в бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет, и всё для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться и торопливо уверять, что не совсем еще привыкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более, что граф по привычке играть большую коммерческую игру играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистованьи.

Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного моченья опортовые яблоки и остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров и в особенности на белые с тонкими, розовыми, отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки.

Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию братца уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась.

— Ничего, мамаша: еще отыграетесь!.. — улыбаясь, сказала Лиза; желая вывести мать из смешного положения. — Вы дяденьку обремизите раз, тогда он попадется.

— Хоть бы ты мне помогла, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь. — Я не знаю, как это...

— Да и я не знаю по-этому играть, — отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери. — А вы этак много проиграете, мамаша! И Пимочке на платье не останется, — прибавила она шутя.

— Да, этак легко можно рублей десять серебром проиграть,— сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор.

— Разве мы не ассигнациями играем? — оглядываясь на всех спросила Анна Федоровна.

— Я не знаю, как, только я не умею считать ассигнациями,— сказал граф. — Как это? То есть что это ассигнации?

— Да теперь уж никто ассигнациями не считает, — подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше.

Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, раскраснелась и, казалось, на всё махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы, и что она совсем пропала. Корнет всё чаще и чаще толкал ногой графа. Граф списывал ремизы старушки. Наконец, партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривя душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может счесть, как ни приходила в ужас от величины своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов. «Это ассигнациями выходит девять рублей?» несколько раз спрашивала Анна Федоровна и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока брат, к ужасу ее, не объяснил, что она проиграла тридцать два рубля с полтиной ассигнациями, и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет — вступил с ней в разговор о погоде.

Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа и особенно Лизы, поддерживавшей ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась.

— Однако как досадно, что мы вас так обыграли, — сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь. — Это просто бессовестно.

— Да еще бы выдумали какие-то табели да мизеры! Я в них не умею: как же ассигнациями-то сколько же выходит всего? — спрашивала она.

— Тридцать два рубля, тридцать два с полтинкой, — твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа, — давайте-ка денежки, сестрица... давайте-ка.

— И дам вам все; только уж больше не поймаете, нет! Это я и в жизнь не отыграюсь.

И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскачиваясь, вернулась назад и принесла девять рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все.

На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбранила его, ежели он заговорит с ней. Он молча, потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые разговаривали у открытого окна.

В комнате на накрытом для ужина столе стояли две сальные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких лип и больше и больше освещал белые, тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллеи, заливались лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички.

— Какая чудная погода! — сказал граф, подходя к Лизе и садясь на низкое окно. — Вы, я думаю, много гуляете?

— Да, — отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом, — я по утрам, часов в семь, по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой — маменькиной воспитанницей.

— Приятно в деревне жить! — сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу. — А по ночам, при лунном свете вы не ходите гулять?

— Нет. А вот в третьем годе мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болезнь — бессонница — находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое: луна прямо к нему ударяла.

— Странно, — заметил граф. — Да ведь это ваша комнатка, кажется?

— Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнату вы занимаете.

— Неужели?... Ах, Боже мой!... Век себе не прощу этого беспокойства, — сказал граф, в знак искренности чувства

выбрасывая стеклышко из глаза, — ежели бы я знал, что я вас потревожу...

— Что за беспокойство! Напротив, я очень рада: дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое, я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перелезу, погуляю еще на ночь.

«Экая славная девочка! — подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее, и, как будто усаживаясь на окне, стараясь ногой тронуть ее ножку. — И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в саду у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в его глазах большую часть прелести: так легка ему показалась победа над нею.

— А какое должно быть наслаждение, — сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи, — провести такую ночь в саду с существом, которое любишь.

Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным, прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того только, чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да, славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибки, и собиралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.

— Какая прелестная ночь, — сказал он.

«Однако только про погоду и разговаривают», подумала Лиза.

— Какой вид чудесный! — продолжал корнет. — Только вам, я думаю, уж надоело! — прибавил он по странной, свойственной ему склонности говорить вещи, немного неприятные людям, которые ему очень нравились.

— Отчего же вы так думаете? кушанье одно и то же, платье — надоест, а сад хороший не надоест, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот я нынче буду смотреть.

— А соловьев у вас нет, кажется? — спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительнее условия свиданья.

— Нет, у нас всегда были; только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче на прошлой неделе славно запел

было, да становой приехал с колокольчиком и спугнул. Мы, бывало, в третьем году, сядем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем.

— Что эта болтушка вам рассказывает? — сказал дядя, подходя к разговаривающим. — Закусить не угодно ли?

После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры распрощались и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде, к удивлению Анны Федоровны, и ее руку, не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем взглянул ей прямо в глаза и слегка улыбнулся своею приятной улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.

«А очень хорош, — подумала она, — только уж слишком занимается собой».

XIV.

— Ну, как тебе не стыдно? — сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату. — Я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну, как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась.

Граф ужасно расхохотался.

— Уморительная госпожа! Как она обиделась!

И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону.

— Вот-те и сын друга семейства!.. ха-ха-ха! — продолжал смеяться граф.

— Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало, — сказал корнет.

— Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтоб я проиграл. Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал, когда не умел. Десять рублей, братец, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь; а то всегда в дураках будешь.

Полозов замолчал; притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него.

«Что за вздор эти почести и слава военная! — думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. — Вот счастье — жить в тихом

уголке, с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!»

Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, несмотря на то, что был уверен, что и граф о ней думал.

— Что ж ты не раздеваешься? — спросил он графа, который ходил по комнате.

— Не хочется еще спать что-то. Туши свечу, коли хочешь; я так лягу.

И он продолжал ходить взад и вперед.

— Не хочется еще спать что-то, — повторил Полозов, чувствуя себя после нынешнего вечера больше чем когда-нибудь недовольным влиянием графа и расположенным взбунтоваться против него. «Я воображаю, — рассуждал он, мысленно обращаясь к Турбину, — какие в твоей причесанной голове теперь мысли ходят! Я видел, как тебе она понравилась. Но ты не в состоянии понять это простое, честное существо: тебе Мину надобно, полковничьи эполеты. Право, спрошу его, как она ему понравилась».

И Полозов было обернулся к нему, но раздумал: он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу тот, который он предполагал, но что даже не в силах будет не согласиться с ним, — так уж он привык подчиняться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее.

— Куда ты? — спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к двери.

— Пойду на конюшню. Посмотрю, всё ли в порядке.

«Странно!» подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо-ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок.

Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцаловав, по обыкновению, нежно брата, дочь и воспитанницу, тоже удалилась в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала старушка столько сильных впечатлений, так что и молиться она не могла спокойно: всё грустно-живое воспоминание о покойном графе и о молодом франтике, который так безбожно обыграл ее, не выходило у нее из головы. Однако же, по обыкновению, раздевшись, выпив полстакана квасу, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка

тихо вползла в комнату. Анна Федоровна подозвала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и всё не засыпала.

«Это кошка мешает», подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно поворачивая пушистым хвостом, вскочила на лежанку; но тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок, тушить свечку и зажигать лампадку. Наконец и девка захрапела; но сон всё еще не приходил к Анне Федоровне и не успокоивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она закрывала глаза, и, казалось, являлось в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, на висевшее белое платье. То ей казалось жарко в перине, то несносно били часы на столике и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. То она видела себя в вальсе с старым графом, видела свои полные, белые плечи, чувствовала на них чьи-то поцалуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка...

«Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот, небось, спит себе дурак дураком, рад, что выиграл, нет того, чтоб поволочиться. Как тот, бывало, говорит на коленях: «Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя сейчас, и что хочешь?» и убил бы, коли б я сказала».

Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платке, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату и почти упала к матери на постель...

Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уж весь блестевший серебряным сияньем.

Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая, капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки, — вся эта, всё та же, столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с

любовью к другим и от других она выросла, всё, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых, — всё это вдруг показалось *не то*, всё это показалось *скучно*, *ненужно*. Как будто кто-нибудь сказал ей: «Дурочка, дурочка! Двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? Нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым, — идеал, ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какой-нибудь грубой действительностью.

Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило Провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастием чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь всё то, что там было. Дай Бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастием. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? И не одно ли оно истинно и возможно?

«Господи Боже мой! — думала она, — неужели я даром потеряла счастие и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?» И она вглядывалась в высокое светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит правда», подумала она. Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени дерев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна

росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда, — утешала она себя, — а вот если соловей запоет нынче ночью, то значит вздор всё, что я думаю, и не надо отчаиваться», подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова всё осветилось и ожило, и снова несколько раз набегали на месяц тучки и всё померкало. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

XV.

Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой, росистой траве в глубину сада. «Ах, я дурак! — твердил он бессознательно. — Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался: сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Лягушки торопливо, заставляя его вздрагивать, побултыкали из-под ног его в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать всё, что он делал: как он перелез через забор, искал ее окно и, наконец, увидал белую тень; как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна;

как то ему казалось несомненно, что она с досадой на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание; как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидал ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сторож снова крякнул и, скрипнув калиткой, вышел из саду. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставешком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать опять всё сначала: уж теперь бы он не поступил так глупо... «А чудесная барышня! Свеженькая какая! Просто прелесть! И так прозевал... Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел наудачу вперед по дорожке крытой липовой аллеи.

И тут и для него эта ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая, кой-где с пробивающейся травкой или сухой веткой, дорожка освещалась кружками, сквозь густую листву лип, прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. Листья, серебрясь, шептались изредка. В доме потухли огни, замолкли все звуки; только соловей наполнял собой, казалось, всё необъятное, молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! Какая чудная ночь! — думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. — Чего-то жалко. Как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась...» Тут мечты его перемешались, он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях; потом роль барышни заняла его любезная Мина. «Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцаловать». И с этим раскаянием граф вернулся в комнату.

Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу.

— Ты не спишь? — спросил граф.

— Нет.

— Рассказать тебе, что было?

— Ну?

— Нет, лучше не рассказывать... или расскажу. Подожми ноги.

И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленною улыбкой подсел на постель товарища.

— Можешь себе представить, что ведь барышня эта мне назначила rendez-vous![1]

— Что ты говоришь? — вскрикнул Полозов, вскакивая с постели.

— Ну, слушай.

— Да как же? Когда же? Не может быть!

— А вот, пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна, и что в окно можно влезть. Вот что значит практический человек! Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруд смотреть.

— Да, это она так сказала.

— Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил! — прибавил он, презрительно улыбаясь на себя.

— Да что же? Где ты был?

Граф, исключая своих нерешительных неоднократных подступов, рассказал всё, как было.

— Я сам испортил: надо было смелее. Закричала и убежала от окошка.

— Так она закричала и убежала, — сказал корнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, имевшую на него такое долгое и сильное влияние.

— Да. Ну, теперь спать пора.

Корнет повернулся опять спиной к двери и молча полежал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе; но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

— Граф Турбин! — сказал он прерывистым голосом.

— Что ты, бредишь или нет? — спокойно отозвался граф. — Что, корнет Полозов?

[свиданье!]

— Граф Турбин! Вы подлец! — крикнул Полозов и вскочил с постели.

XVI.

На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.

11 апреля 1856 г.

В приводимых ниже печатных вариантах «Набега», «Рубки леса» и «Записок маркера» текст «Современника» везде сокращенно обозначается буквой «*С.*». В разночтениях не отмечаются: 1) очевидные опечатки; 2) мелкие различия, в роде пропуска дефиса; *с* вместо *со* и т. п. 3) разница в распределении красных строк; 4) разница в шрифтах (курсив и «свой»); 5) разница в пунктуации. Разночтения, которые с несомненностью или с большой долей вероятности надо объяснить вмешательством цензуры, обозначены *.

НАБЕГ.

ВАРИАНТЫ ТЕКСТА «СОВРЕМЕННИКА» 1853, № 3.

I гл. Стр. 15, строка 23. *Вместо:* это еще ничего — *в «С.»:* это ничего

* Стр. 15, строки 25 — 26. *Слов:* В Дарги ходили, *кончая:* чуть не месяц! — *нет в «С.»*

* Стр. 16, строка 5. *Вместо:* видеть дело, — *в «С.»:* быть в деле,

* Стр. 16, строки 21 — 22. *Вместо:* таки ухлопали молодца. — *в «С.»:* да наконец и сложил тут свою голову.

* Стр. 17, строки 11 — 14. *Слов:* и, наоборот, *кончая:* назвать трусом. — *нет в «С.»*

* Стр. 17, строка 31. *Вместо:* неопалимой купины наша матушка-заступница, — *в «С.»:* Божие милосердие,

Стр. 17, строка 36. *Вместо:* восемнадцать — *в «С.»:* осьмнадцать

Стр. 18, строка 25. *Вместо:* много говорил — *в «С.»:* много и с увлечением говорил

Стр. 18, строка 36. *Вместо:* Капитан жил — *в «С.»:* Я знал, что капитан жил

II гл. Стр. 19, строка 29. *После слова:* мох, — *в «С.»:* поросший на них, и темно-зеленые,

Стр. 20, строка 24. *Слов:* и взмахнул плетью... — *нет в «С.»*

* Стр, 21, строка 2. *Вместо:* интересно. — *в «С.»:* приятно.

Стр. 21, строка 3. *Вместо:* помолчал минуты две. — *в «С.»:* не отвечал.

* Стр. 21, строки 4 — 9. *Заключающего главу абзаца:* То-то я и говорю: *кончая:* чемуже радоваться-то? — *нет в «С.».*

III гл. Стр. 21, строка 33. *Вместо:* за спиной; — *в «С.»:* за поясом;

* Стр. 22, строка 8. *Слов:* молодых офицеров, — *нет в «С.».*

* Стр. 22 — 23, строки 13 — 39, 1 — 29. *Вместо абзаца:* Поручик, например, любил, *кончая:* спас от пламени. — *в «С.»:* Поручик всегда ходил в азиатском платье и оружии, имел кунаков, не только во всех мирных аулах, но и в горах, по самым опасным местам езжал без оказии, ходил с мирными татарами по ночам засаживаться на дорогу подкарауливать и убивать горцев, был влюблен в татарку и писал свои записки...

IV гл. * Стр. 24, строка 4. *Слов:* выразив на полном лице степень своего чина, — *нет в «С.».*

* Стр. 24, строка 8. *Вместо:* кутить, — *в «С.»:* повеселиться,

Стр. 24, строки 13 — 16. *Четверостишия Кавказской песни нет в «С.».*

* Стр. 24, строка 20. *Вместо:* Бедный мальчик! — *в «С.»:* Невинный юноша!

* Стр. 24, строки 26 — 27. *Слов:* Два офицера *кончая:* в дурачки. — *нет в «С.».*

* Стр. 24, строки 30 — 31. *Вместо:* того беспокойства, которое испытывал сам: — *в «С.»:* малейшего беспокойства:

V гл. Стр. 24, строка 36. *Вместо:* вступили — *в «С.»:* вступали

Стр. 25, строка 2. *Вместо:* столпясь — *в «С.»:* столпившись

Стр. 25, строка 8. *Вместо:* оправясь — *в «С.»:* оправившись

* Стр. 25, строки 25 — 29. *Слов:* Две девицы, *кончая:* проходящих офицеров. — *нет в «С.».*

* Стр. 26, строки 10 — 11. *Вместо:* который себе очень хорошо знает высокую цену. — *в «С.»:* большого света.

* Стр. 26, строка 28. *Слова:* русские — *нет в «С.».*

* Стр. 26 — 27, строки 33 — 34, 1 — 12. *Абзаца:* Тут же, у этого же адъютанта, *кончая:* ничего не понимал. — *нет. в «С.».*

VI гл. * Стр. 28, строки 9—14. *Слов:* Проезжая мимо *кончая:* огня спрашивают». — *нет в «С.».*

* Стр. 29, строки 11—17. *Заключающего главу абзаца:* Неужели тесно *кончая:* красоты и добра. — *нет в «С.».*

VII гл. Стр. 29, строка 37. *Слова:* сырая — *нет в «С.».*

Стр. 30, строка 13. *Вместо: народ такой! — в «С.»: такой народ!*

Стр. 30, строка 19. *Вместо: Вот, левая сторона, — в «С.»: Вот, вот лева сторона,*

VIII гл. * Стр. 31, строки 35 — 36. *Слов:* вдруг выразил *кончая:* серьезность,— *нет в «С.».*

* Стр. 33, строки 22 — 27. *Заключающего главу абзаца:* Зрелище было *кончая:* рубил бы воздух. — *нет в «С.».*

IX гл. Стр. 34, строка 28. *Вместо:* портки, — *в «С.»:* порты,

* Стр. 35, строка 24. *Вместо:* подлецы, — *в «С.»:* молодцы,

X гл. Стр. 36, строка 12. *Вместо: он* откуда — *в «С.»:* вот *он* откуда

* Стр. 38, строки 16 — 19. *Вместо:* Ничего не боится: *кончая:* — А то нет! — *в «С.»:* — Молод, прыток... вот и поплатился, прибавил он, пристально глядя на раненого.

РУБКА ЛЕСА.

ВАРИАНТЫ ТЕКСТА «СОВРЕМЕННИКА» 1855, № 9.

I гл. Стр. 40, строка 12. *Вместо:* попаху, — *в «С.»:* шапку,

Стр. 41, строка 15. *Вместо:* которую — *в «С.»:* в которой

Стр. 41, строка 16. *Слова:* за — *нет в «С.».*

Стр. 41, строка 39. *Вместо:* послышались — *в «С.»:* послышался

Стр. 41, строка 40. *Слова:* солдаты — *нет в «С.».*

Стр. 42, строка 6. *Слова:* невольно — *нет в «С.».*

Стр. 42, строка 13. *Вместо:* черная полоса. — *в «С.»:* черная полоса опушки густого леса.

II гл. * Стр. 43—44, строки 8—38, 1—15. *Вместо:* В России есть *кончая:* редко, и если встречаются, — *в «С.»:* В России есть особенные типы солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д. Чаще других встречающийся тип солдата, тип более всего милый, симпатичный и бо́льшей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями — кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле Божьей, есть тип покорного вообще.

Есть еще многие другие типы.

Тип начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д. Типы эти разнообразны: *начальствующие - суровые* — тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов (к этому то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя).

Тип *отчаянного* точно так же, как и тип *начальствующего* хорош в *отчаянных забавниках*, отличительными чертами которых бывают непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль; и ужасно дурен в *отчаянных*

развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко и ежели встречаются,

Стр. 44, строка 22. *Слова:* чрезвычайно — *нет в «С.».*

Стр. 44, строки 28 — 29. *Вместо:* сам Михаил Дорофеич — *в «С.»: сам* Михайло Дорофеич. *Точно так же в конце главы вместо:* Михаилу, Михаил, Михаила — *в «С.»:* Михайлу, Михайле, Михайло, Михал, Михайла.

* Стр. 45, строка 2. *Слова:* развратного — *нет в «С.».*

* Стр. 45, строки 4 — 8. *Вместо:* Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, *кончая:* партикулярной шинели; — *в «С.»:* Михайло Дорофеич, как человек с достатком, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели.

Стр. 45, строка 8. *Вместо:* не забыл — *в «С.»:* не забывал

Стр. 45, строка 14. *Вместо:* последние, — *в «С.»:* последки,

* Стр. 45, строки 18 — 19. *Слов:* Он — ехидная его *кончая:* из души взял; — *нет в «С.».*

Стр. 45, строка 20. *Вместо:* должно — *в «С.»:* должен

Стр. 45, строка 22. *Вместо:* приносил — *в «С.»:* принес

III гл. Стр. 46, строка 2. *Вместо: движение — в «С.»: давление*

Стр. 46, строка 20. *Вместо:* в ляжке — *в «С.»:* (в плече и в ляжке)

* Стр. 46, строки 25 — 26. *Вместо:* не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда негодным солдатом. — *в «С.»:* дрался, буянил и делался никуда не годен.

* Стр. 46, строка 29. *Слов:* и буянил — *нет в «С.».*

* Стр. 46, строка 37. *Вместо:* болтаются — *в «С.»:* навешаны

Стр. 46, строка 38. *Вместо:* пройдется — *в «С.»:* пройдет

Стр. 47, строка 3. *Вместо:* переселенцем, вообще не-артиллеристом, — *в «С.»:* вообще не артиллеристом, или переселенцем—

Стр. 47, строка 8. *Слов:* в зубах — *нет в «С.».*

Стр. 47, строка 13. *Вместо:* штуки, — *в «С.»:* штучки,

Стр. 47, строка 17. *Вместо:* английского милорда, — в *«Св»:* Аглицкого Милорда,

* Стр. 47, строка 28. *Вместо:* пригона, — *в «С.»:* приема,

Стр. 47, строка 37. *Вместо:* знал — *в «С.»:* помнил

Стр. 48, строка 12. *Вместо:* который действительно нуждался. — *в «С.»:* действительно нуждавшегося.

Стр. 48, строка 14. *Вместо:* 10 — *в «С.»:* осьмнадцать

Стр. 48, строка 14. *После слова:* пришел — *в «С.»:* в батарею

Стр. 48, строка 15. *Вместо:* деньги, — *в «С.»:* все деньги,

Стр. 48, строка 18. *Вместо:* нужно, — *в «С.»:* надо,

Стр. 48, строка 19. *Слова:* которых уже не было у Максимова, — *в «С.» в скобках.*

Стр. 48, строка 23. *Вместо:* несчастия пропажи — *в «С.»:* несчастья — пропажи

Стр. 48, строка 25 — 26. *Вместо:* храбрее и исправнее — *в «С.»:* более храброго и исправного

Стр. 48, строка 29. *После слова:* песни; — *в «С.»:* их,

Стр. 48, строка 33. *Вместо:* равномерном — *в «С.»:* ревностном

Стр. 48, строка 40. *Вместо слов:* необыкновенно кроткое, *кончая:* поражало вас. — *в «С.»:* необыкновенное доброе, почти детское вдруг замечали вы.

IV гл. Стр. 49, строка 18. *Вместо:* напился! — *в «С.»:* напиться?

Стр. 50, строки 1 — 2. *Слов:* лежит, — *кончая:* сон находил. — *нет в «С.».*

Стр. 50, строка 5. *Слова:* тоже — *нет в «С.».*

Стр. 50, строка 8. *Вместо:* на меня беглый взгляд: — *в «С.»:* беглый взгляд на меня:

Стр. 50, строка 17. *Вместо: модера — в «С.»: мадера. Таково же написание этого слова и дальше.*

Стр. 50, строка 22. *Вместо:* эзиятов — *в «С.»:* Езиятов

Стр. 50. строка 27. *Вместо:* набрался достаточно дыму, — *в «С.»:* набрал достаточно дыма,

Стр. 50, строка 33. *Вместо:* замест — *в «С.»:* заместа

Стр. 50, строка 34. *Вместо:* одном — *в «С.»:* одному

Стр. 51, строка 6. *Вместо:* швытко, — *в «С.»:* известно,

Стр. 51, строка 7. *Слова:* ты — *нет в «С.»*

Стр. 51, строка 7. *Вместо:* малый, — *в «С.»: милый,*

Стр. 51, строка 8. *Вместо:* что ли? — *в «С.»:* что-ли-ва?»

V гл. Стр. 51, строка 28. *Вместо:* просвечивающий — *в «С.»:* просвечивавший

Стр. 51, строка 30. *Вместо:* также — *в «С.»:* только

Стр. 52, строки 4—5. *Слова:* по свойственной *кончая:* артилле рийской стрельбе, — *в «С.» в скобках.*

Стр. 52, строка 6. *Вместо:* гранату. — *в «С.»:* гранатку.

Стр. 52, строка 9. *Вместо:* так — *в «С.»:* там

Стр. 52, строка 14. *Вместо:* вашбородие! — *в «С.»:* ваше благородие.

Стр. 52, строка 17. *После слова:* цепь — *в «С.»:* палит,

Стр. 52, строки 19 — 20. *Слова:* — Гхранату кабы *кончая:* заплевали... — *в «С.» присоединены к следующему абзацу.*

Стр. 52, строка 26. *Вместо:* линий — *в «С.»:* линии

Стр. 52, строка 33. *Вместо:* спросил — *в «С.»:* сказал

VI гл. * Стр. 53, строки 30 — 36. *Вместо слов:* Ротный командир *кончая:* общество офицеров. — *в «С.»:* Ротный командир Болхов имел состояние и служил прежде в гвардии. Товарищи любили его: он был довольно умен и имел достаточно такту.

Стр. 54, строка 7. *Вместо:* Мне — *в «С.»:* А мне

Стр. 54, строка 32. *После слов:* Тифлисскую и т. д... — *в «С.»:* и я бы и вы не приехали; право.

* Стр. 55, строки 4 — 12. *Вместо:* Оттого, что, во-первых, *кончая:* я не храбр... — *в «С.»:* Я чувствую себя неспособным к здешней службе, я не могу переносить опасность.

* Стр. 55, строка 18 — 27. *Слов:* Знаете, я *кончая:* перед своей грудью. — *нет в «С.».*

Стр. 55, строка 37. *После слова:* новый, — *в «С.»:* почти

VII гл. Стр. 56, строка 25. *Вместо:* на — *в «С.»:* в

Стр. 56, строка 29. *Вместо:* слышались *в «С.»:* слышался

* Стр. 56, строка 34—35. *Вместо:* в молчаливом бездействии *кончая:* дожидая — *в «С.»:* ждало

Стр. 57, строка 16. *Вместо:* в арьергард. — *в «С.»:* в арьергарде.

* Стр. 57, строки 25 — 26. *Слов:* По всему видно *кончая:* ядра — пехотным. — *нет в «С.».*

* Стр. 57, строки 27 — 28. *Слов:* но видно было, *кончая:* не нравились. — *нет в «С.».*

* Стр. 57, строки 35 — 38. *Слов:* И Веленчук, всегда *кончая:* недовольным голосом повторил: — *нет в «С.».*

Стр. 57, строка 40. *Вместо:* небось». — *в «С.»:* небось, сказал Веленчук.

Стр. 58, строка 8. *Вместо:* боясь — *в «С.»:* боялся

Стр. 58, строки 10 — 11. *Вместо:* падение тела *кончая:* братцы мои!» — *в «С.»:* падение тела и раздирающий стон раненого. «О-о-ой, братцы мои!»

VIII гл. Стр. 58 строка 35. *Слова:* сердито — *нет в «С.».*

* Стр. 58, строки 37—38. *Вместо:* окружили *кончая:* помощников. — *в «С.»:* окружило несколько человек.

Стр. 59, строка 1. *Вместо:* Антонов грубо, — *в «С.»:* Антонов, грубо

Стр. 59, строка 13. *Вместо:* ухватясь — *в «С.»:* ухватившись

Стр. 59, строка 18. *Вместо:* окровавленных — *в «С.»:* окровавленном

IX гл. Стр. 60, строка 13. *Вместо:* А как же — *в «С.»:* Какже
Стр. 60, строка 22. *Вместо:* выбыли — *в «С.»:* выбыл

* Стр. 60, строка 31. *Перед словом:* известие,—*в «С.»:* печальное

X гл. Стр. 61, строка 5. *Вместо:* ползли — *в «С.»:* пошли

Стр. 61, строка 10. *Вместо:* неумолкаемое — *в «С.»:* неумолкаемые

Стр. 61, строка 17. *Вместо:* его — *в «С.»:* Веленчука

Стр. 61, строка 27. *Вместо:* кукурузного — *в «С.»:* высокого

Стр. 61, строка 33, *Вместо:* я совсем забыл — *в «С.»:* мы совсем забыли

Стр. 61, строка 35. *После слов:* про Москву, — *в «С.»:* про наших общих знакомых — вообще

* Стр. 62, строки 7—8. *Слов:* хоть на жизнь *кончая:* и службы, — *нет в «С.».*

* Стр. 62, строки 11 — 13. *Слов:* до тех пор, пока *кончая:* ехавши сюда. — *нет в «С.».*

Стр. 62, строка 14. *Вместо:* — Отчего же, ежели — *в «С.»:* Да ежели

* Стр. 62, строки 17 — 25. *Слов:* Это тоже одно *кончая:* а мне нет. И потом, — *нет в «С.».*

XI гл. Стр. 63, строка 5. *Вместо:* натянутыми — *в «С.»:* растянутыми

* Стр. 63, строка 6. *Слова:* бессмысленности. — *нет в «С.».*

* Стр. 63, строки 8—9. *Слов:* хотя общее *кончая:* недалек. — *нет в «С.».*

* Стр. 63, строка 13. *Вместо:* о приятностях здешней службы. — *в «С.»:* о здешней службе.

* Стр. 63, строки 14 — 15. *Слов:* потому, чтобы *кончая:* значение, — *нет в «С.».*

* Стр. 63, строки 19—20. *Вместо:* должно быть, достоинство *кончая:* сделать — *в «С.»:* перебил и сделал

Стр. 63, строка 27. *Вместо:* папиросы,— *в «С.»:* папироски,

* Стр. 63, строка 29. *Слов:* как одну *кончая:* образовании, — *нет в «С.».*

Стр. 63, строка 30. *Слов:* в мире — *нет в «С.».*

* Стр. 64, строки 16 — 18. *Слов:* и даже дерзости *кончая:* бонжурам. — *нет в «С.».*

Стр. 64, строка 22. *После слов:* пристальный взгляд. — *в «С.» абзац:* Старик был очень весел.

Стр. 64, строка 31. *Вместо:* Я потому, — *в «С.»:* Я? Потому

Стр. 65, строка 2. *Вместо:* он, — *в «С.»* майор.

* Стр. 65, строки 4 — 6. *Слов:* как флигель-адъютанта *кончая:* так знаете... — *нет в «С.».*

Стр. 65, строка 12. *Слов:* не дожидаясь ответа: — *нет в «С.».*

Стр. 65, строка 15. *Слов:* в России... — *нет в «С.».*

Стр. 65, строка 18. *Вместо:* глупым — *в «С.»:* странным

* Стр. 65, строки 24—36. *Слов:* — Да что̀ вы! *кончая:* и снова посмотрел на часы. — *нет в «С.».*

Стр. 65, строка 39. *Вместо:* ходить и говорить-то — *в «С.»:* ходить-то и говорить

Стр. 66, строка 2. *Вместо:* восьмой — *в «С.»:* осьмой

* Стр. 66, строки 16 — 25. *Слов:* — Нет, право Абрам Ильич, *кончая*, что же вы хотите... Что̀? — *нет в «С.».*

* Стр. 66, строка 31. *Слов:* в сюртуке генерального штаба — *нет в «С.».*

* Стр. 66, строки 35 — 39. *Слов:* Новый гость, *кончая*, товарищем», подумал я. — *нет в «С.».*

XII гл. * Стр. 67, строка 1. *Слов:* Предположение *кончая:* подтвердилось. — *нет в «С.».*

* Стр. 67, строка 15. *Слова:* глубокомысленно — *нет в «С.».*

* Стр. 67 — 68, строки 19 — 39, 1 — 3. *Слов:* — Ну-с, так вот *кончая:* знаете, просто, по-русски, — *нет в «С.».*

* Стр. 68, строки 4 — 7. *Вместо:* — как ни считай, *кончая:* водку пьем. — *в «С.»:* право, нашему брату на жизнь жаловаться нечего: все живем, и чай пьем, и табак курим... Чего же еще?

Стр. 68, строка 8. *Вместо:* знаете, *в «С.»:* вы знаете,

* Стр. 68, строка 17. *Слов:* из России — *нет в «С.».*

* Стр. 68, строки 19 — 20. *Слов:* Видишь... *кончая:* рюмку водки. — *нет в «С.».*

Стр. 68, строки 24—25. *Вместо:* И Крафт *кончая:* с особенным

чувством.—*в «С.»:* (и Крафт снова растолкал всех нас, продрался до Тросенки и схватив его руку, потряс ее с особенным чувством).

* Стр. 68, строка 35. *Слова:* неуместные — *нет в «С.».*

* Стр. 68, строка 38—39. *Вместо:* вдруг сделал *кончая:* собеседника, что — *в «С.»:* не обратил на него внимания и

Стр. 69, строка 15. *Вместо:* Обрыв, — *в «С.»:* Обрыв?

Стр. 69, строка 23. *Вместо:* Опять обрыв,—*в «С.»* Опять обрыв?

* Стр. 69, строка 26. *Вместо:* нелепый — *в «С.»:* непонятный

XIII гл. Стр. 70, строка 20. *Слова:* голых — *нет в «С.».*

Стр. 70, строка 27. *Вместо:* всех — *в «С.»:* трех

Стр. 70 — 71, строки 37, 1. *Вместо:* речи, *кончая:* и барабаны: — *в «С.»:* и красноречивые речи,

Стр. 71, строка 17. *После слова:* еще, — *в «С.»:* как

Стр. 71, строки 27 — 28. *Вместо:* они не слишком внимательно — *в «С.»:* не слишком внимательно они

Стр. 72, строка 5. *После слова:* послышался — *в «С.»:* зоревой

* Стр. 72, строки 11 — 15. *Слов:* да приидет *кончая:* от лукавого». — *нет в «С.».*

Стр. 72, строка 16. *Слова:* — Так-то у нас — *в «С.» начинают XIV главу.*

Стр. 72, строка 23. *Слова:* закурить трубочку, — *в «С.» переставлены.*

* Стр. 72, строка 32. *Вместо:* — Отчего ж бросили? — *в «С.»:* — Отчего ж вы Шевченку-то оставили?

Стр. 72, строка 35. *Слова: он* стал — *в «С.» переставлены.*

Стр. 72, строки 35 — 38. *Вместо:* донимать, трех — *в «С.»:* донимать — трех

Стр. 72, строки 37 — 38. *Вместо:* Беда! совсем не думали — *в «С.»:* Беда совсем, не думали

Стр. 73, строка 20. *Вместо:* загулял — *в «С.»:* загулялся

Стр. 73, строка 26. *Вместо:* али — *в «С.»:* да

*Стр. 73, строка 28. *Слов:* когда от двух братьев! — *нет в «С.»*

* Стр. 73, строки 29—30. *Слов:* самим только бы *кончая:* Подмога плохая, — *нет в «С.»*

Стр. 73, строка 37. *После слов:* с Даргов, — *в «С.»:* значит,

Стр. 73, строка 39. *Вместо:* облокотясь—*в «С.»:* облокотившись

Стр. 74, строка 2. *Вместо:* эта — *в «С.»:* эвта

Стр. 74, строка 11. *Вместо:* же — *в «С.»:* уже

* Стр. 74, строка 15. *Вместо:* красной рожей — *в «С.»:* красным лицом

ЗАПИСКИ МАРКЕРА.

ВАРИАНТЫ ТЕКСТА «СОВРЕМЕННИКА» 1855, № 1.

*Стр. 101, строки 15—16. *Вместо:* ведь не каменный *кончая:* в морду заехать. — *в «С.»:* ведь не каменный человек? — так только послушай:

* Стр. 103, строка 23. *Вместо:* И чорт его знает, *кончая:* *Пан* этот. — *в «С.»:* И не знай, кто он такой был Пан этот.

* Стр. 103, строка 25. *Слов:* и били то, и ругали, — *нет в «С.».*

* Стр. 103, строка 27. *Слова:* бестия! — *нет в «С.».*

* Стр. 194, строки 28 — 29. *Слов:* т. е. дуэль хотел *кончая:* одно слово, господа! — *нет в «С.».*

* Стр. 104, строка 32. *Вместо:* не хотите драться, — *в «С.»:* не хотите дать мне удовлетворение,

* Стр. 104 — 105, строки 39 — 6. *Вместо:* уговори его, чтобы он, то есть, *кончая:* Не хочу, да и шабаш. — *в «С.»:* Пошел князь. Большой говорит: — Я, говорит, ничего не боюсь. Не стану, говорит, с мальчишкой объясняться. Не хочу да и шабаш.

* Стр. 105, строки 28—31. *Вместо:* Выпей для куражу, *кончая:* повезли молодчика. — *в «С.»:* — Поедем. Поехали.

* Стр. 106, строки 2 — 5 *Слов:* Нехлюдов на себя не похож: *кончая:* его и сшибло. — *нет в «С.».*

Стр. 106, строка 10. *Слова:* выпил, — *нет в «С.».*

* Стр. 106, строки 17 — 19. *Слов:* Из чиновников *кончая:* Бог его знает, только — *нет в «С.».*

* Стр. 106, строка 21. *Вместо:* Бог их ведает. — *в «С.»:* уж право не ведаю.

* Стр. 106, строка 22. *Вместо:* шельма — *в «С.»:* продувной

* Стр. 106, строки 23 — 25. *Вместо:* Уж его и ругали-то,

кончая: на дуэль вызывал... — *в «С.»* Уж чего ему не доставалось...,

* Стр. 107, строки 28—30. *Слов:* Сначала преферансик, а там глядишь — *любишь, не любишь* пойдет. — *нет в «С.».*

Стр. 107, строки 37 — 38. *Вместо:* взъерошенный, *кончая:* руки грязные. *в «С.»:* на себя не похож.

* Стр. 108, строки 4 — 5. *Вместо: он* моих карт не будет бить. — *в «С.»: он* не будет со мной играть.

* Стр. 109, строка 17 *Слов:* я, — говорит, — тебя исколочу. —*нет в «С.».*

* Стр. 111, строка 23. *Вместо:* мужичков разорил, — *в «С.»:* имение разорил,

* Стр. 111, строки 24 — 25. *Слов:* дерет с мужика последнюю шкуру, да и шабаш. — *нет в «С.».*

* Стр. 111, строка 26. *Вместо:* хоть с голоду все помирай.— *в «С.»:* хоть всё пропадай.

* Стр. 111, строка 28. *Вместо:* Разорил, — говорят, — в конец мужиков. — *в «С.»:* Разорил, говорят, в конец имение.

Стр. 111, строка 37. *Слов:* Такой старик смешной. — *нет в «С.».*

* Стр. 115, строки 10 — 11. *Вместо:* Уж чего не делают господа!. Сказано, господа... одно слово: господа! — *в «С.»:* Подлинно уж чего не делается на свете!

* Стр. 115, строки 21—28. *Слов:* Мне легче бы было *кончая:* знаю это — и не могу подняться. — *нет в «С.».*

* Стр. 115, строка 32 — 34 *Вместо:* «Семерка, туз, *кончая:* вот мои воспоминания! — *в «С.»:* «Хороши мои воспоминания.

* Стр. 115, строка 34. *Слова:* низости, — *нет в «С.».*

* Стр. 116, строки 5 — 18. *Слов:* Меня оскорбили — я вызывал *кончая:* когда не знал женщин! — *нет в «С.».*

Стр. 116, строка 23. *Слова:* грязной — *нет в «С.».*

* Стр. 116, строка 32. *Слов:* страшная для других и отрадная для меня — *нет в «С.».*

* Стр. 116 — 117, строки 34 — 7. *Слов:* Но и в этом отношении *кончая:* представляются моему уму. — *нет в «С.».*

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ

*ЗАПИСКИ О КАВКАЗѢ.

ПОѢЗДКА ВЪ МАМАКАЙ-ЮРТЪ.

(1852)

Въ 1852 году въ Іюнѣ мѣсяцѣ я жилъ на водахъ Стараго Юрта. — Кавказъ такъ мало былъ извѣстенъ мнѣ, что допустивъ въ читателяхъ тотъ взглядъ, который я имѣлъ тогда, я рѣшительно становлюсь въ тупикъ и вижу совершенную невозможность составить описаніе того, что поражало меня. — Надѣюсь, что читатели мои или не имѣютъ о К[авказѣ] никакого понятія, или понятіе хоть сколько нибудь вѣрное; въ противномъ случаѣ, мы никакъ не поймемъ другъ друга. Когда-то въ дѣтствѣ или первой юности я читалъ Марл[инскаго], и разумѣется съ восторгомъ, читалъ тоже не съ меньшимъ наслажденіемъ Кавказскія сочиненія Лермонтова. Вотъ всѣ источники, которые я имѣлъ для познанія Кавказа, и боюсь, чтобы большинство читателей не было въ одномъ положеніи со мною. Но это было такъ давно, что я помнилъ только то ⟨поэтическое⟩ чувство, которое испытывалъ при чтеніи, и возникшіе поэтическіе образы воинственныхъ Черкесовъ, голубоглазыхъ Черкешенокъ, горъ, скалъ, снѣговъ, быстрыхъ потоковъ, Чинаръ... бурка, кинжалъ и шашка занимали въ нихъ не послѣднее мѣсто. — Эти образы, украшенные воспоминаніемъ, необыкновенно поэтически сложились въ моемъ воображеніи. Я давно уже позабылъ поэмы М[арлинскаго] и Л[ермонтова], но въ моемъ воспоминаніи составились изъ тѣхъ образовъ другіе поэмы, въ тысячу разъ увлекательнѣе первыхъ. Передать ихъ словами я не покушался; потому что зналъ, что это невозможно; но втайнѣ наслаждался ими. Случалось-ли вамъ читать стихи на полузнакомомъ языкѣ, особенно такія, которыя вы знаете, что хороши? Не вникая въ смыслъ каждой фразы, вы продолжаете читать, и изъ нѣкоторыхъ словъ, понятныхъ для васъ, возникаетъ въ вашей головѣ совершенно другой смыслъ, правда не ясный, туманный и не подлежащій выраженію словъ, но тѣмъ болѣе прекрасный и поэтическій. Кавказъ былъ долго для меня этой поэмой на

везнакомомъ языкѣ; и когда я разобралъ настоящій смыслъ ея [?], но многихъ случаяхъ я пожалѣлъ о вымышленной поэмѣ и во многихъ убѣдился, что дѣйствительность была лучше воображаемаго. Постараюсь передать смыслъ какъ той, такъ и другой поэмы. — ⟨Воображеніе всегда далеко от слова; но⟩ Слово далеко не можетъ передать воображаемаго, но выразить дѣйствительность еще труднѣе. Вѣрная передача дѣйствительности есть камень преткновенія слова. Авось воображеніе читателя дополнитъ недостатокъ выраженія автора. — Безъ этаго содѣйствія какъ пошлы и безцвѣтны были-бы всѣ описанія. Чтобы поставить воображеніе читателя на ту точку, съ которой мы можемъ понимать другъ друга, начну съ того, что Черкесовъ нѣтъ — есть Чеченцы, Кумыки, Абазехи и т. д., но Ч[еркесовъ] нѣтъ. Чинаръ нѣтъ, есть бугъ, извѣстное Р[усское] дерево, голубоглазыхъ Черк[ешенокъ] нѣтъ (ежели даже подъ словомъ Ч[еркесы] разумѣть собирательное названіе Аз[іатскихъ] народовъ) и мало-ли еще чего нѣтъ. Отъ многихъ еще звучныхъ словъ и поэтическихъ образовъ должно вамъ будет отказаться, ежели вы будете читать мои разсказы.[1] Желалъ бы, чтобы для васъ, какъ и для меня, въ замѣнъ погибшихъ, возникли новые образы, которые бы были ближе къ дѣйствительности и не менѣе поэтичны.

Воды[2] Стараго Юрта, вразсужденіи обстановки, весьма мало имѣютъ сходства съ водами Баденъ-Бадена или Емса, или даже Пятигорска.— Онѣ находятся за Терекомъ, въ большой Чечнѣ, вблизи однаго изъ самыхъ большихъ и богатыхъ мирныхъ ауловъ — Ст. Юрта. — Вообще трудно опредѣлить, мирное или немирное пространство, занимаемое Чечней[3] по ту сторону Терской линіи. Живутъ въ немъ, въ аулахъ и крѣпостяхъ, одни мирные Татары и солдаты, но внѣ крѣпостей вы имѣете столько же шансовъ встрѣтить мирныхъ, сколько и немирныхъ жителей. — Поэтому внѣ крѣпостей мѣсто ни мирное, ни немирное, т. е. опасное. На курсъ назначаются на воды двѣ роты пѣхоты и два орудія въ прикрытіе лагеря, и въ лагерь собираются раненные офицеры, солдаты и дамы. Въ этомъ году было 3: жена смотрителя съ локонами, въ розовомъ платьѣ, прапорщица Хринева, первая красавица и ужаснѣйшая кокетка, и аптекарша изъ Нѣмокъ. —

Барыни эти были, сколько я слышалъ, весьма достойныя уваженія барыни, но одно, чего я не могъ простить имъ, это было то, что они жили въ Чечнѣ — на Кавказѣ — странѣ дикой, поэтической и воинственной точно также, какъ бы они

[1] *Конец фразы несколько раз переделан. Редакция, предшествующая окончательной:* но все то, въ чемъ вы должны разочароваться, узнаете вы еще изъ моего разсказу.

[2] *Абзац редактора.*

[3] *Два последние слова написаны над зачеркнутым:* изъ котораго изгнаны подданные Шамиля

жили въ городѣ Саратовѣ[1] или Орлѣ. Жасминная помада прекрасная вещь и прюнелевыя ботинки тоже; и зонтикъ тоже; но нейдутъ какъ-то они къ моимъ понятіямъ о Кавказѣ. — Нѣкоторые офицеры были тоже недовольны дамами, но совсѣмъ по другимъ причинамъ. Они говорили, что рѣшительно нельзя пѣть пѣсенникамъ лучшихъ пѣсенъ, не имѣешь никакой свободы. Поручикъ Чикинъ, чтобы выразить свое неудовольствіе, прошелъ даже мимо землянки главной аристократки съ локонами безъ нижняго платья. Я забылъ сказать, что общество дамъ раздѣлялось на аристократическое, среднее и дурное. Ужъ безъ этаго нигдѣ не бываетъ.

---

[1] *Первоначально было:* въ Саратовской гу; *последнее недописанное слово исправлено на:* или, *вставлено слово:* городѣ, *а* Саратовской *по ошибке не исправлено.*

ВАРИАНТЫ ИЗ РУКОПИСНЫХ РЕДАКЦИЙ «НАБЕГА».

* № 1 (I ред.).

«Очень вамъ благодаренъ за ваши одолженія и совѣты, и я намѣренъ воспользоваться какъ тѣми, такъ и другими; но скажите пожалуйста: какъ вы предполагаете: куда пойдетъ этотъ отрядъ?»

«Что предполагать?» съ угрюмымъ видомъ отвѣчалъ мнѣ мой собѣсединкъ, «вѣрно опять на завалъ; больше и идти некуда».

«Какой это завалъ?» спросилъ я. —

«А вотъ какой это завалъ: въ четвертомъ годѣ, когда мы его брали, въ одномъ нашемъ батальонѣ было 150 человѣкъ потери, въ третьемъ годѣ двѣ сотни козаковъ занеслись впередъ да и попали въ такую трущобу, что изъ нихъ врядъ-ли десятый человѣкъ вернулся; да и въ прошломъ годѣ опять-же подъ этимъ заваломъ насъ пощелкали таки порядочно».

«Вы, кажется, ранены въ этомъ дѣлѣ?» спросилъ я; капитанъ кивнулъ головой. — «Неужели этотъ завалъ такъ хорошо укрѣпленъ, что его никакъ нельзя взять?» спросилъ я.

«Какой, нельзя взять, да его каждой годъ берутъ. Возьмутъ да и уйдутъ назадъ; а они къ будущему году его еще лучше укрѣпятъ. — Говорятъ, теперь они его такъ устроили, что придется за него поплатиться дорого».

«Отчего-же не удержутъ навсегда это мѣсто, не построютъ крѣпости?»

«А подите спросите», отвѣчалъ мнѣ Капитанъ, подавая руку, и вышелъ из комнаты.

Я привелъ вамъ разговоръ мой съ Штабсъ-капитаномъ А... не для того, чтобы познакомить васъ съ мнѣніями этаго стараго Кавказца, а только для того, чтобы нѣсколько познакомить васъ съ его личностью, — мнѣнія его не могутъ быть авторитетомъ вообще и о военныхъ дѣлахъ въ особенности, потому что Капитанъ человѣкъ, извѣстный за чудака, вѣчно всѣмъ недовольнаго, и за страшнаго спорщика. — Мнѣніе его о завалѣ, который будто-бы безъ всякой пользы брали четыре раза сряду,

было совершенно ошибочно, какъ я узналъ то впослѣдствіи отъ людей, близскихъ самому Генералу.—Когда я сталъ повторять при нихъ слова Капитана, меня совершенно осрамили и очень ясно доказали мнѣ, что это дѣлалось совсѣмъ не для того, чтобы имѣть случай получать и раздавать награды, а по болѣе основательнымъ и важнымъ причинамъ. — Вообще капитанъ пользуется не совсѣмъ хорошею репутаціею въ кругу этихъ господъ: они утверждаютъ, будто онъ не только недалекъ, но просто дуракъ набитый и притомъ грубой, необразованный и непріятный дуракъ и сверхъ того горькій пьяница; но хорошій офицеръ. — ⟨Послѣднее обвиненіе — въ пьянствѣ — мнѣ кажется не совсѣмъ основательнымъ, потому что, хотя дѣйствительно Штабсъ-капитанъ имѣетъ красное лицо, еще болѣе красный носъ и пьетъ много, но онъ пьетъ регулярно, и я никогда не видалъ его пьянымъ.⟩

Когда я спрашивалъ о немъ — храбръ-ли онъ? мнѣ отвѣтили, какъ обыкновенно отвѣчаютъ Г-да Офицеры въ подобныхъ случаяхъ: «то есть — какъ храбръ?.. Также какъ и всѣ. — Здѣсь трусовъ нѣтъ». —

* № 2 (I ред.).

Въ свитѣ Генерала было очень много офицеровъ; и всѣ офицеры эти были очень довольны находиться въ свитѣ Генерала. Одни изъ нихъ были его адъютанты, другіе адъютанты его мѣста, третьи находились при немъ, четвертые — кригскомиссары или фельдцех... или квартирмейстеры, пятые командовали артилеріей, кавалеріей, пѣхотой, шестые адъютанты этихъ командировъ, седьмые командовали арьергардомъ, авангардомъ, колонной, восьмые адъютанты этихъ командировъ; и еще очень много офицеровъ — человѣкъ 30. — Всѣ они, судя по названію должностей, которыя они занимали, и которыя очень можетъ быть, что я перевралъ — я не военный— были люди очень нужные. — Никто не сомнѣвался въ этомъ, одинъ спорщикъ Капитанъ увѣрялъ, что все это шелыганы, которые только другимъ мѣшаютъ, а сами ничего не дѣлаютъ. Но можно-ли вѣрить Капитану, когда эти-то — по его словамъ — шелыганы и получаютъ лучшія награды?

* № 3 (I ред.).

Генералъ, Полковникъ и Полковница были люди такого высокаго свѣта, что они имѣли полное право смотрѣть на всѣхъ здѣшнихъ офицеровъ, какъ на что-то составляющее середину между людьми и машинами, и ихъ высокое положеніе въ свѣтѣ замѣтно уже было по одному ихъ взгляду,[1] про который Г-да Офицеры говорили: «О! какъ онъ посмотритъ!» Но Кап[итанъ]

---

[1] *Над строкой надписано:* по ихъ, хотя военнымъ, но совершенно англійскимъ одеждамъ

говорилъ, что у Ген[ерала] былъ не только не величественный, а какой-то глупый и пьяный взглядъ, и что Русскому Генералу и Полк[овнику] прилично быть похожимъ на Р[усскихъ] солдатъ, а не на Англійскихъ охотниковъ.

*№ 4 (I ред.).

Гиканіе Горцевъ есть звукъ, который нужно слышать, но нельзя передать. Онъ громокъ, силенъ и пронзителенъ, какъ крикъ отчаянія; но не есть выраженіе страха. Напротивъ, въ этомъ звукѣ выражается такая отчаянная удаль и такой звѣрскій порывъ злобы, что невольно содрагаешься. — Звукъ пуль, который я въ первый разъ слышалъ, напротивъ доставилъ мнѣ удовольствие — Ихъ жужжаніе и визгъ такъ легко и пріятно дѣйствуютъ на слухъ, что воображеніе отказывается соединять съ этимъ звукомъ мысль ужаснаго; и я понимаю, не принимаю за хвастовство слова тѣхъ, которые говорятъ, что свистъ пуль нравится и воодушевляетъ. — Человѣкъ испытываетъ удовольствіе или неудовольствіе не вслѣдствіи разсужденія, но вслѣдствіи инстинкта, до тѣхъ поръ пока опытъ не подтвердитъ разсужденія такъ сильно, что разсужденіе сдѣлается инстинктомъ. — Поэтому-то я испугался не выстрѣла, но гиканья; поэтому тоже впослѣдствіи, когда я въ первый разъ былъ въ дѣлѣ, я съ истиннымъ наслажденіемъ слушалъ, как пули летали мимо меня; но испугался ужасно, когда услыхалъ первый выстрѣлъ изъ нашего орудія. По той-же причинѣ непріятное шипѣніе ядра сильнѣе дѣйствуетъ на духъ, чѣмъ жужжаніе пуль; и люди, которые имѣютъ дурную привычку кивать головой отъ пули, кивают больше всего въ ту минуту, когда она сухимъ короткимъ звукомъ прекращаетъ пріятный, — ударяясь во что нибудь.

*№ 5 (I ред.).

Въ аулѣ не видно ни души; только кое-гдѣ, около заборовъ убѣгаютъ испуганные пѣтухи и куры, ишаки (ослы), собаки. На лужѣ подъ горой спокойно плаваютъ утки, не принимая никакого участія въ общемъ бѣдствіи. Не даромъ виднѣлись ночью огни и выскакывалъ оборванный Джемми, махалъ палкой съ зажженой соломой и кричалъ во все горло.— Чеченцы еще ночью выбрались изъ аула, увели своихъ женъ и дѣтей и вытаскали все свое добро — ковры, перины, кумганы, скотину, оружіе — подъ кручь, къ которой не подойдутъ Русскіе, потому что изъ подъ подрыва много выставится заряженныхъ винтовокъ. —

Опять не удалось намъ съ храбрымъ полковникомъ показать своей удали: не кого ни бить, ни рубить. Только изъ за заборовъ изрѣдка летаютъ пули; но и это не его дѣло; къ заборамъ послана пѣхотная цѣпь. — Я пришелъ въ себя отъ воинственнаго восторга только тогда, когда мы остановились. Въ то время какъ

мы неслись, я ничего-бы не побоялся и, кажется, былъ способенъ изъ своей руки убить человѣка; но теперь я испытывалъ, стоя на мѣстѣ безъ всякаго дѣла, совсѣмъ другое чувство. Пули, которыя летали безпрестанно мимо меня и изрѣдка попадали въ лошадей и солдатъ, производили на меня самое непріятное впечатлѣніе. Меня успокоивала только та мысль, что, вѣрно, Чеченцы не цѣлятъ въ меня.— Я сравнивалъ себя — въ штатскомъ платьи между солдатами — съ рѣдкой птицей,которая вылетаетъ изъ подъ ногъ охотника, когда онъ ищетъ дичи. Только любитель рѣдкостей можетъ пожелать убить эту птицу; но, можетъ быть, и между Чеченцами найдется любитель рѣдкостей, оригиналъ, который вмѣсто того, чтобы съ пользой пустить свой зарядъ въ солдата, захочетъ подстрѣлить — для штуки — имянно меня. —

Генералъ въѣхалъ въ аулъ; цѣпи тотчасъ-же усилили, отодвинули, и пули перестали летать. —

«Ну что-жъ, полковникъ», сказалъ онъ, пускай ихъ жгутъ и грабютъ; я вижу, что имъ ужасно хочется», сказалъ онъ, улыбаясь. —

Голосъ и выраженіе его были точно такіе-же, съ которыми онъ у себя на балѣ приказалъ-бы накрывать на столъ; только слова другія. — Вы не повѣрите, какъ эфектенъ этотъ контрастъ небрежности и простоты съ воинственной обстановкой. —

Драгуны, козаки и пѣхота разсыпались по аулу. — Тамъ рушится крыша, выламываютъ дверь, тутъ загарается заборъ, сакля, стогъ сѣна, и дымъ разстилаетъ по свѣжему утреннему воздуху; вотъ козакъ тащитъ куль муки, кукурузы, солдатъ — коверъ и двухъ курицъ, другой — тазъ и кумганъ съ молокомъ, третій навьючилъ ишака всякимъ добромъ; вотъ ведутъ почти голаго испуганнаго дряхлаго старика Чеченца, который не успѣлъ убѣжать. — Аулъ стоялъ на косогорѣ, выше него, саженяхъ въ 10, начинался густый [?] лѣсъ, а за лѣсомъ обрывъ, про который я говорилъ. Я выѣхалъ на гору, откуда весь аулъ и кипѣвшее въ немъ и шумѣвшее войско и начинавшійся пожаръ видны были, какъ на ладонкѣ. Капитанъ подъѣхалъ ко мнѣ, мы спокойно разговаривали и шутили, посматривая на разрушеніе трудовъ столькихъ людей. Вдругъ насъ поразилъ крикъ, похожій на гиканіе, но болѣе поразительный и звонкій; мы оглянулись. Саженяхъ въ 30 отъ насъ бѣжала изъ аула къ обрыву женщина съ мѣшкомъ и ребенкомъ на рукахъ. Лицо ея и голова были закрыты бѣлымъ платкомъ, но по складкамъ синей рубашки было замѣтно, что она еще молода. Она бѣжала съ неестественной быстротой и, поднявъ руку надъ головой, кричала. Вслѣдъ за ней еще быстрѣе бѣжало нѣсколько пѣхотныхъ солдатъ. Одинъ молодой Карабинеръ[1] въ одной рубашкѣ съ ружьемъ въ рукѣ обогналъ всѣхъ и почти догонялъ ее. — Его,

[1] *Написано над зачеркнутым:* парень

должно быть, соблазнялъ мѣшокъ съ деньгами, который она несла. —

«Ахъ, канальи, вѣдь они ее убьютъ», сказалъ капитанъ, ударилъ плетью по лошади и поскакалъ къ солдату. «Не трогай ее!» закричалъ онъ. Но въ то-же самое время прыткій солдатъ добѣжалъ до женщины, схватился за мѣшокъ, но она не выпустила его изъ рукъ. Солдатъ схватилъ ружье обѣими руками и изъ всѣхъ силъ ударилъ женщину въ спину. Она упала, на рубашкѣ показалась кровь, и ребенокъ закричалъ. — Капитанъ бросилъ на землю папаху, молча схватилъ солдата за волосы и началъ бить его такъ, что я думалъ, — онъ убьетъ его; потомъ подошелъ къ женщинѣ, повернулъ ее и когда увидалъ заплаканное лицо гологоловаго ребенка и прелестное блѣдное лицо 18-ти лѣтней женщины, изо рта котораго текла кровь, бросился бѣжать къ своей лошади, сѣлъ верхомъ и поскакалъ прочь. Я видѣлъ, что на глазахъ его были слезы. —

[1] Карабинеръ, зачѣмъ ты это сдѣлалъ? Я видѣлъ, какъ ты глупо улыбался, когда капитанъ билъ тебя по щекамъ. Ты недоумѣвалъ, хорошо-ли ты сдѣлалъ или нѣтъ; ты думалъ, что капитанъ бьетъ тебя такъ по нраву, ты надѣялся на подтвержденіе твоихъ товарищей. — Я знаю тебя. — Когда ты вернешься въ Штабъ и усядешься въ швальню, скрестивъ ноги, ты самодовольно улыбнешься, слушая разсказъ товарищей о своей удали, и прибавишь, можетъ быть, насмѣшку надъ капитаномъ, который билъ тебя. Но вспомни о солдаткѣ Анисьѣ, которая держитъ постоялый дворъ въ Т. губерніи, о мальчишкѣ — солдатскомъ сынѣ — Алешкѣ, котораго ты оставилъ на рукахъ Анисьи и прощаясь съ которымъ ты засмѣялся, махнувъ рукою, для того только, чтобы не расплакаться. Что бы ты сказалъ, ежели-бы буяны-фабричные, усѣвшись за прилавкомъ, съ пьяна стали бы бранить твою хозяйку и потомъ бы ударили ее и мѣдной кружкой пустили-бы въ голову Алешки? — Какъ-бы это понравилось тебѣ? — Можетъ быть, тебѣ въ голову не можетъ войдти такое сравненіе; ты говоришь: «бусурмане». — Пускай бусурмане; но повѣрь мнѣ, придетъ время, когда ты будешь дряхлый, убогій, отставный солдатъ, и конецъ твой ужъ будетъ близко. Анисья побѣжитъ за батюшкой. Батюшка придетъ, а тебѣ ужъ подъ горло подступитъ, спроситъ, грѣшенъ-ли противъ 6-й заповѣди? «Грѣшенъ, батюшка», скажешь ты съ глубокимъ вздохомъ, въ душѣ твоей вдругъ проснется воспоминаніе о бусурманкѣ, и въ воображеніи ясно нарисуется ужасная картинка: потухшіе глаза, тонкая струйка алой крови и глубокая рана въ спинѣ подъ синей рубахой, мутные глаза съ невыразимымъ отчаяніемъ вперятся въ твои, гололобый дѣтенышъ съ ужасомъ будетъ указывать на тебя, и голосъ совѣсти не-

[1] *Абзацъ редактора.*

слышно, но внятно скажетъ тебѣ страшное слово. — Что-то больно, больно ущемитъ тебя въ сердцѣ, послѣднія и первыя слезы потекутъ по твоему кирпичному израненному лицу. Но ужъ поздно: не помогутъ и слезы раскаянія, холодъ смерти обниметъ [?] тебя.— Мнѣ жалко тебя, карабинеръ.

Когда уже все было разрушено и уничтожено въ аулѣ, Генералъ приказалъ приготовиться къ отступленію и поѣхалъ впередъ. Опять тотъ-же порядокъ — цѣпи по сторонамъ, Генералъ съ улыбкой и свитой въ серединѣ. Но непріятель усилился и дѣйствовалъ смѣлѣе. Пули летали съ обѣихъ сторонъ. Однако Генералъ держалъ себя такъ, какъ долженъ держать начальникъ, подающій примѣръ мужества и храбрости. Онъ ѣхалъ съ п[олковникомъ] и небрежно разговаривалъ съ нимъ. Полковникъ былъ ни дать ни взять англичанинъ: кровный гнѣдой, скаковый жеребецъ, англ[ійское] сѣдло съ необыкновенными стременами, ноги впередъ, припригивая, ботфорты, бѣлыя панталоны, бѣлый жилетъ, который видѣнъ изъ подъ разстегнутаго военнаго сертука, и куча брелоковъ, манжеты, воротнички, огромные рыжія бакенбарды; и во всемъ этомъ чистота необыкновенная. Словомъ — британецъ совершенный, особенно, ежели снять съ него военный сюртукъ и попаху. —

«Вы пойдете въ авангардѣ, п[олковникъ]», сказалъ ему Генералъ, наклоняясь и съ любезной улыбкой. —

«Слушаю», сказалъ полковникъ, приставляя руку къ попахѣ; и потомъ прибавилъ по-французски: «Вы меня обижаете, Генералъ — ни раза не дадите арьергарда. On dirait que vous me boudez».[1]

— Вѣдь вы знаете, что К[нягиня] ни за что не проститъ мнѣ, ежели вы будете ранены. Одно, чѣмъ я могу оправдаться, это тоже быть раненнымъ. —

— И точно, вы не бережете себя, Генералъ.

— Ежели меня убьютъ, то я увѣренъ, вы первый поднимете меня; и я васъ» —

Полковникъ съ сіяющей улыбкой наклонился и пробормоталъ что-то.

«Какіе милые рыцари», подумалъ я. Надо замѣтить, что такой любезный разговоръ происходилъ на ходу и подъ сильнымъ огнемъ непріятеля. Не далеко отъ насъ поранили нѣсколько солдатъ, и когда провозили однаго изъ нихъ, раненнаго въ шею и кричавшаго изъ всѣхъ силъ, и когда молодой подп[олковникъ?], который былъ въ свитѣ Генерала, съ участіемъ взглянулъ на него и, обратившись къ другимъ, невольно вымолвилъ: какой ужасъ, Генералъ въ серединѣ разговора взглянулъ на него такъ.

..... — Вот это мужество!

Проѣхавъ саженъ 200 и выѣхавъ изъ подъ непр[іятельскаго]

---

[1] [Можно сказать, пожалуй, что вы мной недовольны.]

огня, Генералъ слѣзъ съ лошади и вѣлѣлъ готовить закуску. Офицеры сдѣлали тоже. А[дъютантъ] с глянцевитымъ лицомъ, нахмурившись, легъ въ сторонѣ.

Онъ, казалось, думалъ: «вотъ, чортъ возьми, какъ еще убьютъ! Скверно!» Другіе обступили Генерала и съ большимъ участіемъ смотрѣли на приготовленіе для него въ спиртовой кастрюльки яичницы и битковъ; казалось, имъ очень нравилось, что Генералъ будетъ кушать. Желалъ-бы я знать тоже, какъ нравилась эта закуска войскамъ, отступающимъ сзади, и на которыя со всѣхъ сторонъ, какъ мухи на сахаръ, насѣдали Чеченцы.

Трескотня, прерываемая залпами орудій, и дымъ сзади были страшны.

— Кто въ аріергардной цѣпи? — спросилъ Генералъ.

— К[апитанъ] П. — , отвѣчалъ кто-то.

«C'est un très bon diable»,[1] сказалъ Генералъ. — «Я его давно знаю—вотъ ужъ истинно рабочая лошадь: всегда ужъ, гдѣ жарко, туда и его. Можете себе представить, онъ былъ старше меня въ 22 году, когда я пріѣхалъ на К[авказъ]». — Присутствующіе изъявили участіе, удивленіе и любопытство. —

— Поѣзжайте, скажите, чтобъ отступали эшелонами.

А[дъютантъ] сѣлъ на лошадь и поѣхалъ къ ар[іергарду]. Любопытство мое было сильнѣе страха, — я поѣхалъ съ нимъ взглянуть на капитана.—Адъютантъ не подъѣхалъ къ н[ачальнику] аріергарда, которому слѣдовало передать порученіе, но передалъ его офицеру, который былъ поближе. Я подъѣхалъ къ капитану. Онъ взглянулъ на меня сердито, ничего не сказалъ, тотчасъ отвернулся и сталъ отдавать приказанія. Онъ кричалъ, горячился, но не суетился. Батальонный к[омандиръ] былъ раненъ, онъ командовалъ батальономъ. Г[рузинскій] К[нязекъ] подъѣхалъ къ нему: «Прикажите? на ура броситься подъ кручь, мы ихъ отобьемъ!»

— Ваши слова неумѣстны, молодой человѣкъ, вы должны слушаться, а не разсуждать; вамъ приказано прикрывать обозъ, вы и стойте. — Онъ отвернулся отъ него. — Хочется, чтобъ убили. —

— Позвольте пожалуйста, чтожъ вы мнѣ не хотите доставить случая. —

— У васъ есть матушка? — сказалъ кротко капитанъ: — такъ пожалѣйте ее.— Молодой Князекъ сконфузился. —

— Извольте идти на свое мѣсто,— строго сказалъ Капитанъ.

Чеченцы насѣдали сильнѣе и сильнѣе, солдаты бросались на ура, давали залпы картечью, и на минуту пули переставали свистѣть изъ за кручи; но потомъ опять начинали и еще больше. Храбрый поручикъ (онъ былъ нѣсколько блѣденъ) подъѣхалъ къ капитану.

— Въ моей ротѣ нѣтъ патроновъ (онъ привралъ); что при-

[1] [Это хороший малый,]

кажете? Г[рузинскій] К[нязекъ] проситъ промѣняться со мной; а впрочемъ можно отбить и въ штыки.—

— Тутъ штыковъ не нужно, надо отступать, а не мѣшкать; идите къ обозу и пришлите К[нязька].»

Какъ только Князекъ пришелъ, несмотря на запрещеніе капитана онъ закричалъ: «Ура!» и съ ротой побѣжалъ подъ кручь. Солдаты насилу бѣжали съ мѣшками на плечахъ, спотыкались, но бѣжали и кричали слабымъ голосомъ. — Все скрылось подъ обрывомъ. Черезъ полчаса трескотни, гиканія и крика за обрывомъ вылѣзъ оттуда старый солдатъ; въ одной рукѣ онъ держалъ ружье, въ другой что-то желто-красное — это была голова Чеченца. Онъ уперся однимъ колѣномъ на обрывъ, отеръ потъ и набожно перекрестился, потомъ легъ на траву и о мѣшокъ сталъ вытирать штыкъ. Вслѣдъ за нимъ два молодые солдата несли кого-то. Г[рузинскій] К[нязекъ] былъ раненъ въ грудь, блѣденъ какъ платокъ и едва дышалъ.— Побѣжали за докторомъ.— .

Докторъ былъ пьянъ и началъ что-то шутить; рука его такъ тряслась, что онъ попадалъ вмѣсто раны зондомъ [1] въ носъ.

— Оставьте меня,— сказалъ Князекъ: — я умру. Однако отбили таки, капитанъ.—

— Да, отбили своими боками, — сказалъ развалившись на травѣ старикъ съ головой. — Молодъ больно, вотъ и поплатился, и нашего брата не мало осталось. — Я лежалъ подлѣ солдата.—

— Жалко,— сказалъ я самъ себѣ невольно.

— Извѣстно,— сказалъ солдатъ: — глупъ ужасно, не бо ится ничего.—

— А ты развѣ боишься? —

— А не бось не испугаешься, какъ начнутъ сыпать.—

Однако видно было, что солдатъ и не знаетъ, что такое — бояться.

Кто храбръ? Генералъ-ли? Солдатъ-ли? Поручикъ-ли? Или ужъ не Капитанъ-ли? — Когда мы ѣхали съ нимъ къ Н[ачальнику] О[тряда], онъ сказалъ мнѣ:

— Терпѣть не могу являться и получать благодарности. Какая тутъ благодарность. Ну, будь онъ съ нами, а то нѣтъ. Говорятъ, ему надо беречься; такъ лучше пускай онъ вовсе не ходитъ, а приказываетъ изъ кабинета. Въ этой войнѣ не нужно генія, а нужно хладнокровіе и смѣтливость. — Какъ-то, право, досадно.

Въ это время подъѣхали одинъ за другимъ два А[дъютанта] съ приказаніями. —

— Вотъ шелыганы, вѣдь тамъ и не видать ихъ, а тутъ сколько набралось, и тоже съ приказаніями. — Жалко Князька, и зачѣмъ ему было ѣхать служить сюда. Эхъ молодость!—

---

[1] *В подлинникѣ:* зонтомъ

— Зачѣмъ же вы служите? — спросилъ я.
— Какъ зачѣмъ? Куда-же дѣнусь, коли мнѣ не служить? —

*№ 6 (II ред.).

Разсказъ волонтера.

〈Храбрость есть наука того, чего нужно и чего не нужно бояться. — Платонъ.〉

«Я къ вамъ съ новостью», сказалъ мнѣ Капитанъ Хлаповъ, въ шашкѣ и эполетахъ, входя въ низкую дверь моей комнаты.

«Что такое?» спросилъ я.

«Видите, я прямо отъ Полковника», отвѣчалъ Капитанъ, указывая на свою шашку и эполеты — форму, которую рѣдко можно видѣть на Кавказѣ. — «Завтра на зорькѣ батальонъ нашъ идетъ въ N., гдѣ назначенъ сборъ войскамъ; и оттуда, навѣрно, пойдутъ или въ набѣгъ, или рекогносцировку хотятъ сдѣлать..... только ужъ что-нибудь да будетъ», заключилъ онъ.

«А мнѣ можно будетъ съ вами идти?» спросилъ я.

«Мой совѣтъ — лучше неходить. Изъ чего вамъ рисковать?..»

«Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ не послушаться вашего совѣта: я цѣлый мѣсяцъ жилъ здѣсь только затѣмъ, чтобы дождаться случая быть въ дѣлѣ, и вы хотите, чтобы я пропустилъ его».

«Ну ужъ ежели вы такъ непремѣнно хотите повоевать, пойдемте съ нами; только, ей Богу, не лучше-ли вамъ оставаться? Мы бы пошли съ Богомъ, а вы бы насъ тутъ подождали; и славно бы», — сказалъ онъ такимъ убѣдительнымъ голосомъ, что мнѣ въ первую минуту — не знаю почему — показалось, что дѣйствительно было-бы славно; однако я рѣшительно сказалъ ему, что ни за что не останусь. —

«И что вамъ тутъ кажется лестнаго», продолжалъ онъ, «вотъ въ 42-омъ годѣ былъ тутъ такой-же не служащій какой-то — Каламбаръ-ли, Баламбаръ-ли... ей Богу не помню — изъ Испанцевъ кажется — тоже весь походъ съ нами ходилъ въ рыжемъ пальтѣ въ какомъ-то; ну и ухлопали. Вѣдь здѣсь, батюшка, никого не удивите».[1]

«Да я и не хочу никого удивлять», отвѣчалъ я съ досадой, что Капитанъ такъ дурно понимаетъ меня, «я ужъ не такъ молодъ, чтобы воображать себя героемъ и чтобы это могло забавлять меня...»

«Ну такъ чего-жъ вы тамъ не видали? Хочется вамъ узнать, какъ сраженія бываютъ, прочтите Михайловскаго-Данилевскаго, Генерала Лейтенанта, Описаніе Войны — прекрасная книга — тамъ все подробно описано, и гдѣ какой корпусъ стоялъ — да и не такія сраженія, какъ наши».

---

[1] *Дальше между строк другими чернилами и более крупным почерком позднейшая вставка:* Что онъ храбрый былъ

«Это меня нисколько не интересуетъ», перебилъ я.

«Такъ что-жъ, вамъ хочется посмотрѣть, какъ людей убиваютъ?»

«Вотъ имянно это-то мнѣ и хочется видѣть: какъ это, человѣкъ, который не имѣетъ противъ другаго никакой злобы, возьметъ и убьетъ его, и зачѣмъ?...»

«Затѣмъ, что долгъ велитъ. А смотрѣть тутъ, право, нечего. Не дай Богъ этаго видѣть», прибавилъ онъ съ чувствомъ. —

«Оно такъ: разумѣется не дай Богъ видѣть, какъ видѣлъ, а когда третьяго дня Татарина разстрѣливали, вы замѣтили, сколько набралось зрителей. Еще мнѣ хочется видѣть храбрыхъ людей и узнать, что такое храбрость». [1]

«Храбрость? храбрость?» [2] повторилъ Капитанъ, покачивая головой съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ. «Храбрый тотъ, который ничего не боится».

«А мнѣ кажется, что нѣтъ, что самый храбрый человѣкъ все-таки чего нибудь да боится. Вѣдь вы бы могли сказаться больнымъ и нейдти въ этотъ походъ; но вы этаго не сдѣлаете, потому что боитесь, чтобы про васъ не говорили дурно, или боитесь...»

«Нисколько, Милостивый Государь», прервалъ Капитанъ съ недовольнымъ видомъ, дѣлая рѣзкое удареніе на каждомъ слогѣ *милостиваго государя*,— «про меня говорить никто ничего не можетъ, да и мнѣ плевать, что бы ни говорили; а иду я потому, что батальонъ мой идетъ, и я обязанъ есть отъ своего батальона не отставать».

«Ну оставимъ это», продолжалъ я, «возьмемъ, напримѣръ, лошадь, которая оттого, что боится плети, сломя голову бѣжитъ подъ кручь, гдѣ она разобьется; развѣ можно назвать ее храброй?»

«Коли она боится, то ужъ значитъ не храбрая».

«Ну а какъ вы назовете человѣка, который, боясь общественнаго мнѣнія, изъ однаго тщеславія рѣшается подвергать себя опасности и убивать другаго человѣка?»

«Ну ужъ этаго не умѣю вамъ доказать», отвѣчалъ мнѣ Капитанъ, видимо, не вникая въ смыслъ моихъ словъ.

---

[1] *Первоначально после слов:* набралось зрителей. — *было с новой строки:* «Да, кому больше дѣлать нечего; но тутъ по крайней мѣрѣ зрители знаютъ: что ихъ не убьютъ, а тамъ, пожалуй, и зрителя зацѣпитъ».

«Вотъ и это мнѣ хочется видѣть, какъ это люди не боятся, что ихъ убьютъ».

«Какъ не боятся? другіе и боятся, да дѣлать нечего.»

«Ну какже не интересно узнать: какимъ образомъ люди боятся, а все-таки рискуютъ; и что же такое называется храбрость?»

Слова: Еще мнѣ хочется *кончая:* что такое храбрость» *написаны другими чернилами и очень крупным почерком по первым строкам первоначального текста; конец его перечеркнут крест-на-крест.*

[2] *В обоих случаях переделано из:* храбрый человѣкъ?

«Поэтому-то мнѣ кажется», продолжалъ я, увлекаясь своей мыслью, «что въ каждой опасности всегда есть выборъ; и выборъ, сдѣланный подъ вліяніемъ благороднаго чувства, называется храбростью, а выборъ, сдѣланный подъ вліяніемъ низкаго чувства, называется трусостью».

«Не знаю», отвѣчалъ капитанъ, накладывая трубку, «вотъ у насъ есть *Юнкиръ* изъ Поляковъ, такъ тотъ любитъ пофилософствовать. Вы съ нимъ поговорите, онъ и стихи пишетъ».

*№ 7 (III ред.).

Лѣтомъ 184. года я жилъ на Кавказѣ, въ маленькой крѣпости N. ⟨и дожидался случая⟩

12 Іюля единственный мой знакомецъ капитанъ Хлаповъ[1] въ шашкѣ и эполетахъ вошелъ ко мнѣ.

«Я къ вамъ съ новостью», сказалъ онъ.

«Что такое?»

«Видите, я прямо отъ Полковника... завтра на зорькѣ батальонъ нашъ выступаетъ въ NN. Туда всѣмъ войскамъ велѣно собраться; и ужъ вѣрно что нибудь будетъ. — Такъ вотъ вамъ... ежели вы ужъ такъ хотите непремѣнно повоевать..... ⟨(Капитанъ зналъ мое намѣреніе и, какъ кажется, не одобрялъ его) поѣдемте съ нами».⟩

Война всегда интересовала меня. Но война не въ смыслѣ[2] комбинацій великихъ полководцевъ — воображеніе мое отказывалось слѣдить за такими громадными дѣйствіями: я не понималъ ихъ — а интересовалъ меня самый фактъ войны — убійство. Мнѣ интереснѣе знать: какимъ образомъ и подъ вліяніемъ какого чувства убилъ одинъ солдатъ другаго, чѣмъ расположеніе войскъ при Аустерлицкой или Бородинской битвѣ.

Для меня давно прошло то время, когда я одинъ, расхаживая по комнатѣ и размахивая руками, воображалъ себя героемъ, сразу убивающимъ безчисленное множество людей и получающимъ за это чинъ генерала и безсмертную славу. Меня занималъ только вопросъ: подъ вліяніемъ какого чувства рѣшается человѣкъ безъ видимой[3] пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнѣе, убивать себѣ подобныхъ? Мнѣ всегда хотѣлось думать, что это дѣлается подъ вліяніемъ чувства злости; но нельзя предположить, чтобы всѣ воюющіе безпрестанно злились, и ⟨чтобы объяснить постоянство этаго неестественнаго явленія⟩ я долженъ былъ допустить чувства самосохраненія и долга ⟨хотя кнесчастію весьма рѣдко встрѣчалъ его. Я не говорю о чувствѣ самосохраненія, потому что, по моимъ понятіямъ, оно должно-бы было заставить каждаго прятаться, или бѣжать, а не драться.⟩

Что такое храбрость, это качество, уважаемое во всѣхъ вѣ-

[1] *Переделано из:* Чикинъ
[2] *Зачеркнуто:* ученыхъ
[3] *Зачеркнуто:* для себя

кахъ и во всѣхъ народахъ? Почему это хорошее качество, въ противуположность всѣмъ другимъ, встрѣчается иногда у людей порочныхъ? Неужели храбрость есть только физическая способность хладнокровно переносить опасность и уважается[1] какъ большой ростъ и сильное сложеніе? Можно-ли назвать храбрымъ коня, который, боясь плети, отважно бросается подъ кручь, гдѣ онъ разобьется? ребенка, который, боясь наказанія, смѣло бѣжитъ въ лѣсъ, гдѣ онъ заблудится, женщину, которая, боясь стыда, убиваетъ свое дѣтище и подвергается уголовному наказанію, человѣка, который изъ ⟨страха общественнаго⟩ тщеславія рѣшается убивать себѣ подобнаго и подвергается опасности быть убитымъ? —

Въ каждой опасности есть выборъ. Выборъ, сдѣланный подъ вліяніемъ благороднаго или низкаго чувства, не есть-ли то, что должно называть храбростью или трусостью? — Вотъ вопросы и сомнѣнія, занимавшіе меня и для рѣшенія которыхъ ⟨пріѣхавъ на Кавказъ⟩ я намѣренъ былъ воспользоваться первымъ представившимся случаемъ побывать въ дѣлѣ.

⟨Только тѣ, которые испытали скуку въ маленькомъ укрѣпленіи, изъ котораго нельзя шагу выйдти, могутъ понять какъ⟩ я обрадовался новости капитана и[2] закидалъ его вопросами: куда идутъ? на долго-ли? подъ чьимъ начальствомъ?

«Этаго, я вамъ скажу, отвѣчалъ мнѣ капитанъ, не только нашъ братъ, ротный командиръ, а и самъ Полковникъ не знаетъ: прискакалъ вчера ночью Татаринъ отъ Генерала, привезъ приказъ, чтобы батальону выступать и взять двухъ-дневный провіянтъ, а куда? зачѣмъ? да надолго-ли? этаго, батюшка, не спрашиваютъ: велѣно идти и идутъ».

«Да какже, перебилъ я, вѣдь вы сами говорите, что провіянта велѣно взять на два дня, такъ стало быть и войска продержатъ не долѣе...»

«Видно, что вы изъ Россіи,[3] съ самодовольной улыбкой сказалъ капитанъ, что-жъ такое, что провіянта на два дня взято, развѣ не бывало съ нами, что сухарей возьмутъ на 5 дней, а на пятый день отдаютъ приказъ, чтобы отъ однаго дня растянуть провіянтъ еще на 5 дней, а потомъ еще на 10 дней. И это бываетъ. Вотъ она-съ, кавказская служба-то какова!»

«Да какже-такъ?»

«Да также, лаконически отвѣчалъ капитанъ. А ежели хотите съ нами ѣхать, то совѣтую вамъ всякой провизіи взять побольше. Вещи ваши на мою повозку положить можно. ⟨и человѣка даже взять можно».⟩

Я поблагодарилъ капитана.

«Да не забудьте теплое платье взять. Шуба у васъ есть?»

---

[1] *Зачеркнуто:* только
[2] *Переделано из:* я
[3] *Зачеркнуто:* пріѣхали

Я отвѣчалъ утвердительно.

«То-то, продолжалъ капитанъ, вы не смотрите на то, что здѣсь жарко, въ горахъ теперь такіе холода бываютъ, что и въ трехъ шубахъ не согрѣешься. Вотъ въ такомъ-то году тоже думали, что не надолго, ничѣмъ не запаслись...» и Капитанъ сталъ разсказывать уже давно извѣстныя мнѣ по его разсказамъ бѣдствія, претерпѣнныя имъ въ одномъ изъ самыхъ тяжелыхъ кавказскихъ походовъ. — Надававъ мнѣ кучу наставленій и насказавъ пропасть страховъ о здѣшнихъ походахъ, по привычкѣ старых кавказцевъ пугать пріѣзжихъ, Капитанъ отправился домой. —

* № 8 (III ред.).

«Зачѣмъ вы здѣсь служите?» спросилъ я.

«Надо же служить», отвѣчалъ онъ съ убѣжденіемъ.

«Вы бы перешли въ Россію: тамъ-бы вы были ближе».

«Въ Россію? въ Россію?» повторилъ капитанъ, недовѣрчиво качая головой и грустно улыбаясь. «Здѣсь я все еще на что нибудь да гожусь, а тамъ я послѣдній офицеръ буду. Да и то сказать, двойное жалованье для нашего брата, бѣднаго человѣка, тоже что нибудь да значитъ».

«Неужели, Павелъ Ивановичъ, по вашей жизни вамъ бы недостало ординарнаго жалованья?» спросилъ я.

«А развѣ двойнаго достаетъ?» подхватилъ горячо Капитанъ, «посмотрите-ка на нашихъ офицеровъ: есть у кого грошъ мѣдный? Всѣ у маркитанта на книжку живутъ, всѣ въ долгу по уши. Вы говорите: по моей жизни.... что-жъ по моей жизни, вы думаете, у меня остается что нибудь отъ жалованья? Ни гроша! Вы не знаете еще здѣшнихъ цѣнъ; здѣсь все въ три дорога...»

Капитанъ очень понравился мнѣ послѣ этаго разговора — больше чѣмъ понравился: я сталъ уважать его. —

Павелъ Ивановичь жилъ скупо: въ карты не игралъ, кутилъ рѣдко и курилъ простой табакъ — тютюнъ, который однако, неизвѣстно почему, называлъ не тютюнъ, а *самброталическій табакъ* ⟨и находилъ весьма пріятнымъ⟩.

«Всего бывало», — говаривалъ капитанъ, — «когда я въ 26 году въ Польшѣ служилъ...» Онъ разсказывалъ мнѣ, что въ Польшѣ онъ будто-бы былъ и хорошъ собой, и волокита, и танцоръ; но глядя на него теперь, какъ-то не вѣрилось. Не потому, чтобы онъ былъ очень дуренъ; у него было одно изъ тѣхъ простыхъ спокойныхъ русскихъ лицъ, которыя съ перваго взгляда не представляютъ ничего особеннаго, но потому что маленькіе [?] сѣрые глаза его выражали слишкомъ много равнодушія ко всему окружающему, и въ рѣдкой улыбкѣ, освѣщавшей его морщинистое загорѣлое лицо, былъ замѣтенъ постоянный оттѣнокъ какой-то насмѣшливости и презрѣнія.

Офицеры однаго съ нимъ полка, кажется, уважали его, но

считали за человѣка грубаго и чудака. Когда я спрашивалъ о немъ, храбръ ли онъ? мнѣ отвѣчали ⟨какъ обыкновенно отвѣчаютъ Кавказскіе офицеры въ подобныхъ случаяхъ⟩: «То-есть, какъ храбръ?.. Также какъ и всѣ».[1]

** 9 (III ред.).

Въ 4 часа утра на другой день капитанъ заѣхалъ за мной. На немъ былъ старый истертый и заплатанный сюртукъ безъ эполетъ, лезгинскіе широкіе штаны, бѣлая попашка съ опустившимся и пожелтѣвшимъ курпеемъ[2] и азіятская шашченка черезъ плечо самой жалкой наружности — одна изъ тѣхъ шашекъ, которыя можно видѣть только у бѣдныхъ офицеровъ и у переселенныхъ хохловъ, обзаводящихся оружіемъ.

* № 10 (III ред.).

Мы молча ѣхали по дорогѣ; капитанъ не выпускалъ изо рта дагестанской трубочки, съ каждымъ шагомъ поталкивалъ ногами свою лошадку и казался задумчивѣе обыкновеннаго. Я успѣлъ замѣтить торчавшій изъ-за засаленнаго воротника его мундира кончикъ черной ленточки, на которой висѣлъ образокъ, привезенный мною; и мнѣ, не знаю почему, пріятно было убѣдиться, что онъ не забылъ надѣть его.

* № 11 (III ред.).

«И куда скачетъ?» съ недовольнымъ видомъ пробормоталъ капитанъ, щурясь отъ пыли, которая столбомъ поднялась на дорогѣ, и не выпуская чубука изо рта сплевывая на сторону. —

«Кто это такой?» спросилъ я его.

«Прапорщикъ ⟨нашего полка, князь..... ей Богу забылъ. Недавно еще прибылъ въ полкъ. Изъ Грузинъ кажется.⟩ Аланинъ, субалтеръ-офицеръ моей роты. Еще только въ прошломъ мѣсяцѣ изъ корпуса прибылъ въ полкъ».

«Вѣрно, онъ еще въ первый разъ идетъ въ дѣло?» сказалъ я.

«То-то и радёшенекъ.....» отвѣчалъ капитанъ, глубокомысленно покачивая головой. «Охъ! молодость!»

«Да какже не радоваться? я понимаю, что это для молодаго офицера должно быть очень пріятно».

«Повѣрьте», отвѣчалъ капитанъ медленно-серьезнымъ тономъ, выколачивая трубочку о луку сѣдла, «повѣрьте Л. Н.: ничего пріятнаго нѣтъ. Вѣдь всѣ мы думаемъ, что не мнѣ быть убитымъ, а другому; а коли обдумать хорошенько: надо-же кому нибудь и убитымъ быть».

* № 12 (III ред.).

⟨Батальонный командиръ — маленькій пухленькій человѣчекъ въ шапкѣ огромнаго размѣра, сопровождаемый двумя

[1] *Зачеркнуто:* Здѣсь трусовъ нѣтъ. *Надписанное над этим:* особеннаго ничего нѣтъ... *тоже зачеркнуто.*

[2] Курпей — овчина.

Татарами, ѣхалъ стороной и представлялъ изъ себя видъ человѣка, глубоко чувствующаго собственное достоинство и важность возложенной на него обязанности — колонно-начальника. Когда онъ отдавалъ приказанія, то говорилъ необыкновенно добренькимъ, сладенькимъ голоскомъ. (Эту манеру говорить я замѣтилъ у большей части колонно-начальниковъ, когда они исполняютъ эту обязанность.)⟩

* № 13 (III ред.).

Этотъ офицеръ былъ одинъ изъ довольно часто встрѣчающихся [1] здѣсь [2] типовъ удальцовъ, образовавшихся по рецепту героевъ Марлинскаго и Лермантова. Эти люди въ жизни своей на Кавказѣ принимаютъ за основаніе не собственныя наклонности, а поступки этихъ героевъ и смотрятъ на Кавказъ не иначе, какъ сквозь противорѣчащую дѣйствительности призму Героевъ Нашего Времени, Бэлъ, Амалатъ-Бековъ и Мулла-Нуровъ. Поручикъ всегда ходилъ въ азіятскомъ платьѣ, имѣлъ тысячи кунаковъ нетолько во всѣхъ мирныхъ аулахъ, но даже и въ горскихъ, по самымъ опаснымъ мѣстамъ ѣзжалъ безъ оказіи, ⟨за что не разъ сидѣлъ на гауптвахтѣ⟩ ходилъ съ мирными Татарами по ночамъ засаживаться на дорогу, подкарауливать, грабить и убивать попадавшихся Горцевъ, имѣлъ Татарку-любовницу и писалъ свои записки. Этимъ-то онъ и заслужилъ репутацію джигита въ кругу большей части офицеровъ; одинъ чудакъ Капитанъ не любилъ Поручика и находилъ, что онъ ведетъ себя неприлично для Русскаго Офицера.

⟨Но и у этаго Ахиллеса была своя пятка, въ которую больно можно было уколоть его. Поручикъ Розенкранцъ увѣрялъ всѣхъ, что онъ чистый Русской, многіе же не безъ основанія предполагали, что «онъ долженъ быть изъ Нѣмцовъ».⟩

* № 14 (III ред.).

Въ числѣ ихъ былъ и ⟨Грузинскій Князекъ⟩ молодой Прапорщикъ, который мнѣ такъ понравился. Онъ былъ очень забавенъ: глаза его блестѣли, языкъ немного путался; то онъ лѣзъ цѣловаться, обниматься и изъясняться въ любви со всѣми, то схватывалъ ложки, постукивая ими выскакивалъ передъ пѣсенниковъ ⟨и помирая со смѣху⟩ пускался плясать. Видно было, что офицерскій кутежъ былъ для него еще вещью необыкновенной и непривычной: онъ вполнѣ наслаждался. У него не было еще рутины пьянства; онъ не зналъ, что въ этомъ положеніи можно быть смѣшнымъ и надѣлать такихъ глупостей, въ которыхъ послѣ будешь раскаиваться, не зналъ, что нѣжности, съ которыми онъ ко всѣмъ навязывался, расположатъ другихъ не къ любви, а къ насмѣшкѣ, не зналъ и того, что

---

[1] *Зачеркнуто:* на Кавказѣ
[2] *Зачеркнуто:* забавныхъ

когда онъ послѣ пляски, разгорѣвшись, бросился на бурку и облокотившись на руку, откинулъ назадъ свои черные густые волосы — онъ былъ необыкновенно милъ.

〈Послѣ прапорщика, два старые офицера заказали другую пѣсню, встали и пошли плясать. Пляска ихъ нисколько не была похожа на безтолковую пляску пьяныхъ людей, которые не знаютъ, что дѣлаютъ; напротивъ, видно было, что они не мало практиковались въ этомъ дѣлѣ и прилагали къ нему все возможное стараніе и усердіе. Одинъ стоялъ чинно и терпѣливо дожидался, пока другой выдѣлывалъ красивые и разнообразные па. Когда этотъ останавливался, пускался другой и не менѣе отчетливо исполнялъ свою партію. Особенно Подпоручикъ танцовалъ такъ хорошо, что когда онъ съ кондачка, выкидывая ногами, прошелъ въ присядку, всѣ офицеры изъявили громкое одобреніе, и молодой прапорщикъ бросился обнимать его.〉 Однимъ словомъ, всѣмъ было хорошо, исключая, можетъ быть, одного офицера, который, сидя подъ ротной повозкой, проигралъ другому лошадь, на которой ѣхалъ, съ уговоромъ отдать по возвращеніи въ Штабъ и тщетно уговаривалъ его играть на шкатулку, которая, какъ всѣ могли подтвердить, была куплена у Жида за 30 р. сер., но которую онъ, единственно потому, что находился въ подмазкѣ, рѣшался пустить въ 15-ть. Противникъ его небрежно посматривалъ въ даль, упорно отмалчивался и наконецъ сказалъ, что ему ужасно спать хочется.

Признаюсь, что съ тѣхъ поръ какъ я вышелъ изъ крѣпости и рѣшился побывать въ дѣлѣ, мрачныя мысли невольно приходили мнѣ въ голову; поэтому, такъ какъ мы всѣ имѣемъ склонность по себѣ судить о другихъ, я съ любопытствомъ вслушивался въ разговоры солдатъ и офицеровъ и внимательно всматривался въ выраженія ихъ физіогномій; но ни въ комъ я не могъ замѣтить ни тѣни малѣйшаго безпокойства. Шуточьки, смѣхи, разсказы, игра, пьянство выражали общую беззаботность и равнодушіе къ предстоящей опасности. Какъ будто нельзя было и предположить, что нѣкоторымъ не суждено уже вернуться назадъ по этой дорогѣ, какъ будто всѣ эти люди давно уже покончили свои дѣла съ этимъ міромъ. — Что это: рѣшимость ли, привычка ли къ опасности, или необдуманность и равнодушіе къ жизни? — Или всѣ эти причины вмѣстѣ и еще другія неизвѣстныя мнѣ, составляющія одинъ сложный, но могущественный моральный двигатель человѣческой природы, называемый esprit de corps?[1] Этотъ неуловимый уставъ, заключающій въ себѣ общее выраженіе всѣхъ добродѣтелей и пороковъ людей, соединенныхъ при какихъ бы то ни было постоянныхъ условіяхъ, — уставъ, которому каждый новый членъ невольно и безропотно подчиняется и который не измѣняется вмѣстѣ съ людьми; потому что, какіе бы ни были люди, общая

[1] [силой спаянности?]

сумма наклонностей людскихъ вездѣ и всегда остается та же. Въ настоящемъ случаѣ онъ называется *духъ войска.*

** № 15 (III ред.).

Карета застучала дальше, а Генералъ съ Маіоромъ вошли въ пріемную. Проходя мимо отворенной двери адъютантской комнаты, Генералъ замѣтилъ мою немундирную фигуру и обратилъ на нее свое милостивое вниманіе. Выслушавъ мою просьбу, онъ изъявилъ на нее совершенное согласіе и прошелъ опять въ кабинетъ. «Вотъ еще человѣкъ, — подумалъ я, — имѣющій все, чего только добиваются люди: чинъ, жену, богатство, знатность; и этотъ человѣкъ передъ боемъ, который Богъ одинъ знаетъ чѣмъ кончится, шутитъ съ хорошенькой женщиной и обѣщаетъ пить у нея чай на другой день, точно также, какъ будто онъ встрѣтился съ нею на придворномъ балѣ или раутѣ у Собранника». Я вспомнилъ слышанное мною разсужденіе Татаръ о томъ, что только байгушъ можетъ быть храбрымъ: *богатый сталъ*, *трусъ сталъ*, говорятъ они, нисколько не въ обиду своему брату, какъ общее и неизмѣнное правило. Генералъ вмѣстѣ съ жизнью могъ потерять гораздо больше тѣхъ, надъ кѣмъ я имѣлъ случай дѣлать наблюденія, и напротивъ, никто не выказывалъ такой милой, граціозной безпечности и увѣренности, какъ онъ. Понятія мои о храбрости окончательно перепутались.

** № 16 (III ред.).

Я люблю ночь. Никакое самолюбивое волненіе не можетъ устоять противъ успокоительнаго, чарующаго вліянія прекрасной и спокойной природы.

Какъ могли люди среди этой природы не найдти мира и счастія? — думалъ я.

Война? Какое непонятное явленіе ⟨въ родѣ человѣческомъ⟩. Когда разсудокъ задаетъ себѣ вопросъ: справедливо-ли, необходимо-ли оно? внутренній голосъ всегда отвѣчаетъ: нѣтъ. Одно постоянство этаго неестественнаго явленія дѣлаетъ его естественнымъ, а чувство самосохраненія справедливымъ.

Кто станетъ сомнѣваться, что въ войнѣ Русскихъ съ Горцами справедливость, вытекающая изъ чувства самосохраненія, на нашей сторонѣ? Ежели бы не было этой войны, что-бы обезпечивало всѣ смежныя богатыя и просвѣщенныя русскія владѣнія отъ грабежей, убійствъ, набѣговъ народовъ дикихъ и воинственныхъ? Но возьмемъ два частныя лица. На чьей сторонѣ чувство самосохраненія и слѣдовательно справедливость: на сторонѣ-ли того оборванца, какого нибудь Джеми, который, услыхавъ о приближеніи Русскихъ,[1] съ проклятіемъ сниметъ

[1] *Начиная с этого слова, переделанного из:* Русскаго *и кончая:* на штыки Русскихъ? — *приведенный текст надписан над вачеркнутым:* отряда

со стѣны старую винтовку и съ тремя, четырьмя зарядами въ заправахъ, которые онъ выпуститъ не даромъ, побѣжитъ навстрѣчу Гяурамъ, который, увидавъ, что Русскіе все-таки идутъ впередъ, подвигаются къ его засѣянному полю, которое они вытопчутъ, къ его саклѣ, которую сожгутъ, и къ тому оврагу, въ которомъ, дрожа отъ испуга, спрятались его мать, жена, дѣти, подумаетъ, что все, что только можетъ составить его счастіе, все отнимутъ у него, — въ безсильной злобѣ, съ крикомъ отчаянія, сорветъ съ себя оборванный зипунишко, броситъ винтовку на землю и, надвинувъ на глаза папаху, запоетъ предсмертную пѣсню и съ однимъ кинжаломъ въ рукахъ, очертя голову, бросится на штыки Русскихъ? На его-ли сторонѣ справедливость, или на сторонѣ этаго офицера, состоящаго въ свитѣ Генерала, который такъ хорошо напѣваетъ французскія пѣсенки имянно въ то время, какъ проѣзжаетъ мимо васъ? Онъ имѣетъ въ Россіи семью, родныхъ, друзей, крестьянъ и обязанности въ отношеніи ихъ, не имѣетъ никакого повода и желанія враждовать съ Горцами, а пріѣхалъ на Кавказъ.... такъ, чтобы показать свою храбрость. Или на сторонѣ моего знакомаго Адъютанта, который желаетъ только получить поскорѣе чинъ Капитана и тепленькое мѣстечко и по этому случаю сдѣлался врагомъ Горцевъ? Или на сторонѣ этаго молодаго Нѣмца, который съ сильнымъ нѣмецкимъ выговоромъ требуетъ пальникъ у артилериста? Каспаръ Лаврентьичь, сколько мнѣ извѣстно, уроженецъ Саксоніи; чего-же онъ не подѣлилъ съ Кавказскими Горцами? Какая нелегкая вынесла его изъ отечества и бросила за тридевять земель? Съ какой стати Саксонецъ Каспаръ Лаврентьичь вмѣшался въ нашу кровавую ссору съ безпокойными сосѣдями?

* № 17 (III ред.).

«Скажите пожалуйста, что это за огоньки?» спросилъ я у подъѣхавшаго ко мнѣ Татарскаго офицера.

«Это Горской въ аулѣ огонь пускаетъ.»[1]

«Зачѣмъ же огонь пускаетъ?»

«Чтобы всякій человѣкъ зналъ: Русской пришолъ. Теперь въ аулѣ всякій хурда-мурда будетъ изъ сакли въ балка тащить».

«Развѣ въ горахъ ужъ знаютъ, что отрядъ идетъ?»

почти голый выскочилъ изъ своей сакли, навязалъ пукъ зажженной соломы на палку, махаетъ ею и отчаянно кричитъ, чтобы всѣ знали о угрожающемъ нерчастіи. Онъ боится, чтобы не вытоптали кукурузу, которую онъ посѣялъ весной и на которую съ трудомъ пустилъ воду, чтобы не сожгли стогъ сѣна, который онъ собралъ въ прошломъ годѣ, и саклю, въ которой жили его отцы и прадѣды; онъ боится, чтобы не убили его жену, дѣтей, которыя теперь дрожатъ отъ страха, лежа [*1 неразобр.*] подъ канаусовымъ одѣяломъ; боится наконецъ, чтобы не отняли у него оружіе, которое ему дороже жизни. Да и какъ ему не кричать отчаяннымъ голосомъ, не кинуть папаху на землю и не бить себя кулаками по бритой головѣ? Все, что только могло составить его счастіе, все отнимутъ у него.

[1] *Зачеркнуто:* пущаетъ жигаетъ

«Всегда знаетъ», отвѣчалъ онъ мнѣ. «Нашъ какой народъ? Мошенникъ!» прибавилъ онъ, дѣлая особенно сильное удареніе на послѣднемъ словѣ.

«Ты какой человѣкъ?» спросилъ онъ меня послѣ минутнаго молчанія, во время котораго внимательно всматривался въ мою одежду. Штатское платье мое, видимо, приводило его въ недоумѣніе. Я старался объяснить ему [1] свое положеніе неслужащаго человѣка; но онъ, какъ кажется, не могъ постигнуть, чтобы человѣкъ могъ быть не татариномъ, не козакомъ и не офицеромъ.[2]

«Зачѣмъ ты на похода пошелъ?»

«Посмотрѣть».

«А! посмотрѣть. Отчего-жъ у тебя ни шашки, ни пистоли нѣтъ?»

«Да я такъ только посмотрѣть хочу».

«А! посмотрѣть!.. Что-жъ ты смотрѣть будешь?»

(Я рѣшительно не зналъ, что отвѣчать ему.)

«И Шамиль знаетъ, что Русскіе идутъ?» спросилъ я, чтобы отдѣлаться отъ его вопросовъ.

«Знаетъ, всегда знаетъ. Онъ недалеко живетъ. Вотъ, вотъ лѣва сторона, верста тридцать будетъ».

«Почемъ-же ты знаешь, гдѣ онъ живетъ, развѣ ты былъ въ горахъ?»

«Былъ, наши всѣ въ горахъ былъ».

«И Шамиля видѣлъ?»

«Пихъ! Шамиль большой человѣкъ. Шамиль наша видно не будетъ. Сто, триста, тысячи Мюридъ кругомъ. Шамиль середка будетъ. Шамиль очень большой человѣкъ».

Онъ помолчалъ немного.

«Ты нашъ народъ не вѣрь, нашъ народъ плутъ, надувать будетъ. Мой кунакъ будешь. Кошкильды-аулъ, Мшербай, офицеръ спроси. Кажный баранчукъ покажетъ..... водка есть?»

Водки у меня не было, и новый пріятель отъѣхалъ отъ меня.

** № 18 (III ред.).

Вдругъ въ темнотѣ, немного впереди насъ, зажглось нѣсколько огоньковъ... Въ тоже мгновеніе съ визгомъ прожужжали пули, среди окружающей тишины далеко раздались короткіе сухіе выстрѣлы и громкій крикъ, пронзительный, какъ крикъ отчаянія, но выражающій не страхъ, а такой звѣрской порывъ удали и злости, что нельзя не содрогнуться, слушая его. Это былъ непріятельскій передовой пикетъ. Татары, составлявшіе его, выстрѣлили на удачу и съ крикомъ разбѣжались.

---

[1] *Зачеркнуто:* что я гражданскій чиновникъ

[2] *Начиная со слов:* не могъ *и кончая:* офицеромъ. *надписано над зачеркнутым:* не понялъ меня «Ты не офицеръ, не козакъ?» спрашивалъ онъ меня. «Я думалъ, ты мулла, попъ», — сказалъ онъ наконецъ.

** № 19 (III ред.).

«Ну что-жъ, полковникъ», сказалъ Генералъ. «Пускай грабютъ. Я вижу, имъ ужасно хочется», — прибавилъ онъ, улыбаясь, указывая на козаковъ. Нельзя себѣ представить, какъ поразителенъ контрастъ небрежности, съ которой сказалъ Генералъ эти слова, съ ихъ значеніемъ и воинственной обстановкой.

** № 20 (III ред.).

Былъ позванъ горнистъ, у котораго находилась водка и закуска. Спокойствіе и равнодушіе Капитана невольно отразилось и на мнѣ. Мы ѣли жаренаго фазана и разговаривали, нисколько не помышляя о томъ, что люди, которымъ принадлежала сакля, не только не желали видѣть насъ тутъ, но едва-ли могли предполагать возможность нашего существованія.

** № 21 (III ред.).

Пріѣхавшій докторъ, сколько я могъ замѣтить по нетвердости въ ногахъ и потнымъ глазамъ, находился не въ приличномъ положеніи для дѣланія перевязки. Однако онъ принялъ отъ фершала бинты, зондъ[1] и другія принадлежности и, засучивая рукава, смѣло подошелъ къ раненному.

«Что, батюшка, видно и вамъ сдѣлали дирочку на цѣломъ мѣстѣ... покажите-ка».

Хорошенькій Прапорщикъ повиновался ему, но въ выраженіи, съ которымъ онъ взглянулъ на него, было удивленіе и упрекъ, которыхъ, разумѣется, не замѣтилъ нетрезвый докторъ.

Докторъ такъ неловко щупалъ рану и безъ всякой надобности давилъ ее трясущимися пальцами, что выведенный изъ терпѣнія раненый съ тяжелымъ стономъ отодвинулъ его руку.

«Оставьте меня», сказалъ онъ чуть слышнымъ голосомъ... «все равно я умру». — Потомъ, обращаясь къ капитану, онъ насилу выговорилъ: «Пожалуйста.... капитанъ.... я вчера.... проигралъ Дронову.... двѣнадцать.... монетъ. Когда будутъ.... продавать мои вещи.... отдайте ему».

Съ этими словами онъ упалъ на спину, и черезъ пять минутъ, когда я, подходя къ группѣ, образовавшейся около него, спросилъ у солдата: «Что Прапорщикъ?» мнѣ отвѣчали: «Отходитъ».

** № 22 (III ред.).

Солнце бросало багровые лучи на продолговатыя и волнистыя облака запада, молодой мѣсяцъ, казавшійся прозрачнымъ облакомъ на высокой лазури, бѣлѣлъ и начиналъ собственнымъ неяркимъ свѣтомъ освѣщать штыки пѣхоты, когда войска широкой колонной съ пѣснями подходили къ крѣпости. Генералъ ѣхалъ

---

[1] *В подлинникѣ:* зонтъ

впереди, и по его веселому лицу можно было заключить, что набѣгъ былъ удаченъ. (Дѣйствительно, мы съ небольшой потерей были въ тотъ день въ Макай-аулѣ, мѣстѣ, въ которомъ съ незапамятныхъ временъ не была нога Русскихъ). Саксонецъ Каспаръ Лаврентьичь разсказывалъ другому офицеру, что онъ самъ видѣлъ, какъ три Черкеса цѣлились ему прямо въ грудь. Въ умѣ Поручика Розенкранца слагался пышный разсказъ о дѣлѣ нынѣшняго дня. Капитанъ Хлаповъ съ задумчивымъ лицомъ шелъ передъ ротой и тянулъ за поводъ бѣлую хромавшую лошадку. Въ обозѣ везли мертвое тѣло хорошенькаго Прапорщика.

* № 23.

«Храбрость есть наука того: чего должно и чего не должно бояться», говоритъ Платонъ. — (Ясно, что подъ словомъ наука онъ разумѣетъ *истинное знаніе*.) —

Большей-же частью храбростью называютъ такое состояніе души человѣка, въ которомъ какое нибудь чувство подавляетъ въ немъ чувство страха къ опасности. —

〈Постараюсь разсмотрѣть каждое изъ этихъ опредѣленій и какая между ними разница.〉

Я не упоминалъ о ложномъ мнѣніи, которое принимаетъ за храбрость невѣденіе опасности. —

Опредѣленіе Платона другими словами можно передать такъ: храбрость есть знаніе того, что *истинно* опасно и что не опасно. Опасно только вредное, слѣд[овательно] храбрость есть истинное знаніе вреднаго и безвреднаго, — или ист[инное] знаніе того, что вреднѣе. —

Храбра-ли лошадь, которая боится шпоръ и скачетъ подъ пули? Храбръ-ли солдатъ, который, боясь наказаній, идетъ въ дѣло? Храбръ-ли тотъ, который, боясь стыда, подвергаетъ себя опасности? Храбръ-ли тотъ, который изъ честолюбія рискуетъ жизнью? Храбръ-ли тотъ, который въ минуту злобы, ненависти или страсти къ хищничеству [1]

Подводя всѣ эти вопросы къ предъидущему опредѣленію, отвѣты на него представляются очень ясныя. — Лошадь не знаетъ, что пуля вреднѣе шпоръ, солдатъ не обдумалъ, что наказаніе не сдѣлаетъ ему такого вреда, какъ непріятель. — Тотъ ошибается, который полагаетъ, что стыдъ вреднѣе опасности, также какъ тотъ, который больше заботится о томъ, чтобы отличиться, утолить свою злобу, ненависть, страсть къ хищничеству, чѣмъ сохранить свою жизнь, не думая о томъ, что удовлетвореніе этихъ страстей доставитъ ему меньше пользы, чѣмъ вреда. —

Опредѣленіе Платона неполно только въ томъ отношеніи, что преимущество однаго чувства надъ другимъ не знается, а чув-

[1] *Последняя фраза, приписанная внизу 1 л., осталась незаконченной.*

ствуется, что не всегда одинъ страхъ преобладаетъ надъ другимъ (хотя большей частью это такъ бываетъ), но какое нибудь чувство над страхомъ, и что оно слишкомъ отвлеченно и не приложимо къ храбрости. Это-же опредѣленіе будетъ понятнѣе и полнѣе, ежели его выразить такъ: Храбрость есть способность человѣка подавлять чувство страха въ пользу чувства болѣе возвышеннаго. —

И это опредѣленіе разнствуетъ съ общепринятымъ понятіемъ о храбрости только прибавленіемъ словъ: *болѣе возвышеннаго*. Ежели бы оставить первое опредѣленіе такъ, какъ оно было, то что рѣшитъ вопросъ о томъ, что болѣе и менѣе вредно? Болѣе или менѣе вредно для солдата навѣрно подвергнуться розгамъ или имѣть сто шансовъ изъ однаго быть убитымъ и раненымъ? Менѣе-ли вредно навѣрно прослыть за труса, чѣмъ имѣть шансы не быть убитымъ? Какъ разчесть всѣ эти шансы? — особенно ежели принять во вниманіе здоровье, погоду, нервы, хорошее и дурное расположеніе, жмутъ-ли сапоги или нѣтъ? и тысячи мельчайшихъ обстоятельствъ, которыя мѣшаютъ разсчитывать по аналогіи, ежели бы даже это и было возможно. Правда, рѣшить разсудкомъ, какое чувство возвышеннѣе другаго, невозможно; но на это есть въ насъ внутренній голосъ, который никогда не обманетъ. —

Это опредѣление (что храбрость есть способность имѣть высокія чувства и подавлять ими страхъ) совпадаетъ съ инстинктивнымъ нашимъ чувствомъ, которое говоритъ намъ, что только люди высокой добродѣтели способны къ истинной храбрости.—

Платонъ говоритъ, что храбр[ость] есть знаніе того, чего нужно и чего не нужно бояться, я говорю, что храбр[ость] есть ⟨чувство руководящее насъ въ выборѣ⟩ способность души увлекаться высокимъ чувствомъ до такой степени, чтобы забывать страхъ къ смерти.

Опредѣленіе это не сливается съ самоотверженіемъ. Храбрость есть понятіе болѣе общее, самоотверженіе — частное. Маштабъ, по которому можно измѣрять высоту [?] чувства, есть эгоизмъ и самоотверженіе. —

** № 24.

Какъ хорошо жить на свѣтѣ, какъ прекрасенъ этотъ свѣтъ!— почувствовалъ я, — какъ гадки люди и какъ мало умѣютъ[1] цѣнить его, — подумалъ я. Эту не новую, но невольную и задушевную мысль вызвала у меня вся окружающая меня природа, но больше всего звучная беззаботная пѣснь перепелки, которая слышалась гдѣ-то далеко, въ высокой травѣ. —

«Она вѣрно не знаетъ и не думаетъ о томъ, на чьей землѣ она поетъ, на землѣ ли Русской или на землѣ непокорныхъ горцевъ, ей и въ голову не можетъ придти, что эта земля не общая. Она думаетъ, глупая, что земля одна для всѣхъ, она судитъ

---

[1] *В подлинникѣ:* умѣетъ

по тому, что прилетѣла съ любовью и пѣснью, построила гдѣ захотѣла свой зеленой домикъ, кормилась, летала вездѣ, гдѣ есть зелень, воздухъ и небо, вывела дѣтей. Она не имѣетъ понятія о томъ, что такое права, покорность, власть, она знаетъ только одну власть, власть природы, и безсознатель[но], безропотно покоряется ей. Она глупа, но не отъ того ли она и свиститъ такъ беззаботно. Ей нечего желать и нечего бояться.

Но постой! ты увлеклась, перепелка: развѣ иногда, спрятавшись въ густой травѣ, не подымаешь ты съ ужасомъ свои красные глазенки къ высокому синему небу, не слѣдишь ими съ трепетомъ за медленнымъ полетомъ чернаго коршуна, который затѣмъ только и взвился подъ облака, чтобы отъискать тебя, видишь, куда смотрятъ его кровожадные глаза? имянно на то мѣсто, къ которому ты прижалась, и, невольно распустивъ крылья, напрасно стараешься скрыть отъ него своихъ голыхъ больше-головыхъ дѣтенушей. —

А! и ты трепещешь, и ты боишься? да и кто не боится неправды!

** СВЯТОЧНАЯ НОЧЬ.

(1853)

I.

Въ одну изъ ясныхъ, морозныхъ январскихъ ночей Святокъ 18.... года, внизъ по Кузнецкому Мосту, дробной рысью катилась извощичья карета на парѣ худыхъ разбитыхъ лошадей.—

Только темносинее высокое небо, усѣянное пропадающими въ пространствѣ звѣздами, заиндѣвшая борода кучера, захватывающій дыханіе, щиплющій за лицо воздухъ и скрипъ колесъ по морозному снѣгу напоминали тѣ холодные, но поэтическіе Святки, съ которыми мы съ дѣтства привыкли соединять какія-то смутныя чувства — любви къ завѣтнымъ преданіямъ старины, темнымъ народнымъ обычаямъ и — ожиданія чего-то таинственнаго, необыкновеннаго.....—

Нѣтъ ни бѣлыхъ громадныхъ сугробовъ сыпучаго снѣга, занесшаго двери, заборы и окна, ни узкихъ, пробитыхъ около нихъ тропинокъ, ни высокихъ черныхъ деревъ съ покрытыми инеемъ вѣтвями, ни безграничныхъ ярко-бѣлыхъ полей, освѣщаемыхъ свѣтлой зимней луной, ни чудной, исполненной невыразимой прелести тишины деревенской ночи. Здѣсь высокіе непріятно-правильные дома съ обѣихъ сторонъ закрываютъ горизонтъ и утомляютъ зрѣніе однообразіемъ; равномѣрный городской шумъ колесъ не умолкаетъ и нагоняетъ на душу какую-то неотвязную, несносную тоску; разбитый, навозный снѣгъ покрываетъ улицы и освѣщается кое-гдѣ ламповымъ свѣтомъ, падающимъ изъ цѣльныхъ оконъ какого-нибудь магазина, или тусклыми фонарями, которые, приставляя лѣсенку, поправляетъ засаленный будочникъ: все составляетъ рѣзкую и жалкую противуположность съ блестящимъ, безграничнымъ покровомъ Святочной ночи. Міръ Божій и міръ человѣческій.

Карета остановилась у освѣщеннаго магазина. Изъ нея выпрыгнулъ[1] стройный, хорошенькій мальчикъ—лѣтъ 18 на видъ — въ круглой шляпѣ и шинели съ бобровымъ воротникомъ,

[1] *В подлиннике:* выпругнулъ.

изъ-за котораго видѣнъ былъ бѣлый бальный галстукъ,и, звѣня колокольчикомъ, торопливо вбѣжалъ въ дверь.

«Une paire de gants, je vous prie»,[1] — отвѣчалъ онъ на вопросительный «Bonsoir, Monsieûr»,[2] которымъ встрѣтила его худощавая француженка изъ-за конторки.

«Vot'numerô?» [3]

«Six et demi»,[4] — отвѣчалъ онъ, показывая маленькую, почти женски-нѣжную руку. —

Молодой человѣкъ, казалось, куда-то очень торопился; онъ, прохаживаясь по комнатѣ, сталъ надѣвать перчатки такъ неосторожно, что разорвалъ одну пару; съ дѣтскимъ движеніемъ досады, показывавшемъ въ немъ однако энергію, швырнулъ ее на землю и сталъ растягивать другую. —

«Сынъ мой, это вы? — послышался пріятно-звучный, увѣренный голосъ изъ сосѣдней комнаты, — войдите сюда».

Молодой человѣкъ по звуку голоса и еще болѣе по названію сына тотчасъ узналъ своего знакомаго и вошелъ къ нему. —

Это былъ высокій мущина, лѣтъ 30, чрезвычайно худой, съ рыжими бакенбардами, проходящими по серединѣ щокъ до концовъ рта и начала острыхъ воротничковъ, длиннымъ сухимъ носомъ, спокойными, впалыми, голубыми глазами, выражающими умъ и насмѣшливость, и чрезвычайно тонкими, блѣдными губами, которыя, исключая того времени, когда открывали прекрасные мелкіе зубы, складываясь въ выразительную, симпатичную улыбку, лежали всегда какъ-то особенно важно и строго. Онъ сидѣлъ, вытянувъ длинныя ноги, передъ большимъ трюмо, въ которомъ, казалось, съ удовольствіемъ разсматривалъ отражавшуюся стройную фигуру молодаго человѣка, и предоставлялъ полную свободу выказать свое куафёрское искуство Мосьё Шарлу, который, ловко поворачивая въ помадныхъ рукахъ щипцы и покрикивая на *Эрнеста*, подававшаго ихъ, давалъ, по своему выраженію, «*un coup de peigne à la plus estimable de ses pratiques*».[5]

«Что? на балъ? любезный сынъ». —

«Да, а вы, Князь?»

«Тоже долженъ ѣхать; видите», — прибавилъ онъ, указывая на бѣлый жилетъ и галстукъ, такимъ недовольнымъ тономъ, что молодой человѣкъ съ удивленіемъ спросилъ его: неужели онъ не хотѣлъ ѣхать? и что-бы онъ дѣлалъ въ такомъ случаѣ цѣлый вечеръ?

«Спалъ-бы», — отвѣчалъ онъ равнодушно и безъ малѣйшей афектаціи.

«Вотъ этаго я не могу понять!»

---

[1] [«Пару перчаток, пожалуйста»,]
[2] [Добрый вечер, сударь,]
[3] [Ваш номер?]
[4] [Шесть с половиной,]
[5] [Прикосновение гребня своему самому уважаемому клиенту.]

«И я тоже не понималъ лѣтъ 10 тому назадъ: лѣтъ 10 тому назадъ я готовъ былъ проскакать 300 верстъ на перекладныхъ и не спать 10 ночей для однаго бала; но тогда я былъ молодъ, разумѣется, влюбленъ на каждомъ балѣ, а — главное — тогда мнѣ было весело; потому что я зналъ, что я хорошъ, что, какъ меня ни поверни, никто не увидитъ ни лысины, ни накладки, ни вставленнаго зуба.....»

«А вы за кѣмъ волочитесь? сынъ мой», — прибавилъ онъ, вставая передъ зеркаломъ и оправляя воротнички рубашки.

Этотъ вопросъ, сдѣланный самымъ простымъ разговорнымъ тономъ, казалось, очень удивилъ молодаго человѣка и привелъ въ такое замѣшательство, что онъ, краснѣя и запинаясь, едва могъ выговорить: «я ни за... я ни.. когда еще не волочился».

«Виноватъ, я и забылъ, что въ ваши года не волочатся, а влюбляются, такъ скажите мнѣ по крайней мѣрѣ, въ кого влюблены?»

«Знаете, Князь, — сказалъ молодой человѣкъ улыбаясь, — что я даже не понимаю, что такое значитъ: волочиться, faire la cour...»[1]

«Я вамъ сейчасъ объясню — вы знаете, что такое быть влюблену?»

«Знаю».

«Ну такъ, волочиться значитъ дѣлать совершенно противное того, что дѣлаютъ влюбленные — понемногу разсказывать про свою любовь и стараться, чтобы въ васъ были влюблены; однимъ словомъ, дѣлать противное тому, что вы дѣлаете въ отношеніи къ *милому дебардеру*, въ котораго вы влюблены».

Молодой человѣкъ покраснѣлъ еще разъ.

«Нынче утромъ мы съ вашей кузиной говорили про васъ, и она открыла мнѣ вашу тайну. — Почему вы до сихъ поръ не представлены?»

«Не было случая».

«Какъ можно, чтобы не было случая; нѣтъ, скажите лучше, что не можете рѣшиться; я знаю, истинная, а въ особенности первая любовь стыдлива. Это нехорошо».

«Кузина нынче обѣщала представить меня», — сказалъ молодой человѣкъ дѣтски-застѣнчиво улыбаясь.

«Нѣтъ, позвольте *мнѣ* васъ представить, любезный сынъ; повѣрьте, что я это сдѣлаю лучше, чѣмъ ваша кузина; и посмотрите, съ моей легкой руки, — прибавилъ онъ, надѣвая шинель и шляпу. — Поѣдемъ вмѣстѣ».

«Для того, чтобы имѣть успѣхъ у женщинъ, — продолжалъ онъ докторальнымъ тономъ, проходя къ двери, не замѣчая ни поклоновъ Мосьё Шарля, ни улыбочки «demoiselle de comptoir»,[2] слушавшей его, — для того, чтобы имѣть успѣхъ у

---

[1] [ухаживать...]
[2] [кассирши,]

женщинъ, нужно быть предпріимчиву, а для того, чтобы быть предпріимчиву, нужно имѣть успѣхъ у женщинъ, въ особенности въ первой любви; а для того, чтобы имѣть успѣхъ въ первой любви, нужно быть предпріимчиву. Видите, «cercle vicieux».[1]

II.

Молодаго человѣка звали Сережей Ивинымъ. Онъ былъ прекрасный мальчикъ, съ душой юной, неотуманенной еще позднимъ сознаніемъ ошибокъ, сдѣланныхъ въ жизни; слѣдовательно, съ свѣтлыми мечтами и благородными побужденіями. Окончивъ курсъ въ Училищѣ.....совершеннымъ ребенкомъ душою и тѣломъ, онъ пріѣхалъ въ Москву къ своей матери — милѣйшей женщинѣ стараго вѣка и любившей его такъ, какъ можетъ любить мать единственнаго сына, которымъ гордится.

Пріѣхавъ въ Москву, онъ какъ-то невольно и незамѣтно для самаго себя очутился какъ дома въ добродушномъ и — ежели можно такъ сказать—фамильномъ московскомъ свѣтѣ, въ который люди съ извѣстнымъ рожденіемъ, несмотря на ихъ внутреннія качества, принимаются во всѣхъ отношеніяхъ какъ свои и родные; въ особенности-же — довѣрчиво и радушно, когда они, какъ Ивинъ, не имѣютъ еще для этаго свѣта неизвѣстнаго прошедшаго. Трудно сказать, было-ли это для него счастіемъ или нѣтъ; съ одной стороны свѣтъ доставлялъ ему много истинныхъ наслажденій, а умѣть наслаждаться въ ту пору молодости, когда каждое отрадное впечатлѣніе съ силой отзывается въ юной душѣ и заставляетъ дрожать свѣжія струны счастія, уже большое благо; съ другой-же стороны свѣтъ развивалъ въ немъ ту страшную моральную заразу, прививающуюся къ каждой части души, которая называется тщеславіемъ. — Не то свѣтское тщеславіе, которое никогда не довольно тѣмъ кружкомъ, въ которомъ оно живетъ, а вѣчно ищетъ и добивается другаго, въ которомъ ему будетъ тяжело и неловко. Московскій свѣтъ особенно милъ и пріятенъ тѣмъ, что онъ дружелюбенъ и самостоятеленъ въ своихъ сужденіяхъ; ежели человѣкъ разъ принятъ въ немъ, то онъ принятъ вездѣ, обсуженъ всѣми одинаково, и ему нечего добиваться: живи, какъ хочешь и какъ нравится. Но у Сережи, несмотря на то, что онъ былъ умный и энергическій мальчикъ, было тщеславіе молодости. Смѣшно сказать, онъ, — лучшій московскій танцоръ,—мечталъ о томъ, какъ-бы ему попасть въ скучную партію — по полтинѣ — Г. О., о томъ, какъ бы ему, невинному и стыдливому какъ дѣвушка, — попасть на скандалезныя вечера Г-ки З. и сойдтись на ты съ старымъ, сально-развратнымъ холостякомъ Долговымъ. Прекрасныя мечты любви, дружбы и смѣшныя планы тщеславія съ одинаковою прелестью неизвѣстности и силою увлеченія моло-

[1] [«заколдованный круг».]

дости наполняли его воображеніе и какъ-то странно путались въ немъ.

На балахъ нынѣшней зимы, которые были для него первыми въ жизни, онъ встрѣчалъ Графиню Шöфингъ, которую Князь Корнаковъ, дававшій всѣмъ прозвища, называлъ почему-то *милымъ дебардѣромъ*. Одинъ разъ онъ танцовалъ противъ нея, глаза его встрѣтились съ простодушно-любопытнымъ взглядомъ Графини, и взглядъ этотъ такъ поразилъ его, доставилъ столько наслажденія, что онъ не могъ понять, какъ прежде не былъ безъ памяти влюбленъ въ нее, и внушилъ, Богъ знаетъ почему, столько страха, что онъ сталъ смотрѣть на нее какъ на существо необыкновенное, высшее, съ которымъ онъ недостоинъ имѣть ничего общаго, и поэтому нѣсколько разъ убѣгалъ случаевъ быть ей представлену.

Графиня Шöфингъ соединяла въ себѣ всѣ условія, чтобы внушить любовь, въ особенности такому молодому мальчику, какъ Сережѣ. Она была необыкновенно хороша и хороша какъ женщина и ребенокъ: прелестные плечи, стройный гибкій станъ, исполненные свободной граціи движенія и совершенно дѣтское личико, дышащее кротостью и веселіемъ. Кромѣ того, она имѣла прелесть женщины, стоящей въ главѣ высшаго свѣта; а ничто не придаетъ женщинѣ болѣе прелести, какъ репутація прелестной женщины. — Графиня Шöфингъ имѣла еще очарованіе, общее очень немногимъ, это очарованіе простоты — не простоты, противуположной афектаціи, но той милой наивной простоты, которая такъ рѣдко встрѣчается, что составляетъ самую привлекательную оригинальность въ свѣтской женщинѣ. Всякій вопросъ она дѣлала просто и также отвѣчала на всѣ вопросы; въ ея словахъ никогда не замѣтно было и тѣни скрытой мысли; она говорила все, что приходило въ ея хорошенькую умную головку, и все выходило чрезвычайно мило. Она была одна изъ тѣхъ рѣдкихъ женщинъ, которыхъ всѣ любятъ, даже тѣ, которые должны бы были завидовать.

И странно, что такая женщина отдала безъ сожалѣнія свою руку Графу Шöфингъ. Но вѣдь она не могла знать, что кромѣ тѣхъ сладкихъ любезностей, которые говорилъ ей ея женихъ, существуютъ другія рѣчи, что кромѣ достоинствъ — отлично танцовать, прекрасно служить и быть любимымъ всѣми почтенными старушками — достоинства, которыми вполнѣ обладалъ Г. Шöфингъ — существуютъ другія достоинства, что кромѣ той приличной мирной свѣтской жизни, которую устроилъ для нея ея мужъ, существуетъ другая жизнь, въ которой можно найдти любовь и счастіе. Да кромѣ того, надо отдать справедливость Г. Шöфингъ, лучше его не было во всѣхъ отношеніяхъ жениха; даже сама Наталья Аполоновна сказала въ носъ: «c'est un excellent parti, ma chère».[1] Да и чего ей желать еще?

[1] [это прекрасная партия, моя дорогая.]

всѣ молодые люди, которыхъ она до сихъ поръ встрѣчала въ свѣтѣ, такъ похожи на ея Jean и, право, нисколько не лучше его; поэтому влюбиться ей в голову не приходило — она воображала, что любитъ своего мужа, — а жизнь ея сложилась такъ хорошо! она любитъ танцовать и танцуетъ; любитъ нравиться и нравится; любитъ всѣхъ своихъ хорошихъ знакомыхъ, и ее всѣ очень любятъ. —

III.

Зачѣмъ описывать подробности бала? Кто не помнитъ того страннаго, поразительнаго впечатлѣнія, которое производили на него: ослѣпительный свѣтъ тысячи огней, освѣщающихъ предметы со всѣхъ сторонъ и ни съ одной — не кладущихъ тѣни, блескъ брильянтовъ, глазъ, цвѣтовъ, бархата, шолку, голыхъ плечъ, кисеи, волосъ, черныхъ фраковъ, бѣлыхъ жилетовъ, атласныхъ башмачковъ, пестрыхъ мундировъ, ливрей; запаха цвѣтовъ, душковъ женщинъ; звуковъ тысячи шаговъ и голосовъ, заглушаемыхъ завлекательными, вызывающими звуками какихъ-нибудь вальсовъ или полекъ; и безпрерывное сочетаніе и причудливое сочетаніе всѣхъ этихъ предметовъ? Кто не помнитъ, какъ мало онъ могъ разобрать подробности, какъ всѣ впечатлѣнія смѣшивались, и оставалось только чувство[1] или веселья, все казалось такъ легко [?], свѣтло, отрадно, сердце билось такъ сильно, или казалось ужасно тяжело, грустно.

Но чувство, возбуждаемое баломъ, было совершенно различно въ двухъ нашихъ знакомыхъ.

Сережа былъ такъ сильно взволнованъ, что замѣтно было, какъ скоро и сильно билось его сердце подъ бѣлымъ жилетомъ, и что ему отчего-то захватывало дыханіе, когда онъ вслѣдъ за К[няземъ] Корнаковымъ, пробираясь между разнообразною, движущеюся толпою знакомыхъ и незнакомыхъ гостей, подходилъ къ хозяйкѣ дома. Волненіе его еще усилилось въ то время, когда онъ подходилъ къ большой залѣ, изъ которой яснѣй стали долетать звуки вальса.[2] Въ залѣ было и шумнѣе, и свѣтлѣе, и тѣснѣе, и жарче, чѣмъ въ первой комнатѣ. Онъ отыскивалъ глазами Графиню Шöфингъ, ея голубое платьѣ, въ которомъ онъ видѣлъ ее на прошедшемъ балѣ. (Впечатлѣніе это было такъ еще свѣже въ его воображеніи, что онъ не могъ себѣ представить ее въ другомъ платьѣ.) Вотъ голубое платье; но это не ея волосы; это какіе-то дурные рыжіе волосы, и какіе плечи и грубыя черты: какъ могъ онъ такъ ошибиться? Вотъ вальсируетъ женщина въ голубомъ; не она ли? Но вотъ вальсирующая пара поровнялась съ нимъ, и какое разочарованіе!

---

[1] *Перед этим словом зачеркнуто то же слово:* или

[2] *Окончательный текст получился путем вычеркивания и исправления из следующего первоначального:* звуки однаго изъ тѣхъ новыхъ вальсовъ, которые столько же слабы въ музыкальномъ, сколько хороши въ бальномъ отношеніи.

Хотя эта женщина очень недурна; но ему она кажется хуже грѣха смертнаго. Такъ трудно какой бы то ни было красотѣ выдержать сравненіе съ развившимся въ его воображеніи во всей чудной прелести воспоминанія образомъ его любви. Неужели ея еще нѣтъ? Какъ скучно, пусто на балѣ! Какія у всѣхъ несносныя скучающія лица! И зачѣмъ, кажется, собрались они всѣ? Но вотъ кружокъ, отдѣльный отъ всѣхъ другихъ; въ немъ очень немного дѣйствующихъ лицъ; но зато какъ много зрителей, смотрящихъ съ завистью, но не проникающихъ въ него. И странно, почему эти зрители, несмотря на сильнѣйшее желаніе, не могутъ переступить эту границу, этотъ волшебный кругъ. Сережа пробирается въ середину кружка. Тутъ у него больше знакомыхъ, нѣкоторые издалека улыбаются ему, другіе подаютъ руки; но кто это въ бѣломъ платьѣ съ простой зеленой куафюркой на головѣ стоитъ подлѣ высокаго К[нязя] Корнакова и, закинувъ назадъ русую головку, наивно глядитъ ему въ глаза и говоритъ съ нимъ? Это она! Поэтическій образъ женщины въ голубомъ платьѣ, который съ прошлаго бала не выходилъ изъ его воображенія, мгновенно замѣняется образомъ, который кажется ему еще прелестнѣе и живѣе — той-же женщины въ бѣломъ платьѣ и зеленой куафюркѣ. Но отчего-же ему вдругъ дѣлается неловко? Онъ не знаетъ хорошенько: держать ли шляпу въ лѣвой или въ правой рукѣ, съ безпокойствомъ оглядывается вокругъ себя и отыскиваетъ глазами кузину или хорошаго знакомаго, съ которымъ-бы онъ могъ заговорить и скрыть свое смущеніе; но на бѣду всѣ окружающіе его лица ему незнакомы, и ему кажется, что въ выраженіи лицъ ихъ написано: «comme le *petit* Ivine est ridicule!»[1] Слава Богу, кузина подзываетъ его, и онъ идетъ вальсировать съ ней.— Князь Корнаковъ, напротивъ того, также спокойно, раскланиваясь знакомымъ мущинамъ[2] и женщинамъ, проходилъ первыя комнаты, входилъ въ большую залу и присоединялся къ отдѣльному кружку, какъ-бы онъ входилъ въ свою спальню, и съ тѣмъ-же предзнаніемъ того, что онъ долженъ встрѣтить, съ которымъ чиновникъ, приходя въ Отдѣленіе, пробирается въ знакомый уголъ къ своему столу. Онъ такъ хорошо знаетъ каждаго, и его всѣ такъ хорошо знаютъ, что у него для каждаго готово занимательное, забавное или любезное словечко (о томъ, что интересуетъ его). Почти съ каждой есть начатой разговоръ, шуточка, общія воспоминанія. — (Для него ничто не можетъ быть неожиданностью: онъ слишкомъ порядочный человѣкъ и живетъ въ слишкомъ порядочномъ кругу, чтобы съ нимъ могло случиться что нибудь непріятное; ожидать же удовольствія отъ бала онъ давно уже отвыкъ.) Ему не только не тяжело и не неловко, какъ Сережѣ, проходить черезъ эти 3 гостиныя,

[1] [«как он смешон, *маленький* Ивин!»]
[2] *В подлиннике:* мущчинамъ

наполненныя народомъ, а несносно видѣть все одни знакомыя лица, давно оцѣненныя имъ, и которыя,[1] что бы онъ ни дѣлалъ, съ своей стороны никакъ не перемѣнили бы о немъ мнѣніе, къ которымъ, однако, нельзя не подойдти и, по какой-то странной привычкѣ говорить, не сказать неинтересныхъ ни для того, ни для другаго словъ, нѣсколько разъ уже слышанныхъ и сказанныхъ. Онъ такъ и дѣлаетъ; но всетаки скука — преобладающее въ его душѣ чувство въ эти минуты.[2] Даже единственный интересъ человѣка, какъ Князь, не принимающаго прямаго участія въ балѣ, т. е. не играющаго и не танцующаго, — наблюденія, ни въ какомъ отношеніи не могутъ представить ему ничего ни новаго, ни занимательнаго. Подойдетъ-ли онъ къ разговаривающимъ групамъ въ гостинныхъ, они составлены все изъ тѣхъ-же лицъ, канва разговора ихъ все та-же самая: вотъ Д., имѣющая репутацію московской красавицы, платье ея, лицо, плечи, все прекрасно безукоризненно; но все то-же пошло-безстрастное выраженіе во взглядѣ и постоянной улыбкѣ, и ея красота производитъ на него впечатлѣніе досады; около нея, какъ и всегда, увиваются: молодой М., про котораго говорятъ, что онъ, правда, дуренъ, но за то чрезвычайно остроум[енъ], милъ; онъ въ душѣ находитъ, что Д. самая несносная женщина въ мірѣ; но волочится за ней только потому, что она первая женщина въ московскомъ свѣтѣ; петербургскій щеголь Ф., который хочетъ смотрѣть свысока на московскій свѣтъ и котораго за это никто терпѣть не можетъ, и т. д. Вотъ миленькая московская барышня Annette З., которая, Богъ знаетъ почему, не выходитъ столько времени замужъ, слѣдовательно, тутъ-же гдѣ-нибудь и послѣдняя ея надежда, баронъ со стеклушкомъ и дурнымъ французскимъ языкомъ, который цѣлый годъ сбирается на ней жениться и, разумѣется, никогда не женится. Вотъ маленькій черномазый адъютантикъ съ большимъ носомъ, который въ полной увѣренности, что любезность въ нынѣшнемъ вѣкѣ состоитъ въ томъ, чтобы говорить непристойности, и помирая со смѣху разсказываетъ что-то старой эманципированной дѣвѣ Г... Вотъ старая толстая Р....., которая такъ долго продолжаетъ быть неприличною, что это перестало быть оригинальнымъ, а сдѣлалось просто гадко ⟨и всѣ отшатнулись отъ нея⟩; около нея вертятся еще, однако, какой-то армейскій гусаръ и молоденькій студентъ, воображающіе, бѣдняги, поднятьеся этимъ во мнѣніи свѣта. Подойдетъ ли къ карточнымъ столамъ, — опять на тѣхъ-же мѣстахъ, что и 5 лѣтъ тому назадъ, стоятъ столы и сидятъ тѣ же лица. ⟨Бывшій откупщикъ не похудѣлъ нисколько, играетъ также хорошо и неучтиво. Старый Генералъ какъ и всегда платитъ дань маленькому сухому человѣчку, который сгорбившись надъ столомъ⟩ Даже пріемы

[1] *После слова:* которыя *въ подлинникѣ:* ни въ
[2] *В подлинникѣ:* въ эти минуту.

тасовать, сдавать карты, сбирать взятки [*2 неразобр.*] и говорить игорныя шуточки каждаго давно извѣстны ему. Вотъ старый Генералъ, съ котораго берутъ постоянную дань, несмотря на то, что онъ сердится и кричитъ на всю комнату, особенно сухой человѣчекъ, который, сгорбившись, молча сидитъ передъ нимъ и только изрѣдка изъподлобья взглядываетъ на него. Вотъ молодой человѣкъ, который тѣмъ, что играетъ въ карты, хочетъ доказать, что все ему надоѣло. Вотъ три старыя барыни поймали несчастнаго партнёра по 2 копѣйки, и бѣдный готовъ отдать всѣ деньги, что у него есть въ карманѣ, — отступнаго.

Корнаковъ подходитъ къ столамъ, желаетъ выигрывать; одни не замѣчаютъ его, другіе не оглядываясь подаютъ руки, третьи просятъ присѣсть.....Пойдетъ ли въ залы, гдѣ танцуютъ: вотъ вертятся 5 или 6 студентовъ, два пріѣзжихъ Гвардейца и вѣчные недоросли, молодые по лѣтамъ, но состарѣвшіеся на московскомъ паркетѣ — Негичевъ, Губковъ, Тамаринъ, два или три устарѣвшіе московскіе льва, которые уже не танцуютъ, а только любезничаютъ, или ежели рѣшаются пригласить даму, то дѣлаютъ съ такимъ выраженіемъ, которое можно перевести такъ: посмотрите, какъ я рѣзвлюсь.

Вотъ въ кругу кавалеровъ стоятъ какъ и всегда неизвѣстные, неподвижные фраки, зрители, которые, Богъ одинъ знаетъ зачѣмъ, пріѣхали сюда; только изрѣдка между ними замѣтно движеніе, показывается смельчакъ, робко или слишкомъ смѣло проходитъ черезъ пустой кругъ, приглашаетъ, можетъ быть, единственную знакомую ему даму, дѣлаетъ съ ней, несмотря на то, что ей это весьма непріятно, нѣсколько туровъ вальса и опять скрывается за стѣной стоящихъ мущинъ. Вообще въ московскомъ свѣтѣ мущины раздѣляются на два разряда: или на недоученных мальчиковъ, смотрящихъ на свѣтъ слишкомъ серѣзно, или на устарѣлыхъ львовъ, смотрящихъ или показывающихъ, что смотрятъ на него, слишкомъ свысока.[1]

Какія нибудь жалкія, ни съ кѣмъ не знакомыя, но приглашенныя по происканъ родственницъ барышни сидятъ около стѣнъ и дурнѣютъ отъ злости за то, что, несмотря на ихъ прекрасные туалеты, стоившіе, можетъ быть, мѣсячнаго труда, никто съ ними танцовать не хочетъ. — Всего не перескажешь, но дѣло въ томъ, что для К[нязя] Корнакова все это страшно старо. Хотя много старыхъ лицъ сошло и много новыхъ выступило на свѣтскую арену за его время, но отношенія, разговоры, дѣйствія этихъ лицъ все тѣ-же самыя. Матерьяльная часть бала, даже буфетъ, ужинъ, музыка, убранство комнатъ, все до

---

[1] *Здесь кончается вторая редакция рассказа дающая его беловой текст. Дальше воспроизводится текст первой, черновой редакции, начиная с места, непосредственно примыкающего к беловому тексту.*

того хорошо извѣстно Князю, что ему иногда становится невыносимо гадко 20$^{ть}_{=}$ разъ видѣть все одно и то же. Князь Корнаковъ былъ одинъ изъ тѣхъ богатыхъ, пожилыхъ холостяковъ, для которыхъ свѣтъ сдѣлался необходимѣйшею и вмѣстѣ скучнѣйшею изъ потребностей; необходимѣйшею потому, что въ первой молодости, занявъ безъ труда первое мѣсто въ свѣтѣ, самолюбіе не позволяло ему испытывать себя на другой, неизвѣстной дорогѣ въ жизни и даже допускать возможность другаго образа жизни; скучнѣйшею-же потребностью сдѣлался для него свѣтъ потому, что онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы давно не разглядѣть всю пустоту постоянныхъ отношеній людей, не связанныхъ между собою ни общимъ интересомъ, ни благороднымъ чувствомъ, а полагающихъ цѣль жизни въ искуственномъ поддержаніи этихъ постоянныхъ отношеній. Душа его всегда была полна безсознательной грусти о даромъ потерянномъ прошедшемъ и ничего не обѣщающемъ будущемъ, но тоска эта выражалась не тоскою и раскаяніемъ, а желчною, свѣтскою болтовнею — иногда рѣзкою, иногда пустою; но всегда умною и благородно оригинальною. Онъ принималъ такъ мало участія въ дѣлахъ свѣта, смотрѣлъ на него такъ равнодушно, какъ бы сказать à vol d'oiseau,[1] что не могъ приходить ни съ кѣмъ въ столкновеніе; поэтому никто не любилъ его, никто и не нелюбилъ; но всѣ смотрѣли съ тѣмъ особеннымъ уваженіемъ, которымъ пользуются люди, *составляющіе свѣтъ*.

IV.

Увлеченіе.

«Encore un tour je t'en prie»,[2] говорилъ Сережа своей кузинѣ, обхвативъ ея тоненькую талію и съ разгорѣвшимся лицомъ, легко и граціозно, проносясь въ вальсѣ уже 10-й разъ черезъ всю залу.

«Нѣтъ, довольно, я уже устала», — отвѣчала улыбаясь хорошенькая кузина, снимая руку съ его плеча.

Сережа принужденъ былъ остановиться и остановиться именно подлѣ той двери, у которой, небрежно облокотившись, съ обычнымъ выраженіемъ самодовольнаго спокойствія, стоялъ Князь Корнаковъ и что-то говорилъ ⟨хорошенькой⟩ Графинѣ Шёфингъ.

«Вотъ онъ самъ, — сказалъ онъ, указывая глазами на Сережу. — Подойдите къ намъ, — прибавилъ онъ ему, въ то же время почтительно кланяясь хорошенькой кузинѣ. — Графиня желаетъ, чтобы вы были ей представлены».

«Я очень давно желалъ имѣть эту честь», — съ дѣтски-смущеннымъ видомъ проговорилъ Сережа кланяясь.

---

[1] [с высоты птичьего полета,]

[2] [Еще тур, пожалуйста,]

«Этаго однако нельзя было замѣтить до сихъ поръ», — отвѣчала Графиня, съ простодушной улыбкой глядя на него.

Сережа молчалъ и, краснѣя все болѣе и болѣе, придумывалъ, что бы сказать кромѣ банальности, ⟨а кромѣ банальности онъ не зналъ, что сказать⟩. Князь Корнаковъ, казалось, съ большимъ удовольствіемъ смотрѣлъ на искреннее смущеніе молодаго человѣка, но замѣтивъ, что оно не прекращается и даже, несмотря на всю свѣтскую рутину Графини, сообщается и ей, сказалъ:

«Accorderez vous un tour de valse M-me la Comtesse?[1] Графиня, зная, что онъ давно уже не танцуетъ, съ удивленіемъ посмотрѣла на него.

«Pas à moi, M-me la Comtesse; je me sens trop laid et trop vieux pour prétendre à cet honneur».[2]

«Вы меня извините, любезный сынъ, что я взялъ на себя роль вашего переводчика», — прибавилъ онъ ему. — Сережа поклонился. Графиня встала передъ нимъ, молча согнула хорошенькую ручку и подняла ее на уровень плеча; но только что Сережа обвилъ рукою ея станъ, музыка замолчала, и они стояли такъ до тѣхъ поръ, пока музыканты, замѣтивъ знаки, которые подавалъ имъ Князь, снова заиграли вальсъ. Никогда не забудетъ Сережа этихъ нѣсколькихъ секундъ, во время которыхъ онъ раза два то сжималъ, то оставлялъ талію своей дамы.

Сережа не чувствовалъ, какъ скользили его ноги по паркету; ему казалось, что онъ уносится все дальше и дальше отъ окружающей его пестрой толпы. Всѣ жизненныя силы его сосредоточивались въ чувствѣ слуха, заставлявшемъ его, повинуясь звукамъ музыки, то умѣрять рѣзвость движенія, то кружиться быстрѣе и быстрѣе, въ ощущеніи стана Графини, который такъ согласовался со всѣми его движеніями, что, казалось, слился съ нимъ въ одно; и во взглядѣ, который онъ отъ времени до времени, съ непонятнымъ для самаго себя смѣшаннымъ чувствомъ наслажденія и страха, останавливалъ то на бѣломъ плечѣ Графини, то на ея свѣтлыхъ голубыхъ глазахъ, слегка подернутыхъ какою-то влажною плевою, придававшей имъ необъяснимое выраженіе нѣги и страсти.

«Ну посмотрите, пожалуйста, что можетъ быть лучше этой парочки? — говорилъ Князь Корнаковъ, обращаясь къ кузинѣ Сережи. — Вы знаете, моя страсть сводить хорошенькихъ». —

«Да, теперь Serge[3] совершенно счастливъ».

«Не только Serge, но я увѣренъ, что и Графинѣ пріятнѣе танцовать съ нимъ, чѣмъ съ такимъ старикомъ, какъ я».

---

[1] [Разрешите тур вальса, графиня?]

[2] [Не мне, графиня; я чувствую себя слишком некрасивым и старым, чтобы претендовать на эту честь.]

[3] *Написано над вачеркнутым:* Alexandrэ

«Вы рѣшительно хотите, чтобы я вамъ сказала, что вы еще не стары».

«За кого вы меня принимаете? Я очень хорошо знаю, что я еще не старъ; но я хуже — я надоѣлъ, выдохнулся, такъ, какъ и всѣ эти господа, которые однако этаго никакъ понять не могутъ; а Сережа, во-первыхъ, новость, во-вторыхъ, женщина не можетъ себѣ представить, мнѣ кажется, и желать мущину лучше его. Ну посмотрите, что это за прелесть! — продолжалъ [онъ], съ улыбкой наслажденія глядя на нихъ. — И она какъ мила! Я рѣшительно влюбленъ въ нихъ.....»

«Я непремѣнно скажу это Лизѣ» (такъ звали Гр. Шöфингъ).

«Нѣтъ, ужъ я давно извинялся передъ Графиней, что до сихъ поръ не влюбленъ въ нее — она знаетъ, что это происходитъ единственно потому, что я ужъ не могу влюбляться; но я влюбленъ въ нихъ обоихъ — въ парочку».

Не одинъ Князь Корнаковъ любовался вальсирующими Сережей и Гр. Шöфингъ; но всѣ нетанцующіе невольно слѣдили глазами за ними — одни съ чистымъ наслажденіемъ видѣть прекрасное, другіе съ досадой и завистью. —

Сережа такъ былъ взволнованъ совокупнымъ впечатлѣніемъ движенія, музыки и любви, что когда Графиня попросила его привести ее на мѣсто и, поблагодаривъ его улыбкой, снимала руку съ его плеча, ему вдругъ пришло желаніе, отъ котораго онъ едва могъ удержаться — воспользоваться этой минутой, чтобы поцѣловать ее.

Невинный юноша въ первый разъ въ жизни испытывалъ чувство любви: смутныя желанія, которыми оно наполняло его душу, были для него непонятны — онъ не остерегался ихъ, не боялся предаваться имъ.

V.

(Невинность.)

VI.

Любовь.

Цѣлый балъ прошелъ для влюбленнаго Сережи, какъ чудный, обольстительный сонъ, которому хочется и страшно вѣрить. У Графини оставалась одна 6-я кадриль, и она танцовала ее съ нимъ. Разговоръ ихъ былъ обыкновенный бальный разговоръ; но для Сережи каждое слово имѣло особенное значеніе,— значеніе улыбки, взгляда, движенья. Во время кадрили, признанный поклонникъ Графини, Д., подсѣлъ къ нимъ. (Сережа объяснялъ себѣ это почему-то тѣмъ, что Д. принимаетъ его за мальчика, и почувствовалъ къ нему какое-то чрезвычайно непріязненное чувство);[1] но Графиня была особенно мила и

[1] *В подлинникѣ нет закрывающей скобки.*

добра къ своему новому знакомому; она говорила съ Д. особенно сухо; но за то какъ только обращалась къ Сережѣ, въ улыбкѣ и взглядѣ ея выражалось удовольствіе. Ничто такъ тѣсно не соединяется и такъ часто не разрушаетъ одно другое, какъ любовь и самолюбіе. Теперь же эти двѣ страсти соединились вмѣстѣ, чтобы окончательно вскружить бѣдную, молодую голову Сережи. Въ мазуркѣ Графиня два раза выбирала его, и онъ два раза выбралъ ее. Дѣлая одну из фигуръ, она дала ему свой букетъ. Сережа вырвалъ изъ него вѣточку и спряталъ въ перчатку. Графиня замѣтила это и улыбнулась.

Графиня не могла оставаться ужинать. Сережа провожалъ ее до лѣстницы.

«Надѣюсь васъ видѣть у себя», — сказала она, подавая ему руку. —

«Когда позволите?»

«Всегда».

«Всегда?!» — повторилъ онъ взволнованнымъ голосомъ и невольно пожалъ маленькую ручку, которая довѣрчиво лежала въ его рукѣ. Графиня покраснѣла, ручка ея задрожала — хотѣла-ли она отвѣтить на пожатіе или освободиться? Богъ знаетъ — робкая улыбка задрожала на ея крошечномъ розовомъ ротикѣ, и она сошла съ лѣстницы.

Сережа былъ невыразимо счастливъ. Вызванное въ его юной душѣ въ первый разъ чувство любви не могло остановиться на одномъ предметѣ, оно разливалось на всѣхъ и на все. Всѣ казались ему такими добрыми, любящими и достойными любви. Онъ остановился на лѣстницѣ, вынулъ оторванную вѣтку изъза перчатки и нѣсколько разъ съ восторгомъ, заставившимъ выступить слезы на его глазахъ, прижалъ ее къ губамъ. —

«Что, довольны-ли вы *милымъ дебардеромъ*?» — спросилъ его Князь Корнаковъ. —

«Ахъ, какъ я вамъ благодаренъ! Я никогда не былъ такъ счастливъ», — отвѣчалъ онъ съ жаромъ сжимая его руку. —

VII.

А она могла бы быть счастл[ива].

Пріѣхавъ домой, Графиня по привычкѣ спросила о Графѣ. Онъ еще не возвращался. Въ первый разъ ей было пріятно слышать, что его нѣтъ. Ей хотѣлось хоть на нѣсколько часовъ отдалить отъ себя дѣйствительность, показавшуюся ей съ нынѣшняго вечера тяжелою, и пожить одной съ своими мечтами. Мечты были прекрасныя.

Сережа былъ такъ мало похожъ на всѣхъ тѣхъ мущинъ, которые окружали ее до сихъ поръ, что онъ не могъ не остановить ея вниманія. Въ его движеніяхъ, голосѣ, взглядѣ лежалъ какой-то особенный отпечатокъ юности, откровенности, теплоты

душевной. Типъ невиннаго мальчика, неиспытавшаго еще порывовъ страстей и порочныхъ наслажденій, который у людей, неуклоняющихся отъ закона природы, долженъ бы быть такъ обыкновененъ и кнесчастью такъ рѣдко встрѣчающійся между ними, былъ для Графини, жившей всегда въ этой неестественной сфере, называемой свѣтомъ, ⟨но неутратившей въ ней, благодаря своей счастливой, особенно простой и доброй натурѣ, любви ко всему истинно-прекрасному — былъ для нея⟩ самою увлекательною прелестною новостью.

По моему мнѣнію, въ ночномъ бѣломъ капотѣ и чепчикѣ она была еще лучше, чѣмъ въ бальномъ платьѣ. Забравшись съ ножками на большую кровать и облокотившись ручкой на подушки, она пристально смотрѣла на блѣдный свѣтъ лампы. На хорошенькомъ ротикѣ остановилась грустная полуулыбка.—

«Можно взойдти, Лиза?» — спросилъ голосъ Графа за дверью. —

«Войди», — отвѣчала она, не перемѣняя положенія.

«Весело-ли тебѣ было, мой другъ?» — спросилъ Графъ, цѣлуя ее. —

«Да».

«Что ты такая грустная, Лиза, ужъ не на меня-ли ты сердишься?»

Графиня молчала, и губки ея начинали слегка дрожать, какъ у ребенка, который собирается плакать.

«Неужели ты точно на меня сердишься за то, что я играю. Успокойся, мой дружокъ, нынче я все отыгралъ и больше играть не буду....»

«Что съ тобой?» — прибавилъ онъ, нѣжно цѣлуя ея руки ⟨замѣтивъ слезы, которыя вдругъ потекли изъ ея глазъ⟩. —

Графиня не отвѣчала, а слезы текли у нея изъ глаз. Сколько ни ласкалъ и ни допрашивалъ ея Графъ, она не сказала ему, о чемъ она плачетъ; а плакала все больше и больше.

Оставь ее, человѣкъ безъ сердца и совѣсти. Она плачетъ именно о томъ, что ты ласкаешь ее, что имѣешь право на это; о томъ, что отрадныя мечты, наполнявшія ея воображеніе, разлетѣлись, какъ паръ, отъ прикосновенія дѣйствительности, къ которой она до нынѣшняго вечера была равнодушна, но которая стала ей отвратительна и ужасна съ той минуты, какъ она поняла возможность истинной любви и счастія.

VIII.

Знакомст[во] со всѣм[и] уважаем[ымъ] барин[омъ].

«Что, скучаешь? любезный сынъ», — сказалъ Князь Корнаковъ Сережѣ, который съ какимъ-то страннымъ выраженіемъ равнодушія и безпокойства ходилъ изъ комнаты въ комнату, не принимая участія ни въ танцахъ, ни въ разговорахъ.

«Да, — отвѣчалъ онъ улыбаясь, — хочу уѣхать».

«Поѣдемъ ко мнѣ, — nous causerons».[1]

«Надѣюсь, ты здѣсь не остаешься ужинать, Корнаковъ?» — спросилъ проходившій въ это время съ шляпой въ рукахъ твердымъ, увѣреннымъ шагомъ черезъ толпу, собравшуюся у двери, толстый, высокій мущина лѣтъ 40, съ опухшимъ, далеко некрасивымъ, но чрезвычайно нахальнымъ лицомъ.

«Ты кончилъ ужъ партію?»

«Слава Богу, успѣлъ до ужина и бѣгу отъ фатальнаго маіонеза съ русскими трюфелями, тухлой стерляди и тому подобныхъ любезностей»... кричалъ онъ почти на всю залу. —

«Гдѣ ты будешь ужинать?»

«Или у Трахманова, ежели онъ не спитъ, или въ Новотроицкомъ; поѣдемъ съ нами. Вотъ и Аталовъ ѣдетъ». —

«Что, поѣдемъ, Ивинъ?» — сказалъ Князь Корнаковъ. — Вы знакомы?» ⟨прибавилъ онъ толстому Господину.⟩ —

Сережа сдѣлалъ отрицательный знакъ головою. —

«Сергѣй Ивинъ, сынъ Марьи Михайловны», — сказалъ Князь.

«Очень радъ, — сказалъ толстый господинъ, не глядя на него, подавая свою толстую руку и продолжая идти дальше. — Пріѣзжайте же скорѣй». —

Я полагаю, что ни для кого не нужно подробное описаніе типа толстаго Господина, котораго звали Н. Н. Долговымъ. Вѣрно, каждый изъ моихъ читателей, ежели не знаетъ, то видалъ, или по крайней мѣрѣ слыхалъ про Н. Н., поэтому достаточно нѣсколько характеристическихъ признаковъ, чтобы лицо это во всей полнотѣ своей ничтожности и подлости возникло въ его воображеніи. По крайней мѣрѣ это такъ для меня. Богатство, знатность, умѣнье жить, большія разнообразныя способности, погибнувшія или изуродованныя праздностью и порокомъ. Циническій умъ, не останавливающійся ни передъ какимъ вопросомъ и обсуживающій всякій въ пользу низкихъ страстей. Совершенное отсутствіе совѣсти, стыда и понятія о моральныхъ наслажденіяхъ. Нескрытый эгоизмъ порока. Даръ грубаго и рѣзкаго слова. Сладострастіе, обжорство, пьянство; презрѣніе ко всему, исключая самаго себя. Взглядъ на вещи только съ 2-хъ сторонъ: со стороны наслажденія, которое они могутъ доставить, и ихъ недостатковъ, и двѣ главныя черты: безполезная, безцѣльная, совершенно праздная жизнь и самый гнусный развратъ, который онъ не только не скрываетъ, а какъ будто находя достоинство въ своемъ цинизмѣ, съ радостью обнаруживаетъ. Про не[го] говорятъ, что онъ дурной человѣкъ; но всегда и вездѣ его уважаютъ и дорожатъ связями съ нимъ; онъ это знаетъ, смѣется и еще болѣе презираетъ людей. И какъ ему не презирать того, что называютъ добродѣтелью, когда онъ всю жизнь попиралъ ее и всетаки по своему счастливъ, т. е. страсти его удовлетворены и онъ уважаемъ. —

[1] [поболтаем.]

Сережа былъ въ необыкновенно хорошемъ расположеніи духа. Присутствіе Князя Корнакова, который очень нравился ему и имѣлъ на него почему-то особенное вліяніе, доставляло ему большое удовольствіе. И короткое знакомство съ такимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, какъ толстый господинъ, пріятно щекотало его тщеславіе. Толстый господинъ сначала мало обращалъ вниманія на Сережу; но по мѣрѣ того, какъ *козакъ* половой, котораго, пріѣхавъ въ Новотроицкой, онъ потребовалъ, приносилъ заказанныя растегаи и вино, он становился любезнѣе и, замѣтивъ развязность молодаго человѣка, сталъ съ нимъ говорить (такіе люди какъ Долговъ ничего такъ не нелюбятъ, какъ застѣнчивость),[1] трепать по плечу и чокаться. —

Мысли и чувства влюбленнаго такъ сильно сосредоточены на одинъ предметъ, что онъ не имѣетъ времени наблюдать, анализировать людей, съ которыми встрѣчается; а ничто такъ не мѣшаетъ короткости и свободѣ [2] въ отношеніяхъ, какъ склонность, въ особенности очень молодыхъ людей, не брать людей за то, чѣмъ они себя показываютъ, а допытываться ихъ внутреннихъ, скрытыхъ побужденій и мыслей. —

Кромѣ того Сережа чувствовалъ въ этотъ вечеръ особенную охоту и способность безъ малѣйшаго труда быть умнымъ и любезнымъ.

Знакомство съ отставнымъ Генераломъ, кутилою Долговымъ,[3] бывшее одно время мечтою его тщеславія, теперь не доставляло ему никакого удовольствія. Ему казалось, напротивъ, что онъ дѣлаетъ удовольствіе и честь этому генералу, ежели говоритъ съ нимъ, потому что вмѣсто того, чтобы говорить съ нимъ, онъ могъ-бы говорить съ ней, или думать о ней. Прежде онъ никакъ не смѣлъ говорить Корнакову «ты», хотя этотъ послѣдній часто обращался къ нему въ единственномъ числѣ,[4] теперь онъ совершенно смѣло *тыкалъ* его, и тыканье это доставляло ему необыкновенное удовольствіе. — Ласковый взглядъ и улыбка Графини придали ему болѣе самостоятельности, чѣмъ умъ, красота, кандидатство и всегдашнія похвалы: въ одинъ часъ изъ ребенка сдѣлали мущину. Онъ вдругъ почувствовалъ въ себѣ всѣ тѣ качества мущины, недостатокъ которыхъ ясно сознавалъ въ себѣ: твердость, рѣшимость, смѣлость и гордое сознаніе своего достоинства. Внимательный наблюдатель замѣтилъ-бы даже перемѣну въ его наружности за этотъ вечеръ. Походка стала увѣреннѣе и свободнѣе, грудь выпрямилась, руки не были лишними, голова держалась выше, въ лицѣ изчезла дѣтская округленность и неопредѣленность чертъ, мускулы лба и щекъ выказывались отчетливѣе, улыбка была смѣлѣе и тверже. —

---

[1] *Скобки редактора заключают слова, вписанные между строк.*
[2] *В подлиннике:* свободы
[3] *Надписано над зачеркнутым:* Трахмановымъ,
[4] *В подлиннике:* родѣ

⟨VIII⟩ IX.

⟨Кутежъ.⟩

Веселье.

Въ маленькой задней красной комнатѣ Новотроицкаго трактира, занимаемой только людьми, пользующимися въ этомъ трактирѣ особенной извѣстностью,[1] сидѣли наши 4 знакомые за длиннымъ накрытымъ столомъ.

«Знаете, за чье здоровье», — сказалъ Сережа Князю Корнакову, наливая бокалъ и поднося къ губамъ. Сережа былъ очень красенъ, и въ глазахъ у него было что-то масляное, неестественное.

«Выпьемъ», — отвѣчалъ К[орнаковъ], измѣняя безстрастное скучающее выраженіе своего лица ласковой улыбкой.

Тостъ за здоровье неназываемой особы былъ повторенъ нѣсколько разъ.

Генералъ, снявши галстукъ, съ сигарой въ рукѣ лежалъ на диванѣ, передъ нимъ стояла бутылка коньяку, рюмочка и кусокъ сыру, онъ былъ немного краснѣе и одутловатѣе, чѣмъ обыкновенно, по его наглымъ, нѣсколько сощурившимся глазамъ видно было, что ему хорошо.

«Вотъ это я люблю, — говорилъ онъ, глядя на Сережу, который, сидя передъ нимъ, выпивалъ одинъ бокалъ за другимъ, — когда-[то] было время, что и я пилъ также шампанское. Бутылку выпивалъ за ужиномъ на балѣ, и потомъ какъ ни въ чемъ ни бывало, танцовалъ и былъ любезенъ, какъ никогда».

«Нѣтъ, объ этомъ я не жалѣю, — сказалъ Н. Н., облокотившись на руку и съ грустнымъ выраженіемъ глядя прямо въ прекрасные одушевленные глаза К. — Я еще теперь способенъ выпить сколько хотите, да что? а жалко, что прошло время, когда я также, какъ онъ, пилъ за здоровье и готовъ былъ умереть лучше, чѣмъ отказаться отъ бокала за здоровье когонибудь, когда я бывало добивался, чтобы мнѣ достался непремѣнно le fond de la bouteille,[2] вполнѣ вѣрилъ, что я женюсь на той, за чье здоровье я пилъ этотъ fond de la bouteille.[2] О, ежели бы я только женился на всѣхъ, за кого я выпилъ послѣднюю каплю, сколько бы у меня было чудесныхъ женъ! Ахъ, какихъ чудесныхъ, коли-бы вы знали, Alexandre....», — и онъ махнулъ рукой. — Ну вотъ вашъ le fond de la bouteille, [2] — сказалъ онъ, наливая ему.... — да что я? вамъ не нужно....» — и онъ весело, ласково улыбнулся ему.

«Ахъ,[3] не напоминайте мнѣ, я забылъ про то, что мнѣ не нужно, да и помнить не хочу, мне такъ хорошо теперь», — и глаза его сіяли истиннымъ восторгомъ молодой души, безъ страха предающейся своему первому увлеченію. —

---

[1] *В подлинникѣ:* извѣстности

[2] [последняя капля из бутылки,]

[3] *Абзац редактора.*

— Что это, какъ онъ милъ! — сказалъ Н. Н., поворачиваясь къ Генералу, — ты не можешь себѣ представить, какъ онъ мнѣ меня напоминаетъ. — Debouchons le tout-a-fait.[1]

— Да, — сказалъ Генералъ, — знаешь что, мнѣ ⟨давно хотѣлось собрать компанію къ Цыганамъ, нынче я въ духѣ, поѣдемъ.⟩ Allons au b...[2] и его возьмемъ съ собой. —

Черезъ пять минутъ Al[exandre] сидѣлъ уже въ ночныхъ санкахъ Н. Н.; свѣжій, морозный воздухъ рѣзалъ ему лицо, передъ нимъ была толстая спина кучера, тусклые фонари и стѣны домовъ мелькали съ обѣихъ сторонъ. —

Мечты.

«Вотъ я въ деревнѣ, въ которой я родился и провелъ свое дѣтство въ полномъ [3] милыми и дорогими воспоминаніями Семеновскомъ. Весна, вечеръ; я въ саду, на любимомъ мѣстѣ покойной матушки, около пруда, въ березовой аллеѣ, и не одинъ, — со мной женщина, въ бѣломъ платьѣ, съ волосами, просто убранными на прелестной головкѣ; и эта женщина та, которую я люблю, — такъ, какъ я никого не любилъ до сихъ поръ, которую я люблю больше, чѣмъ все на свѣтѣ, больше, чѣмъ самаго себя. Мѣсяцъ тихо плыветъ по подернутому прозрачными облаками небу, ярко отражается вмѣстѣ съ освѣщенными имъ облаками въ зеркальной поверхности тихой воды пруда, освѣщаетъ желтоватую осоку, поросшую зеленыя берега, свѣтлыя бревны плотины, нависшія надъ ней кусты ивы и темную зелень кустовъ распустившейся сирени, черемухи, наполняющей чистый воздухъ какимъ-то весеннимъ отраднымъ запахомъ, и шиповника, густо сросшихъ въ клумбахъ, разбросанныхъ около извилистыхъ дорожекъ, и кудрявыя, неподвижно-висящія, длинные вѣтви высокихъ березъ, нѣжную обильную зелень липъ, составляющихъ прямыя темныя аллеи. За прудомъ, въ глуши сросшихъ деревьевъ громко слышится звучная пѣсня соловья и еще звучнѣе разносится по неподвижной поверхности воды. Я держу нѣжную руку женщины, которую я люблю, смотрю въ эти чудныя большія глаза, взглядъ которыхъ такъ отрадно дѣйствуетъ на душу, она улыбается и жметъ мою руку — она счастлива!»

Глупыя — отрадныя мечты. Глупыя по несбыточности, отрадныя по поэтическому чувству, которымъ исполнены. Пускай онѣ не сбываются — не могутъ сбываться; но почему не увлекаться ими, ежели одно увлеченіе это доставляетъ чистое и высокое наслажденіе? Сашинькѣ въ эту минуту и въ мысль не приходило задать себѣ вопросъ: какимъ образомъ женщина

---

[1] [Раскупорим его окончательно.]
[2] [Поедем в б...]
[3] *В подлиннике:* полным

эта будетъ его женою, тогда какъ она за мужемъ, и, ежели бы это было возможно, хорошо-ли бы это было, т. е. нравственно ли? и какимъ бы образомъ онъ въ такомъ случаѣ устроилъ свою жизнь? Кромѣ минуть любви и увлеченія онъ не воображалъ себѣ другой жизни. Истинная любовь сама въ себѣ чувствуетъ столько святости, невинности, силы, предпріимчивости и самостоятельности, что для нея не существуетъ ни преступленія, ни препятствій, ни всей прозаической стороны жизни.—

Вдругъ сани остановились, и это прекращеніе равномѣрнаго, убаюкающаго движенія разбудило его. ⟨На лѣво отъ него виднѣлось довольно большое для города, пустое, занесенное снѣгомъ мѣсто и нѣсколько голыхъ деревьевъ, направо былъ подъѣздъ низенькаго, нѣсколько криваго сѣренькаго домика съ закрытыми ставнями.

«Что, мы за городомъ?» — спросилъ онъ у кучера.

«Никакъ нѣтъ, евто Патріарши пруды, коли изволите знать, что подлѣ Козихи». —⟩

Н. Н. и веселый Генералъ стояли у подъѣзда. Послѣдній изо всѣхъ силъ то билъ ногою въ шатавшуюся и трещавшую отъ его ударовъ дверь домика, то подергивалъ за заржавѣлую изогнутую проволоку, висѣвшую у притолки, покрикивая при этомъ довольно громко: «Ей, Чавалы! Отпханьте, Чавалы!» Наконецъ послышался шорохъ — звукъ нетвердыхъ, осторожныхъ шаговъ въ туфляхъ, блеснулъ свѣтъ въ ставняхъ, и дверь отворилась. На порогѣ показалась сгорбленная старуха въ накинутомъ на бѣлую рубаху лисьемъ салопѣ и съ сальной оплывшей свѣчей въ сморщенныхъ рукахъ. По первому взгляду на ея сморщенныя рѣзкія энергическія черты, на черные блестящіе глаза и ярко посѣдѣвшіе черные какъ смоль волоса, торчавшіе изъ-подъ платка, и темно-кирпичнаго цвѣта тѣло,[1] ее безошибочно можно было принять за Цыганку. Она поднесла свѣчку на уровень лицъ Н. Н. и Генерала и тотчасъ, какъ замѣтно было, съ радостью узнала ихъ.

«Ахъ, Батюшки, Господи! Мих[аилъ] Ник[олаевичъ], отецъ мой, — заговорила она рѣзкимъ голосомъ и съ какимъ-то особеннымъ, однимъ Цыганамъ свойственнымъ выговоромъ. — Вотъ радость-то! Солнце ты наше красное. Ай, и ты, М. М., давно не жаловалъ, то-то дѣвки наши рады будутъ! Просимъ покорно, пляску сдѣлаемъ!»

«Дома ли ваши?»

«Всѣ, всѣ дома, сейчасъ прибѣгутъ, золотой ты мой. Заходите, заходите». —

«Entrons,[2] — сказалъ Н. Н. и всѣ 4 вошли, не снимая шляпъ и шинелей[3], въ низкую нечистую комнату, убранную, кромѣ

---

[1] *В подлинникѣ:* тѣло цвѣта

[2] [Войдем,]

[3] *В подлинникѣ:* шинель,

опрятности [?] такъ, какъ обыкновенно убираются мѣщанскія комнаты, т. е. съ небольшими зеркалами въ красныхъ рамахъ, съ оборваннымъ диваномъ съ деревянной спинкой, сальными, подъ красное дерево стульями и столами. —

Молодость легко увлекается и способна увлекаться даже дурнымъ, если увлеченіе это происходитъ подъ вліяніемъ людей уважаемыхъ. Al[exandre] забылъ уже свои мечты и смотрѣлъ на всю эту странную обстановку съ любопытствомъ человѣка, слѣдящаго за химическими опытами. Онъ наблюдалъ то, что было, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ того, что выйдетъ изъ всего этаго; а по его мнѣнію должно было выйдти что-нибудь очень хорошее. —

На диванѣ спалъ молодой Цыганъ съ длинными черными курчавыми волосами, косыми, немного страшными, глазами и огромными бѣлыми зубами. Онъ въ одну минуту вскочилъ, одѣлся, сказалъ нѣсколько словъ съ старухой на звучномъ Цыганскомъ языкѣ и сталъ улыбаясь кланяться гостямъ. —

«Кто у васъ теперь дирижёромъ? — спрашивалъ Н. Н.: — давно ужъ я здѣсь не былъ».

«Иванъ Матвѣичь», — отвѣчалъ Цыганъ.

«Ванька?»

«Такъ точно-съ».

«А запѣваетъ кто?»

«И Таня запѣваетъ, и Марья Васильевна».

«Маша, которая у Б. жила ⟨Брянцова⟩? эта хорошенькая? развѣ она опять у васъ?»

«Такъ точно-съ, — отвѣчалъ улыбаясь Цыганъ. — Она приходитъ на пляску иногда».

«Такъ ты сходи за ней, да шампанскаго принеси». —

Цыганъ получилъ деньги и побѣжалъ. Старикъ Генералъ, какъ слѣдуетъ старому Цыганёру, сѣлъ верхомъ на стулъ[1] и вступилъ въ разговоръ съ старухой о всѣхъ старыхъ бывшихъ въ Таборѣ Цы[ган]ахъ и Цы[ганк]ахъ. Онъ зналъ все родство каждой и каждаго. Гвардеецъ толковалъ о томъ, что въ Москвѣ нѣтъ женщинъ, что пріятнаго у Цыганъ ничего быть не можетъ уже только потому, что обстановка ихъ такъ грязна, что внушаетъ отвращеніе всякому порядочному человѣку. Хоть бы позвать ихъ къ себѣ, — то другое дѣло. Н. Н. говорилъ ему, что, напротивъ, Цыгане дома только и хороши, что надобно ихъ понимать и т. д. Alexandre прислушивался къ разговорамъ и хотя молчалъ, въ душѣ былъ на сторонѣ Н. Н., находилъ такъ много оригинальнаго въ этой обстановкѣ, что понималъ, что тутъ должно быть что-нибудь особенное, пріятное. Отъ времени до времени отворялась дверь въ сѣни, въ которую врывался холодный воздухъ, и попарно входили Цыгане, составлявшіе хоръ. Мужчины были одѣты въ голубые, плотно стяги-

[1] *В подлинникѣ:* стуломъ

вающіе ихъ стройныя таліи казакины, шаровары въ сапоги, и всѣ съ длинными курчавыми волосами; женщины въ лисьихъ, крытыхъ атласомъ салопахъ, съ яркими шелковыми платками на головахъ и довольно красивыхъ и дорогихъ, хотя и не модныхъ платьяхъ. Цыганъ принесъ Шампанское, сказалъ, что Маша сейчасъ будетъ, и предлагалъ начать пляску безъ нея. Онъ что-то сказалъ дирижеру, небольшому, тонкому, красивому малому въ казакинѣ съ галунами, который, поставивъ ногу на окно, настраивалъ гитару. Тотъ съ сердцемъ отвѣчалъ что-то; нѣкоторыя старухи присоединились къ разговору, который постепенно становился громче и, наконецъ, превратился въ общій крикъ; старухи съ разгорѣвшимися глазами размахивали руками, кричали самымъ пронзительнымъ голосомъ, Цыгане и нѣкоторыя бабы не отставали отъ другихъ. Въ ихъ непонятномъ для гостей разговорѣ слышалось только часто повторяемое слово: Мака, Мака. Молоденькая, очень хорошенькая дѣвушка Стешка, которую Дирижеръ рекомендовалъ, какъ новую запѣвалу, сидѣла потупя глаза и одна не вступала въ разговоръ. Генералъ понялъ въ чемъ было дѣло. Цыганъ, который ходилъ за Шампанскимъ, обманывалъ, что Мака, т. е. Маша, придетъ, и они хотѣли, чтобы запѣвала Стешка. Вопросъ былъ въ томъ, что Стешкѣ надо было или нѣтъ дать $1^1/_2$ пая.

«Ей Чавалы! — кричалъ онъ, — послушайте, послушайте»,— но никто не обращалъ на него ни малѣйшаго вниманія. Наконецъ кое-какъ онъ успѣлъ добиться того, что его выслушали.

«Мака не придетъ? — сказалъ онъ, — такъ вы такъ и скажите». —

«Повѣрьте моей чести, — сказалъ дирижеръ: — С[тешка] споетъ не хуже ея; а ужъ какъ поетъ «Ночку», такъ противъ нея нѣтъ другой Цыганки, вся манера Танюши, вѣдь изволите всѣхъ нашихъ знать, — прибавилъ онъ, зная, что этимъ льститъ ему. — Извольте ее послушать».

Цыганки, въ нѣсколько голосовъ обратясь къ Г[енералу], говорили то же самое.

«Ну ладно, ладно, габаньте».

«Какую прикажете?» — сказалъ д[ирижеръ], становясь съ гитарой въ рукахъ передъ полукругомъ усѣвшихся Цыганъ.

«По порядку, разумѣется, «Слышишь».

Цыганъ подкинулъ ногой гитару, взялъ аккордъ, и хоръ дружно и плавно затянулъ «Вѣдь ли да какъ ты слы-ы-шишь....»

«Стой, стой! — закричалъ Генералъ: — еще не все въ порядкѣ, — выпьемте».

Г[оспо]да всѣ выпили по стакану гадкаго теплаго шампанскаго. Генералъ подошелъ къ Цыганамъ, вѣлѣлъ встать одной изъ нихъ, бывшей хорошенькой еще во время его молодости, Любашѣ, сѣлъ на ея мѣсто и посадилъ къ себѣ на колѣни. Хоръ снова затянулъ «Слышишь». Сначала плавно, потомъ живѣе и живѣе и наконецъ такъ, какъ поютъ Ц[ыгане] свои пѣсни,

т. е. съ необыкновенной энергіей и неподражаемымъ искуствомъ. Хоръ замолкъ вдругъ неожиданно. Снова первоначальной акордъ, и тотъ же мотивъ повторяется нѣжнымъ сладкимъ звучнымъ голоскомъ съ необыкновенно оригинальными украшеніями и интонаціями, и голосокъ точно также становится все сильнѣе и энергичнѣе и, наконецъ, передаетъ свой мотивъ совершенно незамѣтно въ дружно подхватывающій хоръ. —

Было время, когда на Руси ни одной музыки не любили больше Цыганской; когда Цыгане пѣли русскія стар[инныя] хорошія пѣсни: «Не одна», «Слышишь», «Молодость», «Прости» и т. д. и когда любить слушать Цыганъ и предпочитать ихъ Итальянцамъ не казалось страннымъ. Теперь Цыгане для публики, которая сбирается въ пасажѣ, поютъ водевильные куплеты, «Двѣ дѣвицы», «Ваньку и Таньку» и т. д. Любить Ц[ыганскую] музыку, можетъ быть, даже называть ихъ пѣніе музыкой покажется смѣшнымъ. А жалко, что эта музыка такъ упала. Ц[ыганская] м[узыка] была у насъ въ Россіи единственнымъ переходомъ отъ музыки народной къ музыкѣ ученой. Отчего въ Италіи каждый Лазарони понимаетъ арію Доницети и Россини и наслаждается ею, а у насъ въ «Оскольдовой М[огилѣ]» и «Жизни за Царя» купецъ, мѣщанинъ и т. п. любуются только Декораціями? Я не говорю уже о ит[альянской] м[узыкѣ], которой не сочуствуетъ и 1/100 Русскихъ абонеровъ, а выбралъ такъ называемыя народныя оперы. Тогда какъ каждый Русской будетъ сочувствовать ц[ыганской] п[ѣснѣ], потому что корень ея народный. Но мнѣ скажутъ, что это музыка неправильная. Никто не обязанъ мнѣ вѣрить; но я скажу то, что самъ испыталъ, и тѣ, которые любятъ ц[ыганскую] м[узыку], повѣрятъ мнѣ, а тѣ, которые захотятъ испытать, тоже убѣдятся. Было время, когда я любилъ вмѣстѣ и Ц[ыганскую] и Н[ѣмецкую] м[узыку] и занимался ими. Одинъ очень хорошій музыкантъ, мой пріятель, Нѣмецъ по музыкальному направленію и по происхожденію, спорилъ всегда со мной, что въ Ц[ыганскомъ] хорѣ есть непростительныя музыкальныя неправильности и хотѣлъ (онъ находилъ, какъ и всѣ, соло превосходными)[1] доказать мнѣ это. Я писалъ порядочно, онъ очень хорошо. Мы заставили пропѣть одну пѣсню разъ 10 и записывали оба каждый голосъ. Когда мы сличили обѣ партитуры, дѣйствительно, мы нашли ходы квинтами; но я все не сдавался и отвѣчалъ, что мы могли занисать правильно самые звуки, но не могли уловить настоящаго темпа, и что ходъ квинтами, на который онъ мнѣ указывалъ, былъ ничто иное, какъ подражаніе въ квинтѣ, что-то въ родѣ фуги, очень удачно проведенной. Мы еще разъ стали писать, и Р. совершенно убѣдился въ томъ, что я говорилъ. Надо замѣтить, что всякій разъ, какъ ⟨мы писали⟩ выходило новое, движеніе гармоніи было тоже,

[1] *Скобки редактора.*

но иногда акордъ былъ полнѣе, иногда вмѣсто одной ноты было повтореніе предъидущаго мотива — подражаніе. Заставить-же пѣть отдѣльно каждаго свою партію было невозможно, они всѣ пѣли первый голосъ. Когда-же начинался хоръ, каждый импровизировалъ. —

Да извинятъ меня читатели, которые не интересуются Цыганами [за] это отступленіе; я чувствовалъ, что оно неумѣстно; но любовь къ этой оригинальной, но народной музыкѣ, всегда доставлявшей мнѣ столько наслажденія, преодолѣла. —

Во время перваго куплета Генералъ слушалъ внимательно, иногда улыбался и жмурилъ глаза, иногда хмурился и неодобрительно качалъ головой, потомъ пересталъ слушать и занялся разговоромъ съ Любашей, которая то показывая свои бѣлые, какъ перлы, зубы, улыбаясь, отвѣчала ему, то подтягивала хору своимъ громкимъ альтомъ, строго поглядывая направо и налѣво на Цыганокъ и дѣлая имъ разные жесты руками. Гвардеецъ подсѣлъ къ хорошенькой Стешѣ и, обращаясь къ Н. Н., безпрестанно говоритъ: Charmant, délicieux![1] или подтягиваетъ ей не совсѣмъ удачно, что, какъ замѣтно, заставляетъ перешептываться Цыганокъ и не нравится имъ, одна даже трогаетъ его за руку и говоритъ: позвольте, баринъ. Н. Н. съ ногами залезъ на диванчи[къ], объ чемъ то шепчется съ хорошенькой плясуньей Малашкой. Al[exandre], разстегнувъ жилетъ, стоитъ передъ хоромъ и, какъ видно, съ наслажденіемъ слушаетъ. Онъ замѣчаетъ тоже, что молоденькія Цыганки посматриваютъ на него и, улыбаясь, перешептываются, и онъ знаетъ, что онѣ не смѣются, а любуются имъ, онъ чувствуетъ, что онъ очень хорошенькій мальчикъ. Но вдругъ генералъ поднимается и говоритъ Н. Н.: Non, cela ne va pas sans Машка, ce choeur ne vaut rien, n'est ce pas?[2] Н. Н., который съ самаго бала казался какимъ то соннымъ, апатичнымъ, соглашается съ нимъ. Г. даетъ деньги Бѣдняжке [?] и не приказываетъ величать.

«Partons».[3] Н. Н., зѣвая, отвѣчаетъ: «partons». Гв[ардеецъ] только споритъ; но на него не обращаютъ вниманія. Надѣваютъ шубы и выходятъ.

«Я не могу спать теперь, — говоритъ Генералъ, приглашая Н. садиться въ его карету. — Allons au b.».[4]

«Ich mache alles mit,[5] — говоритъ Н. Н., и снова двѣ кареты и сани катятся вдоль молчаливыхъ темныхъ улицъ. Alexandre въ каретѣ только почуствовалъ, что голова у него очень кружилась, онъ прислонился затылкомъ къ мягкой стѣнкѣ кареты, старался привести въ порядокъ свои запутанныя мысли и не

---

[1] [Прекрасно, очаровательно!]
[2] [Нет, без Машки дело не идет, хор ничего не стоит, не правда ли?]
[3] [Едем.]
[4] [Поедем в б.]
[5] [Я во всем приму участие,]

слушалъ Г[енерала], который говорилъ ему самымъ спокойнымъ, трезвымъ голосомъ: Si ma femme savait que je bamboche avec vous?.....[1]

Карета остановилась. Al[exandre], Г[енералъ], Н . Н. и Г[вардеецъ] вошли по довольно опрятной, освѣщенной лѣстницѣ въ чистую прихожую, въ которой лакей снялъ съ нихъ шинели, и оттуда въ ярко освѣщенную, какъ-то странно, но съ претензіею на роскошь убранную комнату. Въ комнатѣ играла музыка, были какіе то мущины, танцовавшіе съ дамами. Другія дамы въ открытыхъ платьяхъ сидѣли около стѣнъ. — Наши знакомые прошли въ другую комнату. Нѣсколько дамъ прошли за ними. Подали опять Шампанское. — Al. удивлялся сначала странному обращенію его товарищей съ этими дамами, еще болѣе странному языку, похожему на Н[ѣмецкій], которымъ говорили эти дамы между собой. — Alexandre выпилъ еще нѣсколько бокаловъ вина. Н. Н., сидѣвшій на диванѣ рядомъ съ одной изъ этихъ женщинъ, подозвалъ его къ себѣ. — Al[exandre] подошелъ къ нимъ и былъ пораженъ нестолько красотой этой женщины (она была необыкновенно хороша), сколько необыкновеннымъ сходствомъ ея съ Графиней. Тѣже глаза, таже улыбка, только выраженіе ея было неровное, то слишкомъ робкое, то слишкомъ дерзкое. Al[exandre] очутился подлѣ нея и говорилъ съ ней. Онъ смутно помнилъ, въ чемъ состоялъ его разговоръ; но помнилъ, что Исторія Дамы Камелій проходила со всею своею поэтической прелестью въ его раздраженномъ воображеніи, онъ помнилъ, что Н. Н. называлъ ее D[ame] aux C[amélias],[2] говорилъ, что онъ не видалъ лучше женщины, ежели бы только не руки, что сама D[ame] aux C[amélias] молчала, изрѣдка улыбалась и улыбалась такъ, что Al[exandre]у досадно было видѣть эту улыбку; но винные пары слишкомъ сильно ударили въ его молодую, непривычную голову.

Онъ помнилъ еще, что Н. Н. что-то сказалъ ей на ухо и вслѣдъ за этимъ отошелъ къ другой группѣ, образовавшейся около Генерала и Гвардейца, что женщина эта взяла его за руку, и они пошли куда-то. —

Черезъ часъ у подъѣзда этаго же дома всѣ 4 товарища разъѣхались. Al[exandre], не отвѣчая на Adieu [3] Н. Н., сѣлъ въ свою карету и заплакалъ, какъ дитя. Онъ вспомнилъ чувство невинной любви, которое наполняло его грудь волненіемъ и неяснымъ желаніями, и понялъ, что время этой любви невозвратимо прошло для него. — Онъ плакалъ отъ стыда и раскаянія. И чему радовался Генералъ, довозившій домой Н. Н., когда онъ шутя говорилъ: «Le jeune [?] a perdu son pucelage?[4] Да, я ужасно люблю сводить хорошенькихъ.»

---

[1] [Если бы моя жена знала, что я бездельничаю с вами?.....]
[2] [Дама с камелиями,]
[3] [До свиданья]
[4] [Мальчуган потерял свою невинность?]

Кто виноватъ? Неужели Al[exandre], что онъ поддался вліянію людей, которыхъ онъ любилъ, и чувству природы? Конечно, онъ виноватъ; но кто броситъ въ него первый камень? Виноватъ ли и Н. Н. и Генералъ? Эти люди, назначеніе которыхъ дѣлать зло, которые полезны, какъ искусители, придающіе больше цѣны добру? Но виноваты вы, которые терпите ихъ; не только терпите, но избираете своими руководителями. —

За что? Кто виноватъ?

А жалко, что такія прекрасныя существа, такъ хорошо рожденные одинъ для другаго и понявшіе это, погибли ⟨для⟩ любви. Они еще увидятъ другое, можетъ быть и полюбятъ; но какая же это будетъ любовь? Лучше имъ вѣкъ раскаиваться, чѣмъ заглушить въ себѣ это воспоминаніе и преступной любовью замѣнить ту, которую они вкусили хоть на одно мгновеніе.

* ПЛАНЫ «СВЯТОЧНОЙ НОЧИ».

Святочная ночь.

I. ⟨К. Корнаковъ. Встрѣча.⟩ II. Два ребенка. III. Балъ. IV. Увлеченіе. V. Невинность. VI. Любовь. VII. Она могла бы быть счастлива. VIII. ⟨Сережа знакомится со всѣми уважаемымъ господиномъ. IX. Ему весело. X. Кто виноватъ? XI....⟩

Святочная ночь.

I.

II. Два ребенка.
III. Балъ. —
IV. Увлеченіе.
V. Невинность.
⟨VI. Дѣйствительность.⟩
VI[1]. Любовь.
VII. Дѣйствительность.
VIII. Новое знакомство.
IX. Ему очень весело.
X. Мечты.
XI. Кто виноватъ. —
XII. — — — — — — — —

---

[1] *Переделано из:* VII.

ВАРИАНТЫ ИЗ РУКОПИСЕЙ «СВЯТОЧНОЙ НОЧИ».

* № 1 (I ред.).

Пріѣхавъ домой, Г[рафиня] вошла прямо въ спальню. Графа еще не было; она раздѣлась, особенно ласково[1] поговорила съ своей горничной, которая называла ее барышней, отослала ее [?], вся занятая воспоминаніями своего, легла въ постель, приказавъ сказать мужу, что она нездорова, и просить не безпокоить ее. Свернувшись котеночкомъ подъ большимъ одѣяломъ, положивъ хорошенькую головку въ чепчикѣ на подушку, она, слѣдя открытыми глазами за блѣднымъ свѣтомъ лампы,[2] тихо и отрадно мечтала. Ей казалось, что она еще дѣвушка и что въ первый [разъ] встрѣчаетъ этаго милаго мальчика, такъ мало похожаго на всѣхъ окружавшихъ ея. Она воображала себѣ, что говоритъ ему просто: «я люблю васъ Al[exandre]», и Alexandre[3] счастливъ, какъ никто не бывалъ счастливъ: потому что она никому еще не говорила этаго и т. д. У двери постучался кто-то.

«C'est moi, Nathalie».[4]

«Я сказала, что я нездорова».

«Я пришелъ тебѣ сказать добрую вѣсть, что я отыгралъ все и выше 30 т.».

«Ахъ, какъ я рада!»

Nathalie приподнялась.

«Entrez».[5]

«Да, теперь я могу выкупить Подмосковную».

«Точно?»

«Да», — онъ поцѣловалъ ее въ лобъ.

Графиня ⟨поморщилась. Они долго сидѣли и говорили.⟩

Утромъ Графъ проснулся и удивился, увидя, что Графиня сидитъ, спустивъ ножки, и плачетъ навзрыдъ. Она не сказала, о чемъ она плачетъ, и сама-бы не умѣла сказать, ежели бы

---

[1] *В подлиннике:* ласковала

[2] *В подлиннике не зачеркнуто:* она

[3] *В подлиннике не зачеркнуто:* и А.

[4] («Это я, Наташа».)

[5] [«Войдите».]

захотѣла. Она не ненавидѣла своего мужа, но плакала о томъ, что она была женой своего мужа. Кто въ этомъ виноватъ? Не она, бѣдняжка! Выходя замужъ, она не предвидѣла, что будетъ плакать о томъ, что она жена своего мужа.

* № 2.

Скажите вы, люди благоразумные и съ характеромъ, которые, разъ избравъ дорогу въ жизни, ни разу не сбивались съ нея, не позволяя себѣ никакого увлеченія, скажите, неужели можно строго судить молодаго, влюбленнаго мальчика за то, что онъ подъ вліяніемъ любви способенъ поддаваться обаянію дружбы и тщеславія? Вы, можетъ быть, не поймете меня, когда я скажу, что К. былъ влюбленъ, какъ только можетъ быть влюбленъ 18-тилѣтній мальчикъ, и несмотря на это, намёкъ Н. Н., что онъ не долженъ слишкомъ выказывать своей любви Графинѣ, а дожидаться того, чтобы вышло наоборотъ, и нѣсколько словъ, обращенныя къ нему Н. Н., къ которому онъ чувствовалъ какое-то особенное расположеніе, въ первый разъ въ единственномъ числѣ втораго лица, совершенно вскружили ему голову; и онъ остался ужинать въ первой комнатѣ.—

«Сядемъ здѣсь, — сказалъ онъ, подходя къ небольшому столу — на 4 прибора, почти закрытому померанцовыми и лимонными деревьями. — Вы знакомы?» — прибавилъ онъ, указывая на однаго адъютанта и высокаго толстаго Генерала, которые уже сидѣли за столомъ. Знакомства[1] на балѣ за ужиномъ дѣлаются скоро, для молодаго человѣка, который такъ взволнованъ столкновеніями съ женщинами, непривычнымъ еще движеніемъ и разнообразіемъ лицъ, что не имѣетъ время анализировать людей, съ которыми встрѣчается; а анализъ болѣе всего мѣшаетъ сходиться съ людьми. Чѣмъ бы брать людей за то, чѣмъ они себя показываютъ, дѣлаешь предположенія и стараешься дознаться: что они есть. Кромѣ того, К. чувствовалъ въ этотъ вечеръ особенную самостоятельность, охоту и способность быть умнымъ и любезнымъ. Онъ прежде искалъ связей видныхъ, напримѣръ, знакомство съ этимъ Генераломъ-кутилою было его мечтою — кто безъ тщеславія — теперь, напротивъ, ему казалось, что онъ жертвуетъ собою, ежели говоритъ съ кѣмъ-нибудь — не потому, чтобы онъ полагалъ дѣлать этимъ честь — но потому, что вмѣсто того, чтобы говорить съ нимъ, онъ могъ бы говорить съ нею, или по крайней мѣрѣ думать о ней. Теперь ему никого не нужно. Ласковая улыбка и взглядъ Графини придали ему болѣе сознанія своего достоинства, чѣмъ Гр[афскій] титулъ, богатство, красота, кандидатство, умъ и всегдашняя лесть и похвалы, въ одно мгновеніе изъ ребенка сдѣлали мущину. Онъ вдругъ почувствовалъ въ себѣ всѣ благородныя качества мущины:

[1] *В подлинникѣ:* знакомство

Святочная ночь.

1.

Раз одну из ясных, морозных, январских ночей Святок 18... года, выйдя по Кузнецкому мосту, я добрался рысью, катилась извощичья карета на парк худых разбитых лошадей.

Ясно-темно высокое небо, усыпанное мерцающими в пространстве звездами, заиндевевшая борода кучера, захватывающий дыхание, пустившим за ним воздух и скрип колес по морозному снегу, напоминали то холодное, но поэтическое время, в которые мне от детства приходили сладкие и какие-то сокрушительные чувства-мысли. Их давит-ревнивый предсмертный стихнул, тепловатый карандаш обыкновенных и-ожиданий чего-то таинственного необыкновенного.....

Опять, как бывало прогнавшись с кучером в ступного света, занесшего двери зеркальных окна,

храбрость, рѣшимость, твердость, все то, недостатокъ чего онъ ясно сознавалъ въ себѣ до сихъ поръ. Внимательный наблюдатель замѣтилъ бы даже перемѣну въ его наружности за этотъ вечеръ. Походка стала увѣреннѣе и свободнѣе; грудь выпрямилась, голова держалась выше; въ лицѣ изчезла дѣтская округлость и неотчетливость чертъ, мускулы лба и щекъ выказывались опредѣленнѣе, и улыбка была смѣлѣе и тверже.

Ужинъ былъ обыкновенный бальный ужинъ съ вѣчнымъ невкуснымъ, но затѣйливымъ маіонезомъ, съ вопросами хозяина: все-ли у васъ есть? съ бѣготнею слугъ, смѣхомъ, говоромъ сотни голосовъ и хорошимъ виномъ. Столъ же, за которымъ сидѣлъ мой герой, особенно пользовался этимъ послѣднимъ по протекціи Н. Н., которому дворецкій какъ

** № 3 (I ред.).

Графъ Шöфингъ былъ chevalier d'industrie [1] высшаго полёта, нѣсколько разъ богатѣлъ, нѣсколько разъ промотывался и наконецъ, желая блистательно окончить свое поприще, женился на богатой наслѣдницѣ. Кто былъ причиной этой сватьбы, намъ совершенно неизвѣстно, извѣстно только то, что любовь не играла въ ней ни съ той, ни съ другой стороны ровно никакой роли. Графъ Шöфингъ любилъ свою жену, какъ самую кроткую и послушную [2] изъ жёнъ, и продолжалъ еще любить, какъ хорошенькую женщину (еще не прошло года, какъ онъ женился). Хотя и говорили чувствительныя дамы, что онъ не стоитъ, не умѣетъ цѣнить ея, но мы никакъ не скажемъ этаго, потому что хорошенькая Шöфингъ и не требовала отъ мужа другой любви. Лучше мужа, чѣмъ ея Jean, она и не желала, и сама любила его точно также, какъ онъ ее. До сватьбы она никого не любила, а послѣ сватьбы, ежели и встрѣчала людей, которые ей нравились, то не стоило любить ихъ: они всѣ, сколько она могла узнать ихъ, были похожи на ея Jean.

Но нехорошо было въ ея миломъ Jean то, что онъ былъ мотъ, игрокъ и негодяй; потому что проигрывалъ и проигралъ больше половины женинаго состоянія. Но развѣ русская порядочная барышня должна имѣть понятіе о томъ, что составляетъ ея состояніе, и о томъ, что безъ него жить нельзя, что оно пріобрѣтено трудами и кровью ея предковъ. Хорошенькая Шöфингъ знаетъ, что ея мужъ проигралъ 40 или 60 000 и нынче поѣхалъ играть еще. Она очень смутно понимаетъ, что это что-то нехорошо дѣлаетъ ея Jean; но думать объ этомъ скучно, и она преспокойно отправляется на балъ къ П., куда ѣдетъ и Сережа съ К[няземъ] Корнаковымъ.

---

[1] [делец]

[2] *Последнее слово написано над зачеркнутым:* совершенно равнодушную

* ВАРИАНТ «РУБКИ ЛЕСА».

(Рубка лѣса. Дневникъ Кавказскаго Офицера.)

На Кавказѣ существуютъ три рода войны: набѣги, осады крѣпостей или правильнѣе, укрѣпленныхъ ауловъ и постройка крѣпостей въ непріятельскихъ владѣніяхъ. — Набѣги производятся съ цѣлью или—разорить, сжечь и истребить непріятельскія жилища, или захватить въ нихъ оружіе непріятеля, или—главныхъ ихъ начальниковъ, и производятся только въ тѣхъ краяхъ Кавказа, гдѣ непріятель, по принятому обычаю и по устройству своихъ ауловъ, не защищается въ нихъ. — Этотъ родъ войны особенно блестящъ, ежели можно такъ выразится, но рѣдко приноситъ ожидаемую пользу, такъ какъ непріятель черезъ своихъ лазутчиковъ почти всегда знаетъ впередъ движенія Русскихъ и принимаетъ свои мѣры. Осада и взятіе укрѣпленныхъ ауловъ бываютъ продолжительны и часто сопряжены съ тяжелыми трудами и потерями; но зато, увѣнчавшись успѣхомъ, приносятъ ясную, положительную пользу, устраняя преграды къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ. Третій родъ войны—постройка крѣпостей—есть сущность нашихъ дѣйствій на Кавказѣ; придвигая все ближе и ближе съ различныхъ сторонъ линіи нашихъ крѣпостей къ центру непріятельскихъ владѣній, мы, хотя медленнымъ, но твердымъ и увѣреннымъ шагомъ подвигаемся къ нашей цѣли. Но такъ какъ мѣстность непріятеля неизвѣстна и неприступна по причинѣ покрывающихъ ея лѣсовъ, то для того, чтобы приступить къ постройкѣ крѣпости, нужно узнать мѣстность, т. е. сдѣлать *рекогносцировку* и очистить мѣстность, т. е. произвести *рубку лѣса*. *Рекогносцировки* производятся быстро и большей частью легко; но *рубки лѣса*, по крайней мѣрѣ въ краѣ главнаго театра войны, составляютъ продолжительнѣйшее, труднѣйшее и полѣзнѣйшее занятіе здѣшнихъ войскъ. —

Въ 18.....

---

* ДЯДИНЬКА ЖДАНОВЪ И КАВАЛЕРЪ ЧЕРНОВЪ.

(1854)

(Первая редакция)

⟨Въ 1828 году, въ одну изъ артиллерійскихъ ротъ, расположенныхъ на Кавказской линіи, пригнали 25 человѣкъ рекрутъ. Это все была молодежь — мясистая, неуклюжая, съ бѣлыми стрижеными головами и унылыми толстыми лицами. Между ними былъ одинъ только Черновъ, высокій мущина съ русыми усами и ловкими самоувѣренными движеніями, который обращалъ на себя вниманіе. На Черновѣ была розовая рубаха, онъ игралъ на балалайкѣ, плясалъ и вѣчно шутилъ и смѣялся. Артель невольно поддалась его вліянію, ему повиновались и старались подражать, но веселье другихъ рекрутъ было какъ-то неловко и жалко. — Только одинъ рекрутъ никогда не пытался отуманиться виномъ, балалайкой и хохотомъ; не скрывалъ своего горя и искренно предавался ему. Это былъ маленькій, бѣлоголовый парень съ большими голубыми глазами; онъ никогда не подходилъ къ товарищамъ, не пилъ, не разговаривалъ, не слушалъ, а съ вѣчно опущенной головой садился въ сторонкѣ, доставалъ складной ножикъ, единственное свое имущество, бралъ какую-нибудь палочку, строгалъ ее и плакалъ.— О чемъ онъ думалъ, о чемъ онъ плакалъ? Богъ его знаетъ.

Товарищи трунили надъ нимъ, заставляли его пить. Онъ напивался и плакалъ еще больше и приговаривалъ. Хотѣли, чтобы онъ тоже поставилъ касуху. Онъ отказался. Его прибили, и онъ отдалъ послѣдніе 2 рубля и опять заплакалъ. Когда рекрутовъ пригнали въ роту, Унтеръ Офицеръ сказалъ фельдвебелю, что изъ рекрутовъ солдатъ бойкій выйдетъ.⟩

(Вторая редакция)

Хочу разсказать простую исторію $2\frac{x_2}{=}$ людей, которыхъ я зналъ долго и такъ близко, какъ знаютъ только товарищей. Однаго изъ нихъ я много любилъ, а надъ участью другаго часто горько задумывался. — Это были 2 солдата въ батареѣ,

въ которой я служилъ юнкеромъ на Кавказѣ, и которыхъ обоихъ уже нѣтъ на этомъ свѣтѣ. Въ 1828 году въ партіи рекрутъ пригнали ихъ на линію. —

Одинъ изъ нихъ, Черновъ, изъ дворовыхъ людей Саратовской губерніи, былъ высокій, стройный мущина, съ черными усиками и бойкими, разбѣгавшимися глазами. На Черновѣ была розовая рубаха, — онъ весь походъ игралъ на балалайкѣ, плясалъ, пилъ водку и угащивалъ товарищей.

Другой рекрутъ — Ждановъ, изъ крестьянъ той же губерніи, былъ невысокій, мясистый парень лѣтъ 19-ти съ большими круглыми голубыми глазами и бѣлымъ стриженымъ затылкомъ.—

У Жданова всего имущества было 4 рубахи, складной ножикъ и двугривенный денегъ. Онъ не могъ поить товарищей, но также, какъ и они, старался отуманиться виномъ и весельемъ. Веселье его однако было какъ-то неловко ⟨дико⟩ и жалко. Разъ его напоили, и онъ таки пошелъ плясать на ципочкахъ по-солдатски, но вдругъ расплакался, бросился на шею[1] Чернову и [сталъ] приговаривать такую дичь, что всѣмъ смѣшно стало. На другой день онъ поставилъ касуху и опять плакалъ. Большую часть време[ни] [по] походамъ онъ спалъ, а ежели не спалъ, то подходилъ къ Чернову и, разинувъ ротъ, слушалъ его розсказни, прибауточки и все смѣялся.

Унтеръ-Офицеръ, который гналъ партію и котораго Ждановъ боялся пуще огня, передалъ фелдвебелю въ ротѣ: — Черновъ и другіе хорошіе есть, а что Ждановъ вовсе дурачекъ и что надъ нимъ много[2] битья будетъ. И дѣйствительно, Жданову битья много было. Его били на ученьи, били на работѣ, били въ казармахъ. Кротость и отсутствіе дара слова внушали о немъ самое дурное понятіе начальникамъ; а у рекрутовъ начальниковъ много: каждый солдатъ годомъ старше его мыкаетъ имъ куда и какъ угодно. —

Въ первое время переходъ отъ слабаго присмотра, который бываетъ за рекрутами, къ строгости и даже несправедливости обращенія съ молодыми солдатами на мѣстѣ совершенно озадачилъ бѣднаго Жданова. Онъ вообразилъ, что онъ очень дуренъ и что ему нужно стараться быть лучшимъ, и началъ стараться. Онъ сдѣлался усерднымъ — до глупости, но положеніе его отъ этаго становилось еще хуже. У него не было минуты отдыху: каждый солдатъ помыкалъ имъ, какъ мальчишкой, и считалъ себя вправѣ требовать отъ него того, что онъ дѣлалъ по собственной охотѣ, и взыскивать съ него. — Когда онъ наконецъ понялъ, что усердіе вредитъ только его положенію — имъ овладѣло отчаяніе. «Такъ чтоже это въ самомъ дѣлѣ!» — думалъ онъ, — что дѣлать? Такъ вотъ оно солдатство!» — и

---

[1] *Последние три слова надписаны над зачеркнутыми:* и сталъ об нимать

[2] *Слово написано неразборчиво, можно прочесть и* мнѣ

бѣднякъ не видѣлъ исхода и горько плакалъ по ночамъ на своемъ нарѣ. —

Моральное состояніе это продолжалось недолго — исхода дѣйствительно не было. Одно оставалось — терпѣть. И онъ терпѣлъ не только безропотно, но съ убѣжденіемъ, что одна обязанность его терпѣть и терпѣть.

Его выгоняли на ученье, — онъ шелъ, давали въ руку тесакъ и приказывали дѣлать рукой такъ, — онъ дѣлалъ, какъ могъ, его били, — онъ терпѣлъ. Его били не затѣмъ, чтобы онъ дѣлалъ, лучше, но затѣмъ, что онъ солдатъ, а солдата нужно бить. Выгоняли его на работу, онъ шелъ и работалъ, и его били; его били опять не затѣмъ, чтобы онъ больше или лучше работалъ, но затѣмъ, что такъ нужно. — Онъ понималъ это. Кончалась работа или ученье, онъ шелъ къ котлу, бралъ кусокъ хлѣба, садился поодаль и кусалъ свой кусокъ, ни о чемъ не думая. Какъ только въ голову ему заходила мысль, онъ пугался ея, какъ нечистаго навожденія, и старался заснуть. —

Когда старшій солдатъ подходилъ къ нему, онъ снималъ шапку, вытягивался въ струнку и готовъ былъ со всѣхъ ногъ броситься, куда бы ни приказали ему, и, ежели солдатъ поднималъ руку, чтобъ почесать въ затылкѣ, онъ уже ожидалъ, что его будутъ бить, жмурился и морщился. —

* ВАРИАНТЫ ИЗ РУКОПИСИ «РАЗЖАЛОВАННОГО».

Здесь, оставляя в стороне мелкие разночтения, отмены в знаках препинания и абзацах, даны важнейшие варианты из рукописи, по которой рассказ набирался в типографии. Рукопись сокращенно называется *ркп.* Места, которые с несомненностью или с большой долей вероятия можно счесть пострадавшими от цензуры, обозначены звездочкой.

Стр. 75, строка 17. *Слова:* земляной — *нет в ркп.*

* Стр. 76, строка 26. *После слов:* в тулупе — *в ркп.:* на которомъ болтался солдатскій Георгіевскій крестикъ,

Стр. 76, строка 29. *После слова:* останавливался. — *в ркп.:* Я замѣтилъ, что мой взглядъ еще больше смутилъ его.

Стр. 77, строка 26. *Вместо:* для немолодого — *в ркп.:* особенно для немолодого

Стр. 78, строка 21. *После слова:* мелкого — *в ркп.:* дряннаго

Стр. 78, строки 36—39. *Вместо:* Нет... отчего же?... *кончая:* под нос, — *в ркп.:*

— Нѣтъ.... Ахъ нѣтъ.... Какъ же можно, — испуганно заговорилъ нижній чинъ, но вдругъ замолчалъ и видимо рѣшившись обидѣться и принявъ задумчиво-печальное выраженіе,

* Стр. 79, строки 5—6. *Вместо:* рассуждали о начальстве, — *в ркп.:* ругали начальство,

* Стр. 79, строки 16—18. *Вместо:* — Поделом ему, *кончая:* теперь весь — *в ркп.:*

— Какъ, это тотъ самый вашъ Адъютантъ Алферовъ, съ которымъ играть нельзя было? — спросилъ поручикъ О., — всѣхъ обдувалъ.

— Онъ, онъ, батенька, то всѣхъ обдувалъ, а теперь самъ

* Стр. 80, строка 5. *После слов:* отвернулись от него. — *в ркп.:* и Поручикъ О..., котораго этотъ разговоръ, какъ страстнаго игрока, занималъ особенно, чтобъ замять разговоръ, обратился ко мнѣ:

— Нѣтъ, тутъ что-то не такъ, я съ нимъ

* Стр. 80, строка 10. *Вместо:* — Павел Дмитриевич, *кончая:* давно знаю, — *в ркп.:*

— Я его знаю, — сказалъ я, — онъ кремешкомъ играетъ.

* Стр. 80, строка 20 — 23. *Вместо:* я злился *кончая:* приходится играть. — *в ркп.:* я колебался между мыслями: шулеръ ли онъ, или просто игрокъ умнѣе всѣхъ тѣхъ, съ которыми ему приходится играть, и всегда больше вѣрилъ послѣднему предположенію.

Стр. 80, строки 30 — 31. *Слов:* что означает *кончая:* для офицера. — *нет в ркп.*

* Стр. 80, строки 32 — 33. *Вместо:* — Ему чертовски *кончая:* не играть съ нимъ. — *в ркп.:*

— Нѣтъ, что хотите говорите, — продолжалъ Поручикъ О., — а я никогда не повѣрю, чтобъ тутъ было одно счастіе.

— Неужели вы думаете, что онъ нечисто играетъ? — сказалъ Ш. — Отъ чего жъ онъ теперь проигрался?

— Нашла коса на камень, вотъ и все.

Во время этаго разговора я смотрѣлъ на Гуськова. Онъ, видимо, оскорбился или старался выраженіемъ своего лица, ненатурально нахмуривъ брови, показать, что онъ оскорбился подозрѣніемъ О. на счетъ Адъютанта, съ которымъ онъ жилъ и сказалъ, что былъ пріятель. Онъ даже прошепталъ что-то, чего никто не могъ слышать.

Стр. 80, строка 37. *Слов:* сердито сказал поручик. — *нет в ркп.*

* Стр. 81, строка 1. *Вместо:* наш полковой шулер, — *в ркп.:* краплеными картами играетъ.

* Стр. 81, строки 1 — 2. *Слов:* сказал Ш., *кончая:* своей выдумкой. — *нет в ркп.*

* Стр. 82, строка 11. *После слов:* не нравилась... — *в ркп.:* Въ ней былъ развитъ въ высшей степени тотъ русскій, особенно петербургской аристократизмъ, выражающійся только въ подобострастіи передъ извѣстнымъ свѣтомъ и извѣстнымъ comme il faut,[1] сквозь который они криво, косо и безнравственно смотрятъ на весь міръ Божій, и аристократизмъ, который никакія несчастія, никакое вліяніе не въ состояніи выбить изъ человѣка, ежели онъ правильнымъ воспитаніемъ и еще хуже — успѣхомъ въ свѣтѣ привитъ къ нему.

* Стр. 82, строки 15 — 17. *Вместо:* который был *кончая:* с предубеждением. — *в ркп.:* — нажившаго себѣ на службѣ весьма значительное состояніе, и зная направленіе сестры, я неожидалъ отъ молодаго Гуськова ничего хорошаго.

---

[1] (приличием,)

* Стр. 83, строка 30. *Вместо:* под арестом, — *в ркп.:* въ крѣпости,

* Стр. 83, строка 33. *Вместо:* общества — *в ркп.:* ужаснаго общества

Стр. 84, строка 2. *После слова:* Адъютант, — *в ркп.:* Алферовъ,

* Стр. 84, строка 27. *Вместо:* — Не знаю, — *в ркп.:* — А чёртъ ихъ знаетъ,

Стр. 85, строка 25. *Вместо:* — Странные шутки, — *в ркп.:* — Я ужъ старъ,

Стр. 87, строки 18—19. *После слов:* jargon du monde[1] и — *в ркп.:* признаюсь я не ожидалъ и всегда удивлялся, что меня находили

* Стр. 87, строка 23. *После слов:* эти выгоды, — *в ркп.:* все дурное я принималъ къ сердцу, безчестность, несправедливость, порокъ были мнѣ отвратительны, и я прямо говорилъ свое мнѣніе, и говорилъ неосторожно, слишкомъ горячо и смѣло.

* Стр. 87, строка 28. *Вместо:* под арестом, — *в ркп.:* въ крѣпости,

* Стр. 88, строка 14. *Вместо:* Из-под ареста, — *в ркп.:* Изъ крѣпости,

* Стр. 88, строка 15. *Вместо:* N. полк. — *в ркп.:* С-ій полкъ. *Так-же и ниже.*

* Стр. 88, строка 26. *Вместо:* нехорошо — *в ркп.:* гадко

* Стр. 88, строки 27—33. *Слов:* Мне было противно, *кончая:* связывало меня. — *нет в ркп.*

* Стр. 89, строка 2. *После слов:* Это ужас что такое! — *в ркп.:* Въ дѣлахъ этотъ полкъ бываетъ рѣдко, поэтому пьянство, карты, развратъ процвѣтаютъ тамъ въ высшей степени, больше, чѣмъ здѣсь.

* Стр. 89, строка 7. *После слова:* мелкими — *в ркп.:* подлыми

* Стр. 89, строка 9. *После слов:* с юнкерами — *в ркп.:* (это самый развратный классъ людей въ Россіи) и солдатами — это звѣри какіе-то, въ которыхъ нѣтъ ничего человѣческаго,

* Стр. 89, строка 23. *Вместо:* офицеры — *в ркп.:* свиньи офицеры

Стр. 89, строка 33. *Слов:* он знал, кто я такой, — *нет в ркп.*

* Стр. 90, строка 8. *После слов:* au feu,[1] — в *ркп.:* on m'a donné voilà ceci,[2] — продолжалъ онъ, указывая на крестъ,

---

[1] [светский жаргон
[2] [под огнем,]
[3] [мне дали вот это]

* Стр. 90, строка 14. *После слов:* Антоновым, — *в ркп.:* изъ дворовыхъ людей за пьянство и развратъ отданнымъ въ солдаты,

* Стр. 90, строка 19. *Вместо:* мне обещали, — *в ркп.:* Алферовъ мнѣ обѣщалъ,

* Стр. 90, строка 22. *Вместо:* кутеж, — *в ркп.:* пьянство,

* Стр. 90, строка 27. *После слов:* дают чувствовать, — *в ркп.:* Юнкера, это общество невозможное, солдаты, фельдфебеля.....

Стр. 95, строка 2. *После слова:* передняя, — *в ркп.:* и ужъ сейчасъ она бѣжитъ навстрѣчу, и слышу ея голосъ.

* Стр. 96, строка 24. *Вместо:* у нас — *в ркп.:* у Алферова

Стр. 96, строка 35. *После слов:* в нем участие. — *в ркп.:* хвалилъ меня въ глаза, говорилъ, что онъ еще въ Москвѣ очень полюбилъ меня, и здѣсь предлагалъ свою дружбу.

ВАРИАНТЫ ИЗ РУКОПИСЕЙ «ЗАПИСОК МАРКЕРА».

* № 1 (I ред.).

[1] а все знай шары вынимаешь: 9 и ничего, 12 и 3, 24 и 3.— Привычка: другой разъ насилу ноги передвигаешь, въ головѣ какъ молотомъ стучитъ, а все считаешь. Ошибись только, особенно коли антересная партія идетъ, такъ того и гляди, морду разобьютъ.— Ужъ пуще всего меня адъютантъ большой донимаютъ: играютъ до 2 часовъ, съ княземъ съ этимъ, денегъ въ лузу не кладутъ, и ужъ знаю, что ни у того, ни у другаго нѣтъ ни гроша, а все фарсятъ: «Идетъ уголъ отъ 25?» — «Идетъ». Все вѣдь только для тону, а ты зѣвни только или не скоро шара поставь, такъ тоже наровитъ въ морду заѣхать.— Только вотъ я себѣ съ машинкой кругъ бильярда похаживаю, гляжу новый баринъ какой то пришелъ и сѣлъ себѣ на диванчикъ.

* № 2 (I ред.).

Ужъ я посмотрѣлъ, какъ разъ они подлѣ бильярдной комнату взяли да туда мамзель привезли — Эстерва, такъ звали ее. Вѣдь что же это за Эстерва была, прямо что Эстерва! Худая, носастая, пьяная. И что только въ ней господа находили. Вѣдь черезъ нея сколько прошло: Тулуповъ, Б. Овчинниковъ [?], К[нязь] Сургучинъ. Изъ-за нея, чисто изъ-за нея все промотали, изъ П[етербурга] бѣжали отъ долговъ.— Что француженка она что-ли, за то ей такая честь была,— да мало ли ихъ у насъ не ѣмши пропадаютъ, или что на кіятрѣ играла, Богъ ихъ знаетъ. Или что можетъ изъ того такъ на нее зарились, что ужъ разъ въ честь попала, стала [не въ][2] шелкахъ, такъ въ бархатахъ ходить, въ каретахъ ѣздить, ну и лестно, что [она], мылъ, у меня на содержаніи — слава пойдетъ. А я бы, наше дѣло холопское, такъ и полтины серебра за нее и то бы отъ нужды далъ.— Извѣстно, господа чего не дѣлаютъ, ужъ одно слово: господа! Вотъ привезли мамзель эту, пошли

---

[1] *Абзац редактора.*
[2] *В подлиннике:* по

кутить, тутъ и бильярдную отперли, мамзель стала на бильярдѣ играть, потомъ влезла на него и пошла плясать; такъ вѣдь какія колѣны выдѣлываетъ, что и смотрѣть гадко, да и смѣшно больно. К[озельскій] около ней такъ вотъ и юлитъ, такъ и юлитъ. Какъ уѣхала она, ужъ онъ одинъ ходилъ, ходилъ по комнатамъ и все что-то бормочетъ по французски и руками такъ дѣлаетъ. — Пріѣхалъ к[нязь], онъ ее провожалъ. Ст[ариковъ] пріѣхалъ, пошли толковать. ⟨При мнѣ К[озельскій] сказалъ, что он никогда женщинъ не [имѣлъ].⟩

* № 3 (I ред.).

Такъ тутъ бильярдъ и загадилъ. Ужъ на другой день за сукно 80 р. заплатилъ. — Такъ вотъ съ этаго раза и сталъ онъ мамзелями заниматься. И Эстерву съ к[няземъ] какъ то сообща содержали; ужъ Богъ ихъ знаетъ, какіе у нихъ разсчеты были, только все вмѣстѣ ѣзжали. Ужъ сказано: господа чего не выдумаютъ.

* № 4 (I ред.).

Богъ далъ мнѣ имя.[1] Я не могу гордиться своимъ именемъ, которое носили прежде люди стоявшіе высоко въ мнѣніи всѣхъ благородныхъ людей; я затаскалъ его по трактирамъ и дурнымъ домамъ. Вѣдь нѣтъ возможности заставить забыть Петрушку, что я игралъ съ нимъ на деньги, просилъ его играть, когда у меня ужъ небыло денегъ, и что остался ему долженъ. Ватяковъ никогда не забуде[тъ], что я просилъ его бить мои карты, когда не могъ платить уже, что онъ сказалъ мнѣ: вы не деликатны, что я просилъ его тщетно играть на мои сани. Адоревъ никогда не забудетъ, что онъ сказалъ мнѣ: несносный мальчишка! Что К[нязь] Калтыковъ не поклонился мнѣ въ гостиной своей тетки. Амалія, Эсмеральда, о ужасныя воспоминанія, — никогда не забудутъ, что я цѣловалъ ихъ? — Пускай они забудутъ, они умрутъ, но все я не забуду. Б[оже], прости меня, я часто желаю, чтобы всѣ они умерли, и тогда бы я могъ начать другую жизнь.

Богъ далъ мнѣ богатство, ввѣрилъ мнѣ существов[аніе] 2 000 людей. Что я сдѣлалъ? я разворилъ ихъ. Я передалъ ихъ Селезневу (*1 неразобр.*). И это сдѣлалъ я, который отрокомъ такъ хорошо понималъ священную обязанность помѣщика.

Богъ далъ мнѣ теплую [?] душу, полную благородныхъ чувствъ.

Набѣленая толстая Эсмеральда имѣла цвѣтъ моей невинности. Уже я съ трудомъ нахожу въ своей душѣ благородное чувство. У меня есть сестра, братья, тетка, и всѣ любятъ со мной[2] видаться иногда. Вспоминалъ я разъ въ два года о ихъ

---

[1] *Зачеркнуто:* богатство, молодость, умъ.
[2] *В подлиннике:* меня

существованіи; да, и теперь я не могу думать о нихъ, я такъ далекъ.

Богъ далъ мнѣ умъ. Я сказалъ нѣсколько остроумныхъ словъ, заставившихъ смѣяться Эстерка, а Б[оже] м[ой], гдѣ эти мысли о Тебѣ, о В[ѣчности[?]], о б[удущей] ж[изни], которыя такъ живо и съ такой силой бывало наполняли мою душу и возносили къ Тебѣ. — Но какъ я былъ хорошъ, когда я былъ молодъ. Когда я подумаю о той неизмѣримой пропасти, которая отдѣляетъ меня отъ того, что я былъ бы, ежели бы пошелъ по дорогѣ, которую открылъ мой невинный свѣжій умъ и дѣтское чувство. Все это[1] я сказалъ себѣ 2 мѣсяца тому назадъ послѣ проигрыша. Тогда я вѣрилъ въ перемѣну.[2] Я сказалъ себѣ: все, что есть у меня силы воли, я употреблю, чтобы выйдти изъ этой пагубной коллеи и я употребилъ все, что было во мнѣ воли. Я сказалъ себѣ, что я убью себя, ежели не выйду изъ этой коллеи. — И я не могъ. Зачѣмъ не далъ мнѣ Богъ воли, зачѣмъ далъ онъ мнѣ чувство и разумъ? Я убью себя.

Боже мой, и отчего я убиваю себя? Я не сдѣлалъ преступленія, я не обезчещенъ. Но ежели бы что-нибудь тяжелое лежало на моей душѣ, мнѣ было бы легче. Было бы величіе въ моемъ отчаяніи и поступкѣ. Но я опутанъ грязной сѣтью, изъ которой я не могу выпутаться и къ которой не могу привыкнуть. Хуже то, что я знаю, я все буду падать, я испыталъ это. Ежели бы я былъ тайной преступникъ, раскаяніе искупило-бы меня, ежели бы я былъ явной преступникъ, наказаніе искупило-бы его. Ежели бы я былъ несчастенъ, я бы могъ роптать.[3] Ежели бы я былъ обезчещенъ, я бы могъ возстановить свою честь, или подняться выше понятія свѣтской чести и презирать. Но я опутанъ, я падаю и чувствую свое паденіе. И нѣтъ мнѣ спасенія. Моральныя страданія, которыя я испытываю, хуже всего, что можетъ вообразить человѣкъ. Ежели я стараюсь забыться, то послѣ забытья раскаяніе еще сильнѣе и жезче; ежели я стараюсь опомниться, то я чувствую кромѣ раскаянія невыносимый страхъ оставаться съ собой наединѣ [что] еще тяжеле раскаянія. Въ физической боли есть моменты облегченія; здѣсь нѣтъ минуты, гдѣ я [бы] потерялъ сознаніе своей погибели. Душа моя погибла, во мнѣ осталось одно воспоминаніе о ней. — Всякая перемѣна была бы благо, — другой нѣтъ, кромѣ смерти. Ежели бы душа моя безъ посредства тѣла могла уничтожить себя, я 1 000 разъ уже уничтожился-бы. — Но тѣло подло. Оно боится, оно торжествуетъ въ погибели души и не хочетъ потерять этаго наслажденія, но душа возьметъ свое.

И что погубило меня? Была ли во мнѣ какая-нибудь страсть,

---

[1] *Вписано, но с дальнейшим не согласуется:* говорилъ я себѣ нѣсколько разъ и все тщетно

[2] *Зачеркнуто:* я б. въ деревнѣ

[3] *Не зачеркнуто по ошибке:* Ежели бы я былъ

которая-бы извинила меня, которая бы оставила во мнѣ сильное воспоминаніе? Нѣтъ ничего. Въ чемъ мои воспоминанія? тузъ, жолтый въ середній, мѣлъ, папиросы, красныя, сѣрень[кія], радужныя бумажки, женщины, отвратительныя женщины во всей ихъ сладострастной гадости. Да, это самое тяжелое воспоминаніе. Никакой потерянной части души я не жалѣю такъ, какъ любви, къ которой я такъ способенъ. Боже мой, любилъ ли хоть одинъ ч[еловѣкъ] кого-нибудь такъ, какъ я любилъ, когда еще не зналъ женщинъ. —

Я думалъ, что близость смерти освѣжаетъ, возвышаетъ душу; черезъ $^1/_4$ часа меня не будетъ, и ничего, я также вижу, также слышу, также думаю. Та же странная непослѣдовательность, шаткость и легкость въ мысляхъ, которая такъ противуположна тому единству ясности, к[акое] можетъ только воображать человѣкъ. Я сейчасъ за 5 м[инутъ] до смерти, потому что, какъ пробьетъ 8, я убью себя, такъ я сейчасъ пишу, думая вмѣстѣ о томъ, что ожидаетъ меня тамъ, думаю о томъ, что Петрушкѣ скучно, что никто не играетъ нынче. Непостижимое созданье человѣкъ, но для кого онъ непостижимо страненъ? Для самаго ли себя? Стало быть я понимаю себя, понимаю что-нибудь выше себя, въ сравненіи съ чѣмъ я непостижимъ и страненъ. Вотъ оно доказательство безсмертія. Кто то вошелъ, я бы желалъ, чтобы это былъ Велтыковъ [?], ему будетъ больно смотрѣть на мой трупъ. Виноватъ ли я? Я дуренъ и старался быть хорошимъ, но не могъ, не могъ ни быть хорошимъ, и еще меньше могъ жить и знать, что я дурной. Я — бы умеръ все равно отъ самаго же себя, отъ моральныхъ страданій. И теперь у меня сѣдые волосы и чахотка. Отчего же было бы не грѣшно убить себя моральными страданіями, а грѣшно убить пулей. —

Я слыхалъ и читалъ, что самоубійцы со страхомъ ожидаютъ рѣшительной минуты. Я — напротивъ: я хладнокровно обдумываю, боюсь только ошибиться: не найти въ будущей жизни того, что я ожидаю. Но лучшее, что я могу ожидать, это чтобы за гробомъ не было меня, чтобы я могъ убить свою душу.

* № 5 (II ред.).

⟨Мнѣ сказали, что смѣшно жить монахомъ, я отдалъ цвѣтъ своей души — невинность — развратной женщинѣ. Я цѣловалъ ее и ея руки. Меня оскорбили, я вызвалъ на дуэль. Мнѣ сказали, что у меня нѣтъ совѣсти, что я хочу красть, но это не стоило того, чтобы сердиться. Человѣкъ, который сказалъ мнѣ это, самъ былъ подлецъ; стало-быть это ничего, тѣмъ болѣе, что онъ сказалъ мнѣ: виноватъ. — Мнѣ мало было этаго: — я думалъ, что я вполнѣ удовлетворилъ требованіямъ благородства, что это забудется. (Какъ будто униженіе, подлость, зло забывается когда-нибудь. Ежели-бы умерла та продажная женщина, которую я цѣловалъ, люди, которые оскорбили меня и видѣли мое униженіе, — я часто желалъ этаго — развѣ

оскорбленное чувство умретъ когда нибудь? Развѣ мало этаго постоянно грызущаго червя, чтобы желать уничтожиться, изчезнуть, пропасть.) — Мнѣ мало было всего этаго — я продолжалъ жить, находилъ удовольствіе въ жизни.

Я дошелъ до того, что маркеръ оскорбилъ меня, и я унижался передъ нимъ. Тогда только я опомнился на минуту и увидалъ возможность другой жизни, исходъ изъ грязной ямы, въ которой я жилъ и искалъ счастья.—

Меня не остановила гибель лучшаго чувства души, любви, которую я растратилъ на развратную женщину, а грубость маркера. Доказательство, что нѣтъ ужъ во мнѣ ничего благороднаго, остались подлость, тщеславіе. —⟩

* № 6 (II ред.).

Мнѣ остается пять минутъ до смерти, и вопросы о томъ, будетъ ли жизнь за гробомъ или нетъ и — съиграть-ли мнѣ еще партію съ Петрушкой? — съ одинаковою силою представляются моему уму... Непостижимое, неестественное созданіе — человѣкъ!.....

Кто сказалъ, что самоубійство неестественный и противузаконный поступокъ? Сознаніе моей погибели и моральныя страданія, все равно, только дольше, убили-бы меня. Отчего же не дурно убить себя моральными страданіями, а дурно убить пулей? Развѣ не все равно, и развѣ не могли моральныя страданія дойдти до такой степени, что я *не могъ* не убить себя.

Во всякомъ страданіи есть моменты облегченія; тутъ я никогда не терялъ сознанія своей погибели. — Я страдаю безъостановочно, невыносимо. Ежели-бы душа могла безъ посредства тѣла уничтожить себя, я давно не существовалъ бы уже.

Я не чувствую ни малѣйшаго страха смерти, я боюсь только ошибиться, боюсь найдти будущую жизнь съ воспоминаніями и раскаяніемъ. — Ежели бы я зналъ, что вмѣстѣ съ тѣломъ, я убиваю *совсѣмъ*, *навсегда* свою душу, рука бы моя не дрогнула. —

* № 7.

Когда я опомнился послѣ тяжелой минуты униженія, я пробовалъ опять ѣздить въ свѣтъ, ⟨куда меня принимали еще⟩. И никогда не забуду тяжелаго и вмѣстѣ отраднаго впечатлѣнія, которое произвелъ на меня его ошибочный взглядъ на мое положеніе. Княгиня Ртищева сказала мнѣ: тебя надо представить Графинѣ В..... ты непремѣнно будешь отъ нее безъ ума. И, надѣюсь, она будетъ этому очень рада ⟨имѣть лишняго угодника такого какъ ты⟩, а вѣдь ничто такъ не формируетъ молодёжь... Князь Воротынцовъ спросилъ у меня, какъ вещь самую обыкновенную, хочу-ли я быть представленнымъ ко двору? — Они вѣрно не могли вообразить, что человѣкъ, съ которымъ они говорили, существо уже сошедшее до послѣд-

нихъ степеней низости, что для него больно и дико слушать такія рѣчи; однако ихъ слова подняли меня въ собственномъ мнѣніи. И что-жъ? сколько я не старался удержаться на этой высотѣ, я снова спускался въ грязную сферу, которая одна была уже моей сферой, въ которой мнѣ было покойно, легко и свободно.

Я пробовалъ перечитывать то, что прежде давало какое-то сотрясеніе моей душѣ и вызывало благородныя мысли; я только плакалъ надъ самимъ собой, надъ воспоминаніемъ о всемъ томъ, что я потерялъ. — Я пробовалъ распредѣленіе дня, какъ дѣлывалъ въ старину; но ничто не занимало меня, и опредѣленія воли, основанныя на воспоминаніяхъ, а не на наклонностяхъ, были безсильны. — Я пробовалъ снова вести франклиновскій журналъ пороковъ и каждый вечеръ разсматривать свои поступки и объяснять себѣ причины тѣхъ, которые были дурны. «*Тщеславіе, лѣнь, тщеславіе*».

КОММЕНТАРИИ

НАБЕГ.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ «НАБЕГА».

С 30 мая 1851 г., дня приезда Толстого в станицу Старогладковскую, и до 19 января 1854 г., когда он выехал обратно в Ясную поляну, продолжалось его пребывание на Кавказе.

Как писатель, он работал здесь над богатым запасом привезенных с собою воспоминаний из помещичьей жизни и над новыми материалами, которые дали ему природа и люди Кавказа.

Кавказские впечатления были использованы Толстым для такой крупной вещи, как «Казаки», писавшейся с перерывами более десяти лет, легли в основу ряда мелких и сравнительно быстро написанных произведений, — «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный» («Встреча в отряде»), связанных, главным образом, с жизнью русской военной среды на далекой окраине, или остались лишь в области замыслов, едва намеченных в дневнике да эпизодически вкрапленных в военные рассказы. Такова, например, «драматическая и занимательная история семейства Джеми». Она была рассказана Толстому его приятелем Балтой, отмечена в дневнике (31 марта 1852 г.), как «сюжет для кавказского рассказа», но лишь мельком отразилась в работе над «Набегом».

Последний рассказ и начинает собою серию собственно-кавказских рассказов.

В основе его лежат впечатления, полученные Толстым от жизни в военной среде и от личного его участия в военных действиях на Кавказе.

Официально Толстой стал военным в начале 1852 г. 3 января он выдержал экзамен на юнкера при штабе кавказской артиллерийской бригады, получил чин фейерверкера 4 класса и предписание ехать к своей батарее, а 13 февраля положение Толстого, как военного, было окончательно оформлено: этим числом помечен приказ о зачислении его на военную службу фейерверкером 4 класса в батарейную № 4 батарею 20-й артиллерийской бригады (см. В. П. Федоров. «Лев Николаевич Толстой на военной службе». — «Братская помощь» 1910, 12, стр. 37 — 42).

Но еще до этого Толстому пришлось участвовать в военных действиях. В середине 1851 г. он, как волонтер, был в набеге русского отряда на горные аулы, произведенном под начальством кн. Барятинского. «Был

в набеге», — записал он в дневнике под 3 июля 1851 г. — Тоже действовал нехорошо: бессознательно и трусил Барятинского».

Уже надев военный мундир, Толстой участвует в деле с чеченцами 17 — 18 февраля 1852 г. Он едва не был убит: снаряд ударил в колесо орудия, стоявшего рядом с ним. Впечатление было чрезвычайно сильное и память об этом бое жива была у Толстого до старости. В дневнике 1897 г., под 18 февраля, он вспоминает: «45 лет тому назад был в сражении». 18 февраля 1906 г. он, перепутав воспоминания о двух февральских походах — 1852 и 1853 гг., писал Г. А. Русанову: «Сегодня 53 года, как неприятельское ядро ударило в колесо той пушки, которую я наводил. Если бы дуло пушки, из которой вылетело ядро, на 1/1000 линии было отклонено в ту или другую сторону, я был бы убит, и меня не было бы» («Вестник Европы» 1915, 4, стр. 18).

На ряду с участием в военных действиях идутнаблюдения над военными, среди которых он живет вместе с братом Н. Н. Толстым. Им обоим «нельзя не сознать взаимное превосходство над другими» (дневник от 12 июня 1851 г.), но они не говорят об этом, понимая друг друга без слов. Здесь, между прочим, один из источников той «сатиры», которую Толстой, как видно будет дальше, так тщательно старался удалять из первоначальных очерков «Набега».

Слушая разговоры людей, на которых он смотрит, в огромном большинстве случаев, сверху вниз, Толстой особенно «поражается» разговорами офицеров о храбрости: «Как заговорят о ком-нибудь, — храбр он? — Да, такъ. Все храбры». — Он задумывается над тем, что же такое храбрость, пробует дать ее определение, но, недовольный, зачеркивает его (дневник от 12 июня 1851 г.).

Следует добавить к этому, что в журналистике и литературе самого начала 1850-х гг. видное место занимали всякого рода военные записки, очерки, письма, воспоминания, которые, как показал это Б. М. Эйхенбаум, не могли остаться без влияния на Толстого, делавшего свои первые шаги в литературе.[1]

Таковы были впечатления, наблюдения и мысли, с которыми Толстой принялся за работу над будущим «Набегом».

В противоположность материалам, относящимся к помещичьей жизни, материалы, легшие в основу «Набега», схвачены по свежим следам, не успели «отстояться», радикально переработаться. Немудрено, что те лица, которые, в большинстве случаев незаметно для самих себя, позировали Толстому в качестве натурщиков для портретной галлереи офицеров, легко угадывались первыми читателями «Набега» на Кавказе, легко угадываются и сейчас при параллельном чтении рассказа и соответствующих мест из дневников и писем кавказской поры.

Так, например, в капитане Хлопове без труда можно найти некоторые черты сослуживца Толстого по 4 батарее, капитана Хилковского. 5 июля 1851 г. Толстой писал о нем Т. А. Ергольской: «Потом старый капитан Хилковский, из уральских казаков — старый простой солдат, но бла-

[1] Б. Эйхенбаум, «Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы», изд. «Прибой». Лнгр. 1928. стр. 128 след.

городный, храбрый и добрый». (ПСС, т. XXI, стр. 109). В дневнике под 21 марта 1852 г. Толстой записал о Хилковском: «Славный старик! — Прост (в хорошем значении слова) и храбр. — В этих двух качествах я уверен; и притом его наружность не исключает, как наружность С[улимовского], все хорошее». Образ Хлопова выписан с явной симпатией. Это потому, что его прототип, Хилковский, «очень нравится» Толстому, нравится до того, что ему иногда неловко на него смотреть, — «так, как мне бывало неловко смотреть на людей, в которых я влюблен», добавляет Толстой (дневник от 24 марта 1852 г.). «Влюбленность» в Хилковского дала возможность Толстому в том месте «Набега», где речь идет о матери капитана Хлопова, дать тоже с любовью исполненный экскурс в область хорошо ему известной дворянской мелкопоместной жизни. Именно у этого места стоит «отметка» 5+ в третьей из дошедших до нас редакций «Набега» (см. описание рукописей, стр. 294).

Молоденький офицер Аланин, в первоначальных редакциях «Набега» называвшийся «грузинским князьком» или «молодым прапорщиком», несомненно, близок прапорщику легкой № 6 батареи Н. И. Буемскому. Описывая офицерскую среду, Толстой 5 июля 1851 г. писал Т. А. Ергольской: «Потом Буемский, молодой офицер, ребенок, напоминающий Петрушу» (ПСС., т. XXI, стр. 109). Толстой однажды очень обидел юношу, прочтя ему страницы «Набега», в которых изображен Аланин. «Прочел Б[уемскому] то, что писал о нем, и он, взбешенный, убежал от меня» (дневник от 24 июня 1852 г.). Если эта запись может показаться недостаточно убедительной, так как в ней не названо то, что читал Толстой (он мог читать и письмо), то запись дневника от 30 марта 1852 г. не оставляет ни малейшего сомнения в том, что «натурой» для Аланина послужил Буемский. «Мой *мальчуган*», — читаем мы здесь о Буемском, — молод и мил. — Он жмет руки и готов к сердечным излияниям. Еще опыт пьянства не научил его избегать нежничества, которое так же несносно в пьяном, как и в трезвом. У него нет рутины пьянства». Эта запись, вплоть до полного совпадения некоторых выражений, чрезвычайно близка к описанию молодого прапорщика во время офицерского кутежа (см. вар. № 14, стр. 232 — 233).

В Розенкранце узнал себя офицер линейного казачьего войска А. В. Пистолькорс. В дневнике от 11 — 16 декабря 1853 г. записано: «Сулимовский с обыкновенной своей грубостью рассказал мне, как Пистолькорс ругает меня за Розенкранца; это сильно огорчило меня и охладило к литературным занятиям, но объявление «Современника» на 1854 год снова возбудило меня к ним».

Наконец, в образе генерала было, очевидно, настолько ясное сходство с кн. Барятинским, что Толстой, вскоре после напечатания «Набега» в «Современнике», записал в дневнике: «Меня сильно беспокоит то, что Б[арятинский] узнает себя в р[ассказе] «Набег».

Начало работы над «Набегом» относится к маю 1852 г. Еще не кончив «Детства», чередуя работу над ним с работой над новой вещью, Толстой принимается за «Письмо с Кавказа», — так назывался тот очерк, из которого, по всей вероятности, впоследствии вышел «Набег».

С 17 по 21 мая включительно идет в дневнике ряд записей о работе над «Письмом с Кавказа».

На первых порах результатами работы Толстой не очень доволен. «Сейчас начал и изорвал письмо с Кавказа, обдумаю его», — записано под 17 мая. На другой день: «Писал п[исьмо] с К[авказа], кажется порядочно, но нехорошо». 19 мая: «Как-то не пишется п[исьмо] с Кавказа, хотя мыслей много и, кажется, путные». 20 мая: «Писал п[исьмо] с К[авказа] — и хорошо, и дурно». 21 мая: «Писал опять небрежно. Завтра переписываю эту же часть письма с К[авказа] и продолжаю дальше».

Под 31 мая в дневнике записано: «Не спал и писал о храбрости. Мысли хороши, но от лени и дурной привычки слог не обработан». Здесь, несомненно, идет речь об отрывке, начинающемся цитатой из Платона: «Храбрость есть наука того: чего должно и чего не должно бояться». В связи с программой «Кавказских очерков», записанной в дневнике под 19 октября (она приведена ниже), можно предполагать, что отрывок этот был началом самостоятельного целого. Как таковое, отрывок, очевидно, не получил дальнейшего развития и был использован, в измененном виде, для одной из редакций «Набега» (см. вар. № 23, стр. 238 — 239).

В июне «Письмо с Кавказа» упоминается дважды.

4 июня Толстой записал: «Писал письмо с Кавказа мало, но хорошо. Чувствую себя хорошо. Я увлекался сначала в генерализацию, потом в мелочность, теперь, ежели не нашел середины, по крайней мере понимаю ее необходимость и желаю найти ее». Запись говорит о настойчивых поисках «тона» для рассказа и о некоторой уже пройденной в этом отношении ступени: Толстой отказывается как от «генерализации», т. е. от подчинения портретов действующих лиц и развития событий заранее поставленному вопросу о войне и храбрости, так и от чрезмерного увлечения чисто-реалистическими подробностями, не спаянными какой-нибудь общей мыслью. Под 17 июня записано: «Небрежно написал две страницы п[исьма] с К[авказа]».

Июль дает семь записей, относящихся к будущему «Набегу».

5 июля Толстой принялся за работу, «начал хорошо, а кончил небрежно». Запись 7 июля говорит о новом важном моменте в поисках «тона» рассказа: «Надо торопиться скорее окончить сатиру моего п[исьма] с Кавк[аза], а то сатира не в моем характере». 8 июля Толстой «писал п[исьмо] с К[авказа] порядочно». Записи 12 и 13 июля, хотя и не говорят прямо о «Письме с Кавказа», имеют к нему, по всей вероятности, непосредственное отношение. 12 июля Толстой «читал М. Д., плоско». На другой день — слушал чтение М. Д. знакомым офицером Буемским, а докончил чтение сам. Если, что очень вероятно, М. Д. расшифровывается, как Михайловский-Данилевский, то нельзя не поставить эти заметки в связь с тем местом «Набега», где капитан Хлопов рекомендует автору, если он хочет узнать, «какие сражения бывают», прочесть книгу А. И. Михайловского-Данилевского: «Описание отечественной войны 1812 года».

14 июля Толстой «кончил брульон п[исьма] с К[авказа]. Много надо переделывать, но может быть хорошо. Завтра примусь». Но на следующий день записано: «П[исьмо] с К[авказа] лежит на столе, и я не принимаюсь

за него». Произошло это, конечно, оттого, что в это время Толстой всё усиленнее думает над планом «Р[усского] помещичьего романа».

Запись 20 июля является отметкой о новой вехе в творческой истории «Набега». Она такова: «Завтра начинаю переделывать п[исьмо] с К[авказа], я себя заменю волонтером». Очевидно, ко времени после 20 июля надо отнести рукопись № 2 (см. «Описание рукописей «Набега», стр. 290). После этого долго нет записей о работе над «Письмом с Кавказа».

29 августа Толстой был «до глупости обрадован» письмом Некрасова с благоприятным отзывом о «Детстве», поэтому — «завтра писать письма Некрасову, Буемскому и — сочинять».

Прежде всего усиленно «сочиняется» уже хорошо обдуманный «Роман русского помещика», а 13 октября в дневнике записано: «Хочу писать К[авказские] О[черки] для образования слога и денег». 19 октября набросана и программа задуманной серии. «Ежели п[исьмо] от Р[едактора] побудит меня писать Оч[ерки] Кавк[аза], то вот программа их: 1) Нравы народа: a) История Сал [?], b) Рассказы Балты, c) Поездка в Мамакай-Юрт. 2) Поездка на море: a) История Немца, b) Армянское управление, c) Странствование кормилицы. 3) Война: a) Переход, b) Движение, c) Что такое храбрость?» Из первого отдела этой части программы, которая 21 октября была дополнена «рассказами Япишки», до нас дошел незаконченный отрывок: «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт», впервые печатаемый в настоящем томе (см. стр. 215 — 217). Второй отдел остался, очевидно, неосуществленным. Третий, по всей вероятности, говорит о материалах для будущего «Набега».

26 ноября отмечено получение письма от Некрасова: «Мне дают 50 руб. серебром за лист, и я хочу, не отлагая, писать рассказы о К[авказе]. Начал сегодня. Я слишком самолюбив, чтоб написать дурно, а написать еще хорошую вещь едва ли меня хватит». Работа продолжается 27 и 28 числа. Толстой не удовлетворен ею. «Нейдет Кавк[азский] рассказ», записывает он 27 ноября. «Пробовал писать, нейдет, — заносит он в дневнике 28 ноября.— Видно, прошло время для меня переливать из пустого в порожнее. Писать без цели и надежды на пользу решительно не могу».

Что именно «начал» Толстой, сказать трудно, но вряд ли он говорит о том, из чего впоследствии вышел «Набег»: последний, в виде «Письма с Кавказа», был «начат» уже давно. По всей вероятности, здесь идет речь о какой-нибудь теме, намеченной в первом пункте программы «Кавказских очерков»,— например, о «рассказе Балты», который уже давно, с 31 марта 1852 г., привлекал внимание Толстого и над которым он, называя его «коротенькой кавказской повестью», замышлял работать еще 7 апреля.

Несомненно о будущем «Набеге» идет речь в записях под 29 и 30 ноября: «Примусь за отделку «Описания войны» и — «завтра утром примусь за переделку Оп[исания] в[ойны]».

С 1 по 26 декабря включительно идет напряженная, почти бесперебойная работа над рассказом.

Первые декабрьские записи указывают, что усилия Толстого направлены в ту же сторону, что и раньше: на удаление из рассказа всего сатирического.

1 декабря Толстой «писал целый день *оп*[*исание*] *в*[*ойны*]. Всё сатирическое не нравится мне; а так [как] всё было в сат[ирическом] духе, то всё нужно переделывать». 2 декабря, во время охоты, читал брату «Описание войны». 3 декабря «писал много. Кажется, будет хорошо. И без сатиры. Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности».

Толстой пишет рассказ «с каким-то страхом» (запись 4 декабря). 5 декабря ему кажется, что «рассказ будет порядочный», а через день он мог написать лишь четверть листа, и ему кажется, что «всё написанное очень скверно». «Ежели я еще буду переделывать, — продолжает Толстой, — то выйдет лучше, но совсем не то, что я сначала задумал». Вероятно, это резкое расхождение первоначального замысла с тем, что должно было выйти из-под пера Толстого в случае дальнейших переделок, объясняется именно удалением из рассказа всего сатирического.

Переделки продолжались. Толстой работает над рассказом «без всякой охоты» 8 числа, продолжает работу 9 и, высидев дома весь следующий день, заканчивает рассказ. Записав об этом в дневник, он прибавляет: «Еще раз придется переделывать его».

11 декабря он резко-отрицательно отзывается о своих Кавказских рассказах, — очевидно, как о задуманных, так и о том, над которым в данное время работал. «Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудная вещь, как *Роман Помещика*. Зачем деньги, дурацкая литературная известность? Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь».

Тем не менее 16 декабря Толстой пишет в дневнике, отмечая и свою работу, и работу помогавшего ему при переписке Хилковского: «я вожусь всё с глупым рассказом... Хилковский, кажется, плох писать. Мне нужно самому, по крайней мере, еще раз переписать этот рассказ для того, чтобы он был порядочен». 18 декабря он «переписывал, и всё еще раз надо будет переписать». Весь следующий день занят перепиской. 20 декабря «переписал всю 2-ю часть. Кажется, хорошо». 22 декабря «переписал начало». Наконец, под 24 декабря Толстой отмечает: «Окончил рассказ, он не дурен», а под 26: «Отослал с Сулимовским рассказ»

Итак, работа над «Набегом» продолжалась семь месяцев с небольшим прерываясь довольно значительными интервалами, заполненными работой над другими произведениями. Ни разу за это время рассказ не носил того заглавия, под которым появился в печати. «Письмо с Кавказа», «Описание войны» — вот названия рассказа во время его создания и многократных переделок. Название «Набег», должно быть, было дано в самом конце работы. Надо полагать, что также в самом конце работы «Набег» стал произведением, похожим на рассказ в подлинном смысле этого слова. «Письмо с Кавказа», вероятно, примыкало к популярным тогда военным письмам, воспоминаниям, очеркам и было сильно окрашено в сатирический тон. Борьба за уничтожение «сатиры» — одна из главных задач Толстого во время переделок произведения, ставшего, в конце концов, «Набегом». В период наиболее напряженной работы над расска-

вом, Толстой заметил, что, если он будет еще переделывать, то получится нечто другое и лучшее, чем первоначальный замысел. Так, несомненно, и случилось, потому что после только что приведенного замечания рассказ еще неоднократно переделывался и переписывался.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «НАБЕГУ».

В архиве Толстого, хранящемся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина, имеются следующие рукописи, относящиеся к «Набегу».

1 *(П. 2)*. Автограф из 28 лл., 4^0, в виде 14 согнутых пополам несшитых полулистов сероватой русской бумаги. Водяных знаков нет. На части лл. клеймо Троицкой фабрики Говарда, на части — безыменное, с изображением двуглавого орла в рамке рококо. Первые 12 лл. писаны рыжеватыми, выцветшими чернилами, остальные 16 лл. такими же, но менее выцветшими чернилами и более мелким почерком. Авторской пагинации нет. Пагинация, сделанная чужой рукой, показывает, что после л. 12 вынуто 6 лл. О значительном перерыве говорит и содержание рукописи на л. 12 и следующих. Очень большое количество поправок, вычеркиваний и перечеркиваний в первой части автографа, — значительно меньше во второй. На л. 11 об., там, где заканчивается описание «цивилизованой» жизни в крепости, поперек текста написано:

Мое разочарованіе въ природѣ, казакахъ, Черкесахъ, Татарахъ и офицерахъ.

Заглавия нет. Совершенно отсутствует обозначение глав и каких-либо разделительных знаков между частями рассказа.

Это, видимо, одна из самых ранних редакций «Набега». Условно называем ее первой. Из нее печатаются варианты №№ 1 — 5.

2 *(П. 2)*. Автограф. 4 лл., 4^0, в виде двух согнутых пополам полулистов русской сероватой бумаги, без водяного знака, с клеймом фабрики Аристархова. Тщательно переписанный, почти без поправок, беловик. Заглавие — «Разсказъ волонтера». Под заглавием, справа — зачеркнутый эпиграф из Платона. Рукопись писана не ранее 20 июля 1852 г., когда Толстой отмечает в дневнике, что хочет в «Письме с Кавказа» заменить себя волонтером. Условно называем эту незаконченную рукопись началом второй редакции «Набега». Печатается полностью (вариант № 6).

3 *(П. 2)*. Автограф. 55 лл., 4^0. 12 полулистов русской сероватой бумаги, без водяных знаков, с клеймом в виде двуглавого орла, согнуты пополам и сшиты в тетрадь. После л. 14 в эту тетрадь вложены 3 лл., представляющие вставку, обозначенную особым знаком на л. 14 об. и на первом из вложенных лл. Остальные лл., идущие вслед за сшитыми, носят следы вырезки из какой-то тетради. Они прошиты слева, причем некоторые четвертушки выбились. Чернила бледные, местами сильно выцветшие, за исключением вложенных лл. 15, 16 и 17 и последних лл., начиная с 52, писанных густо-черными чернилами. Такими же чернилами сделаны многочисленные поправки, вычеркивания и вставки, а также примечания под строкой. Небольшие, не отогнутые поля слева. 1 л. сшитой тетради служит обложкой. На ней неизвестной рукой написано и зачеркнуто: «Милостивый Государь», а рукой С. А. Толстой сделаны два

заглавия: чернилами — «Разсказъ Волонтера», а выше, красным карандашом и с подчеркиванием — «*Набѣгъ*». Последнее заглавие повторено С. А. Толстой на л. 2, перед началом рассказа, выше заглавия, написанного рукой Толстого: «Разсказъ волонтера». Кое-где и в самом тексте сделаны отчеркивания и поставлены крестики красным карандашом рукой С. А. Толстой. В первых листах рукописи слева на полях поставлены многочисленные NB, сделанные теми же густо-черными чернилами, какими писаны вложенные и последние листы и примечания под строкой. По всей вероятности, они должны были обозначать для переписчика абзацы и тире при диалогах. В нескольких местах стоит: «н[овая] с[трока]». Обозначения глав нет. Части рассказа отделены друг от друга чертами. Количество частей соответствует числу глав печатного текста.

Характерную особенность данной рукописи составляет очень большое количество мест, которые отчеркнуты карандашом слева на полях и обозначены рукой Толстого карандашными же цыфрами от 0 до 5. Цыфры эти не служат указаниями для перестановок текста, а являются, несомненно, «отметками», выражающими, по пятибалльной системе, оценку отдельных мест рассказа.

Оценка, быть может, только записана Л. Н. Толстым, а сделана его братом, Н. Н. Толстым, мнение которого он ставил высоко. А у Н. Н. Толстого, повидимому, была привычка оценивать произведения брата отметками. «Хотел я хоть от тетиньки узнать твое мнение о моих «Гусарах», но, говорят, ты не читал еще, — пишет Толстой брату 29 мая 1856 г. — Напиши, сколько ты мне ставишь за это: 1, 2, 3, 4 или 5...» (ПСС. XXI стр. 145). Если наше предположение справедливо, то датировать оценку надо не ранее, чем 2 декабря 1852 г., когда, как мы знаем, Толстой на охоте прочел брату «Описание войны» (будущий «Набег»), перед тем как приняться за его окончательную «переделку».

Высшая отметка — 5+ стоит дважды: у места, начинающего рассказ о знакомстве автора с матерью капитана, и у начала части, соответствующей XI гл. печатного текста, причем положение цыфр между отчеркивающими линиями показывает, что оценки относятся к эпизодам в целом, а не к отдельным их частям. Пятеркой отмечен рассказ о движении отряда и место, изображающее пение «подголоска 6-й роты». Тем же баллом оценены: начало описания привала; строки о «молодомъ прапорщикѣ» (Аланине окончательной редакции) во время привала: пейзаж, в части, соответствующей VI гл. печатного текста; рассуждение о войне в той же части рассказа, но лишь начиная со слов: «Кто станетъ сомнѣваться, что въ войнѣ русскихъ съ горцами...», так как начало рассуждения со слов: «Война, какое непонятное явленіе?...» — оценено двойкой; атака «молодого прапорщика» и конец последней части. Низшие баллы распределены так. Ноль чаще отмечает неудачу отдельных выражений, чем более или менее значительного отрывка. Так, например, в описании крепости была фраза: «Солнечный блескъ и жаръ давно смѣнились прохладой ночи и слабымъ свѣтомъ новолунія». У этой фразы стоит 0, и «слабымъ» исправлено на «неяркимъ», а «новолунія» — на «молодого мѣсяца». В том же описании 0 стоит около фразы: «то изъ-за угла вдругъ раздавались звуки сломанной шарманки», и слово «сломан-

ной» зачеркнуто. Из более крупных по размеру мест, оцененных нулем, отметим зачеркнутые в рассуждении о храбрости слова: «ребенка, который, боясь наказанія, смѣло бѣжитъ въ лѣсъ, гдѣ онъ заблудится; женщину, которая, боясь стыда, убиваетъ свое дѣтище и подвергается уголовному наказанію» (см. вариант № 7, стр. 229). Единица стоит около места, тоже зачеркнутого, где описывается пляска офицеров на привале (см. вариант № 14, стр. 233. Двойка, кроме указанного выше места, стоит в конце рассуждения о храбрости, около слов: «Въ каждой опасности есть выборъ» (см. вариант № 7, стр. 229). Остальные места отмечены тройками и четверками.

Рукопись эта — одна из самых последних редакций рассказа, очень близкая к тексту «Набега» в «Военных рассказах». Условно называем ее третьей редакцией. Из нее печатаются варианты №№ 7—22 (см. стр. 228—238 причем расположение частей в вар. № 7 сделано при помощи копии начала «Набега», описанной ниже.

Из числа этих вариантов С. А. Толстой для изд. 1911 г. были использованы целиком варианты №№ 18, 19, 20, 21 и 22, вариант № 16 был включен без первых двух абзацев, а варианты №№ 7, 8, 9, 10, 11, 14 и 15 были взяты лишь частично или с отступлениями от подлинника. В №№ 9, 15 и 16 разница с текстом издания 1911 г. так невелика, что они отмечены двумя звездочками, как уже бывшие в печати после смерти Толстого.

4 *(П. 2)*. Автограф. 2 лл., 4^0. Русская сероватая бумага без водяного знака со слабо оттиснутым неразборчивым клеймом. Рукопись, видимо, писана в два приема. Поля в полулиста справа. Есть поправки и вычеркивания. Начало: «Капитанъ ушелъ впередъ съ колонной пѣхоты». Конец: «мѣсяцъ уже скрылся за горами и бросалъ слабый, блѣдный свѣтъ на ихъ вершины». По одной фразе, в которой автор называет свое произведение «письмом», надо заключить, что данные листки — остатки одной из сравнительно ранних редакций «Набега», когда он назывался еще «Письмом с Кавказа».

5 *(П. 2)*. Автограф. 2 лл., 4^0, в виде согнутого полулиста русской серой бумаги, без водяного знака и клейма. Небольшие поля слева. Чернила черные. Приблизительно половина 1 л. и нижний левый угол 2 л. оборваны. Есть поправки. Начало: «звуки ночи: далекій, заунывный вой чакалокъ». Конец: «рыцарь храбрецъ... или на сторонѣ». Вариант места, соответствующего концу VI гл. печатного текста.

6 *(П. 2)*. Автограф. 2 лл., 4^0 в виде согнутого полулиста серой бумаги, без водяного знака и клейма. Небольшие поля слева. Черные, местами выцветшие, чернила. Начало — см. вариант № 24 (стр. 239—240). Затем идет рассуждение о войне, соответствующее концу VI гл. печатного текста В начале — значок красным карандашом, по всей вероятности сделанный рукой С. А. Толстой, хотевшей, надо думать, включить это начало в сводный текст «Набега», данный ею в XII издании сочинений Л. Н. Толстого. Есть поправки, вычеркивания.

Вариант № 24, под заглавием «Перепелка», был напечатан в книге «Л. Толстой. Полное собрание художественных произведений. Т II. Редакция В. Срезневского, К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. Примечания В. Срезневского». См. стр 331.

7 *(П. 2)*. Автограф. 2 лл., 4^0, в виде согнутого полулиста серой бумаги без водяного знака и клейма. Очень маленькие поля слева. Рыжеватые чернила. Очень много вычеркиваний и поправок всякого рода. Начало: «Большая часть неба была покрыта...» Конец: «Это были сигнальные огни непріятеля, который уже зналъ о приближеніи отряда». Вариант места из начала VII гл. печатного текста.

8 *(П. 2)*. Автограф. 2 лл., 4^0, в виде согнутого полулиста серой бумаги, без водяного знака, с клеймом фабрики Говарда. Полей нет. Рыжеватые чернила. Рассуждение о храбрости — вариант к соответствующему месту в начале рукописи № 3. Воспроизводится полностью (см. вариант № 23, стр. 238—239).

9 *(П. 2)*. Копия на 2 лл., 4^0, в виде согнутого полулиста серой бумаги, без водяного знака, с клеймом фабрики Аристархова. Старательный писарской почерк. Поля слева. Точное воспроизведение начала рассказа по рукописи № 3, с тем лишь отличием, что капитан (очевидно, по ошибке переписчика) назван не Хлаповым, а Хлановым. Начало: «Лѣтомъ 184. года я жилъ на Кавказѣ въ маленькой крѣпости N». Копия обрывается на словах: «такіе холода бываютъ, что и въ». Есть одна поправка красным карандашом, сделанная рукой С. А. Толстой. Во фразе: «этаго я вамъ скажу, отвѣчалъ мнѣ капитанъ, не только нашъ братъ ротный командиръ, а и самъ Полковникъ не знаетъ» — по ошибке, вызванной отсутствием запятой, вставлено «не» перед «скажу».

10 *(П. 2)*. Копия. 9 лл., 4^0. Русская серая бумага без водяного знака, с клеймом фабрики Аристархова. Старательный писарской почерк, тот же, что в предыдущей копии. Поля слева. Разрозненное начало рассказа по рукописи 3. Начало: «Лѣтомъ 184. года я жилъ на Кавказѣ въ маленькой крѣпости N». Л. 3 об. кончается частью недописанного слова, начинающего фразу в скобках: «Что и зналъ про него, такъ только отъ чужихъ. (Позна». Л. 4 начинается: «Вы бы перешли въ Россію». Конец копии: «старается быть похожимъ на татарина».

ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВОЙ И ТРЕТЬЕЙ РУКОПИСНЫХ РЕДАКЦИЙ И ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА «НАБЕГА».

Ркп. 1, видимо, одна из очень ранних редакций «Набега».

Место Павла Ивановича Хлопова занимает «капитан А.....въ», которого зовут Василием Ивановичем. Лицо, соответствующее Аланину, не имеет фамилии и называется просто «молодой офицеръ», «князь», «князекъ, изъ Грузинъ, кажется». Вместо Розенкранца — «поручикъ В....», и характеристика его очень сжата по сравнению с печатным текстом. Рассуждения о войне и храбрости в виде отдельного экскурса нет. Отсутствует также рассказ о матери капитана, о встрече с ней автора. Зато есть отброшенный при дальнейшей работе над «Набегом» рассказ капитана о «завале» (см. вариант № 1, стр. 218—219). Характеристика генерала и его окружения сделана в резко-сатирических тонах (см. варианты №№ 2 и 3, стр. 219—220), и, по всей вероятности, к подобного рода местам относятся занесенные в дневник замечания Толстого о необходимости изгнать из рассказа «сатиру» (см. «Историю писания «Набега»).

Перерыв после 12 л., сделанный на описании пребывания автора в при-

емной генерала, захватывает материал, соответствующий в печатном тексте приблизительно последней трети V гл., всей VI и трем четвертям VII гл. Л. 12 оканчивается словами: «взглянулъ на дожидавшихся офицеровъ и прошелъ въ кабинетъ». Л. 13, после перерыва, начинается с пейзажа, находящегося приблизительно в последней четверти гл. VII печатного текста: «Взглянувъ кверху, можно было замѣтить...» Далее идет описание гиканья горцев и отброшенное в дальнейшей работе над рассказом рассуждение по этому поводу (см. вариант № 4, стр. 220). Картина поведения русских войск во взятом ауле гораздо шире, чем в печатном тексте, осложнена подробно развитым эпизодом с карабинером и женщиной. Дальнейший текст, по месту и содержанию соответствующий X и XI гл. печатного, тоже сильно от него отличается (см. вариант № 5, стр. 220—226).

Рукопись, повидимому, не закончена: если даже в первоначальный план Толстого не входило дать «концовку» в стиле XII гл. печатного текста, если ему хотелось кончить рассказ как-то иначе, то все же заключительные строки рассказа по рукописи 1, данные в варианте № 5, производят впечатление незавершенности.

Рукопись 3 — одна из самых последних редакций «Набега». По сравнению с печатным текстом, данным в «Военных рассказах» и воспроизводимым в настоящем издании (см. стр. 15 — 39), она имеет значительные добавления. Вне этих добавлений, рукопись 3 очень близка к печатному тексту, но всетаки ни в одной главе не совпадает с ним совершенно, местами же значительно расходится.

Так как части, на которые делится рассказ в рукописи 3, вполне соответствуют главам печатного текста, то мы произведем сравнение по главам.

I гл. Значительная ее часть по ркп. 3 дана в вар. №№ 7 и 8. Первоначально рассуждение о войне и храбрости начинало рассказ, но особый значок, стоящий в двух соответствующих местах, указывает на перестановку. На такую же перестановку указывают две дошедшие до нас неполные копии (см. «Описание рукописей, относящихся к «Набегу», 9 и 10, стр. 296). Капитан называется не Хлоповым, а Хлаповым. Он не отговаривает автора от участия в набеге. После разговора о жизни капитана на Кавказе, изложенного гораздо подробнее, чем в печатном тексте, автор передает воспоминания Хлапова о его молодости, о службе в Польше и т. д.

II гл. Ркп. 3 дает иное, чем в печатном тексте, описание вооружения капитана (см. вар. № 9, стр. 231) и заключает отсутствующую в печатном тексте деталь: отправляясь в набег, капитан надел образок, присланный ему матерью (см. вар. № 10, стр. 231). Весьма разнится, особенно в заключительной части, разговор о молодом офицере, — Алянине печатного текста (см. вариант № 11, стр. 231).

III гл. Обращают внимание зачеркнутые строки о батальонном командире (см. вар. № 12, стр. 231—232) и усиленная работа над портретом поручика Розенкранца. Один из моментов этой работы показывает вариант № 13, (см. стр. 232).

IV гл. Картина привала в рукописи разнится от печатного текста. Обращают внимание более подробные рассуждения о молоденьком прапорщике

(Аланине), картинка с изобра жениемпляшущих офицеров (потом вычеркнутая), эпизод с играющими в карты офицерами, от которого в печатном тексте остался лишь бледный след, и весь конец главы, совершенно отсутствующий в печатном тексте (см. вар. № 14, стр. 232—234).

V гл. В печатном тексте отсутствуют строки о мимолетной встрече автора с генералом в приемной последнего и рассуждение о храбрости, вызванное этой встречей (см. вар. № 15, стр. 234).

VI гл. В ркп. 3 есть большое рассуждение о войне, которого нет в печатном тексте (см. вар. № 16, стр. 234—235). Кроме того, после слов: «генералъ со свитою проѣхалъ мимо меня» в ркп. есть фраза: «Торопливо сѣвъ на лошадь, я пустился догонять отрядъ».

VII гл. По сравнению с печатным текстом в ркп. 3 несколько иное изображение выстрелов и гиканья горцев (см. вар. № 17, стр. 235—236).

VIII гл. По сравнению с печатным текстом ркп. 3 не имеет никаких дополнений. Наоборот, печатный текст несколько полнее. Так, в ркп. нет относящихся к генералу слов: «вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность». Целиком отсутствует в ркп. весь конец главы, начиная со слов: «Зрелище было истинно величественное». Несколько длиннее звучит конец французской речи майора: «Si l'on est tué ou blessé, on a du moins la consolation de l'être dans le plus beau pays que je connaisse».[1]

IX гл. В печатном тексте отсутствуют слова генерала о разрешении казакам грабить занятый аул (см. вар. № 19, стр. 237) и строки об авторе и капитане на крыше сакли (см. вар. № 20, стр. 237).

X гл. Так же, как и VIII,—X гл. в ркп. 3 не имеет никаких добавлений по сравнению с печатным текстом, а наоборот — последний несколько полнее рукописного. В ркп. нет фразы: «Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же». Отсутствует также фраза: «Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля». Несколько изменен конец главы.

XI гл. Рассказ о докторе, последние слова умирающего прапорщика — резко отличаются от соответствующего места печатного текста (см. вар. № 21, стр. 237).

XII гл. В печатном тексте отсутствует место, данное в варианте № 22 (см. стр. 237—238).

ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ «НАБЕГА».

Как мы знаем, 26 декабря 1852 г. «Набег» был отправлен в «Современник». Рукопись пошла в сопровождении следующего письма Толстого на имя редактора.

26 декабря [1852].

Милостивый Государь!

Посылаю небольшой рассказ; ежели вам будет угодно напечатать его на предложенных мне условиях, то будьте так добры, исполните следующие мои просьбы: Ни выпускайте, не прибавляйте, и главное, не переме-

[1] Если тебя убьют или ранят, то по крайней мере можно утешаться тем, что это случилось в самой красивой стране, которую только знаешь.

няйте в нем ничего. Ежели бы что-нибудь в нем так не понравилось вам, что вы не решитесь печатать без изменения, то лучше подождать печатать и объясниться.

Ежели, против чаяния, Цензура вымарает в этом рассказе слишком много, то пожалуйста не печатайте его в изувеченном виде; а возвратите мне. На последней странице я означил × и * два варианта, которые я сделал в двух местах, за которые я боюсь в этом отношении; просмотрите и вставьте их, ежели найдете это полезным. —

Я полагаю, что примечания, которые я сделал на последнем листе, или по крайней мере, некоторые из них необходимы для Русских читателей.

Я-бы тоже желал, чтобы деления, означенные мною черточкой, так и оставались в печати. —

Извините, что рукопись уродливо и нечисто написана; и то мне стоило ужасного труда!

В ожидании вашего ответа и мнения о этом рассказе, имею честь быть, с совершенным уважением, ваш покорнейший слуга

Г. Л. Толстой.[1]

«Набег», за подписью Л. Н., появился в 3 книжке «Современника» 1853 г., которая дошла до Толстого в конце апреля. «Получил книгу с своим рассказом, приведенным в самое жалкое положение. Это расстроило меня», — записал он в дневнике 28 апреля.

Действительно, цензура страшно изуродовала рассказ. О характере и размерах произведенных ею изъятий, об изменениях, сделанных ею же или, под ее влиянием, редакцией «Современника», дают понятие особо отмеченные нами места в «Печатных вариантах «Набега» по тексту «Современника» 1853 г., № 3» (см. стр. 201—203).

Посылая гонорар за «Набег», Некрасов писал Толстому:

6 Апреля 1853. Спб.

Милостивый Государь,
Лев Николаевич,

Вероятно, вы недовольны появлением вашего рассказа в печати. Признаюсь, я долго думал над измаранными его корректурами — и наконец решился напечатать, сознавая то убеждение, что, хотя он и много испорчен, но в нем осталось еще много хорошего. Это признают и другие. Во всяком случае это для вас мерка, в какой степени позволительны такие вещи, и впредь я буду поступать уже сообразно с тем, что вы мне скажете, перечитав ваш рассказ в печатном виде.

При сем прилагаются 75 р. сер., следующие вам за этот рассказ.

Пожалуйста не падайте духом от этих неприятностей общих всем нашим даровитым литераторам. Не шутя, ваш рассказ еще и теперь очень жив и грациозен, а был он чрезвычайно хорош. Теперь некогда, но при

---

[1] «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. Примечания составил Н. Ашукин». М. 1916, стр. 189 — 190. Проверено по подлиннику.

случае я вам напишу более. Не забудьте Современника, который рассчитывает на ваше сотрудничество.

Примите уверение в моем истинном почтении

Н. Некрасов.[1]

Несмотря на утешения Некрасова, Толстой, видимо, долго находился под тяжелым впечатлением цензурного произвола.

В мае он писал брату С. Н. Толстому: «*Детство* было испорчено, а *Набег* так и пропал от цензуры. Всё, что было хорошего, всё выкинуто или изуродовано».[2]

В 1856 г. «Набег» появился в книжке «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого. Санктпетербург. 1856», где он занимает стр. 1 — 57. Цензурная дата книжки, изданной книгопродавцем А. И. Давыдовым, — 11 мая 1856 г., но в свет она вышла в конце сентября или в начале октября.

26 августа Давыдов извещал Толстого, что «книга «Военные рассказы» на сих днях печатанием кончится», что она будет состоять из 17 печатных листов, и что, по мнению Н. А. Некрасова, цена 2 р., а с пересылкой для иногородних в 2 р. 50 к., слишком высока: не лучше ли назначить цену в 1 р. 50 к. и в 2 р.? 20 сентября Д. Я. Колбасин писал Толстому, что «Давыдов окончил печатание».[3]

Насколько выиграл текст «Набега» при новых цензурных условиях, значительно более мягких после Николаевской эпохи, видно опять-таки из «Печатных вариантов «Набега» по тексту «Современника» 1853 г. № 3», где журнальный текст сравнивается именно с текстом «Военных рассказов», который мы воспроизводим в настоящем издании.

Выбор этого текста, как канонического, требует особого пояснения в связи с историей печатания «Набега» вообще.

После 1856 г., вплоть до 1911 г., все издания давали «Набег» по тексту «Военных рассказов» с очень немногочисленными и чисто случайными разночтениями.

В 1911 г. вышло XII изд. «Сочинений» Толстого, где С. А. Толстая дала новый, более пространный текст «Набега». В примечании (т. II, стр. 67) она объяснила, что это произведение «для настоящего издания исправлено и значительно дополнено по рукописи».

Чтобы уяснить себе характер дополнений, нужно прежде всего решить, что представляет из себя та рукопись, из которой они брались.

Нет никакого сомнения, что С. А. Толстая разумела ту рукопись, которая выше условно названа третьей редакцией, и которую мы сравнивали с текстом «Набега» в «Военных рассказах».

К какому же моменту творческой истории «Набега» относится данная рукопись? Быть может, это черновой текст, который был перед глазами помогавших Толстому переписчиков, и для них были расставлены им NB и сделаны обозначения: «н[овая] с[трока]»? Быть может, с этого текста, в конце концов, сам Толстой снял копию, отправленную в «Современ-

[1] «Круг». Альманах. Книга шестая. М. 1927. стр. 188

[2] ПСС. XXI, 127.

[3] По подлинникам из архива Толстого, хранящимся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина.

ник»? За утвердительный ответ говорят, как-будто, такие подробности, как деление рассказа на части не цыфрами глав, а чертами, о чем Толстой писал Некрасову, и значок (хотя и не такой, какой указан в письме) на варианте портрета Розенкранца, вложенном в первую часть рукописи. Но примечания помещены не в конце, а под строкой, что противоречит указаниям письма Толстого к Некрасову. Во всяком случае, у нас нет совершенно определенных данных, чтобы поставить знак равенства между рукописью третьей редакции и той, неизвестной нам, рукописью «Набега», которая была отправлена в «Современник». Не говорим уже о корректурах, которые не сохранились, а в них Толстой обычно делал большие поправки.

Быть может, рукопись третьей редакции та самая, с которой снималась копия для печатания «Набега» в «Военных рассказах»? И на этот вопрос мы не имеем права дать утвердительный ответ. Заглавие в ркп. иное, чем в сборнике «Военных рассказов». В сборнике текст разделен на главы, в рукописи такого деления нет. Корректуры «Набега» в «Военных рассказах» до нас не дошли. Если сравнить рукопись третьей редакции с текстом сборника, оставляя в стороне взятые С. А. Толстой добавления, то местами окажется довольно значительная близость, в некоторых абзацах почти полное совпадение, местами же значительные расхождения (см., например, варианты №№ 7, 8, 10, стр. 228—231), и, особенно не зная корректур, нельзя сказать утвердительно, что именно с данной рукописи снималась копия, по которой печатался текст «Набега» в «Военных рассказах».

В итоге нужно признать, что, делая добавления по ркп. третьей редакции к тексту «Набега», как он дан в «Военных рассказах», С. А. Толстая создавала новый, «сводный» текст «Набега».

По всей вероятности, делая дополнения, С. А. Толстая прежде всего руководилась желанием восстановить цензурные пропуски. Но установить, что могло быть выкинуто цензурой и что могло быть выпущено самим Толстым, она могла лишь так же приблизительно, как и мы. Приходилось руководствоваться чисто-субъективным взглядом, особенно опасным в данном случае: с самого начала работы над «Набегом», как мы знаем, Толстой тщательно изгонял из него «сатиру», которую, с другой точки зрения, уничтожала, конечно, и цензура.

Выбор дополнений, которые, как будто, не преследовали целей восстановления цензурных вымарок, а могли диктоваться художественными соображениями, тоже очень субъективен. Почему, например, не взято место об образке, который прислала капитану мать, и который он надел, отправляясь в набег (см. вар. № 10, стр. 231)?

На субъективный выбор С. А. Толстой не оказывала влияния та оценка, которую Л. Н. Толстой, со слов брата Н. Н. Толстого, дал отдельным местам рассказа, отмечая их по пятибалльной системе. Места, оцененные единицей и двойкой, вошли в добавления С. А. Толстой.

Нельзя забывать, при рассмотрении дополненной редакции «Набега», что 7 декабря, принявшись за усиленную работу над рассказом, Толстой записал в дневнике: «ежели я еще буду переделывать, то выйдет лучше, но совсем не то, что я сначала задумал». А после этой записи как

раз и начались усиленные переделки и переписывания «Набега». Одним из основных правил при этой работе было то, которое Толстой 16 октября 1853 г. записал себе для неизменного руководства: «Перечитывая и исправляя сочинение, не думать о том, что нужно прибавить (как бы хороши ни были приходящие мысли), если только не видишь неясности или недоказанности главной мысли, а думать о том, как бы выкинуть из него как можно больше, не нарушая мысли сочинения (как бы ни были хороши эти лишние места)». Если «Набег» для «Современника» писался еще тогда, когда это «правило» не всегда с надлежащей строгостью исполнялось Толстым, находилось еще в процессе выработки, проверялось на опыте работы, в том числе и над «Набегом», то ко времени издания «Военных рассказов» Толстой уже действительно руководился им.

С точки зрения этой сжатости, удаления всего лишнего, нельзя не признать, что рассуждение о войне и храбрости, которым начинается «Набег» в издании С. А. Толстой, представляется нарушением строгого правила. Оно в довольно значительной своей части повторяет, даже в совершенно тождественных выражениях, те мысли о храбрости, которые автор излагает ниже, в разговоре с капитаном.

Наконец, нельзя не отметить, что текст добавлений дан иногда неточно. В конце IV гл. пропущена имеющаяся в рукописи заключительная фраза о духе войска (см. вар. № 14, стр. 233—234). По рукописи (в гл. XII) в уме Ровенкранца слагался не «полный», как напечатано, а «пышный» рассказ о набеге (см. вар. № 22, стр. 238). У доктора, приехавшего к раненому прапорщику (в гл. XI), были не «красные», а «потные» глаза (см. вар. № 21, стр. 237).[1]

Таков характер больших добавлений, которые сделаны были С. А. Толстой к тексту «Набега», как он был дан в «Военных рассказах».

Что касается небольших вставок и исправлений отдельных слов, то, опуская мелочи, отметим следующие изменения, внесенные в XII изд. на основании рукописи третьей редакции.

Стр. 17, строка 38. *Вместо:* сражениях — *в XII изд.: страженилх.*

Стр. 28, строки 1 — 3. *После слов:* проехал мимо меня. — *в XII изд.:* Торопливо сев на лшаадь, я пустился догонять отряд.

Стр. 29, строка 24, *Вместо:* показывалась винтовка—*в XII изд.* покачивалась винтовка

Из исправлений С. А. Толстой, не основанных на рукописи, укажем следующие:

Стр. 20, строка 34. *Вместо:* субалтер-офицер — *в XII изд.:* субалтерн-офицер.

Стр. 36, строка 33. *Вместо:* кротко отвечал — *в XII изд.:* коротко отвечал.

Наконец, заметим, что в конце первого абзаца V гл. после слов:

---

[1] Вероятно, изменение рукописного текста произведено сознательно. С. А. Толстую, должно быть, поразило необычное выражение: «потные глаза», и она переделала его. Между тем Толстым оно написано не случайно: к нему есть аналогия в записи дневника под 3 ноября 1853 г., где говорится о физиономиях «с потными чертами лица». Добавим, что «потные глаза» — написано совершенно отчетливо.

«В ауле» С. А. Толстой пропущено. — вероятно, случайно: «расположенном около ворот».

Текст «Набега», данный С. А. Толстой в изд. 1911 г., перепечатывался во всех последующих изданиях, кое-где со случайными отменами. Он оказал влияние даже и на последнее Ленгизовское издание: в нем сделаны те же ошибки в добавлениях к IV, XI и XII гл., взятых из рукописи, и тот же пропуск в V гл., которые указаны выше.

Настоящее издание, как уже сказано, берет за основу текст «Военных рассказов», печатавшихся под наблюдением Толстого, но со следующими изменениями:

Стр. 25, строки 5—6 — *восстанавливаем указанный выше пропуск после слов:* В ауле.

Стр. 28, строки 1—3 — *восстанавливаем, согласно рукописи и XII изд., указанный выше пропуск после слов:* проехал мимо меня. *Пропуск этот в тексте «Военных рассказов» считаем случайным.*

Стр. 29, строка 24. *Печатаем:* покачивалась винтовка — *текст, оправдываемый рукописью: написание* показывалась винтовка *считаем опечаткой.*

Всюду даем написание: «попаха», *а не* «папаха»: *оно дано в «Военных рассказах», преобладает во всех рукописях и, вероятно, отражает особенность произношения Толстого.*

РУБКА ЛЕСА.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ «РУБКИ ЛЕСА».

1 января 1853 г. Л. Н. Толстой, живший на Кавказе, выступил в поход и вернулся обратно в станицу Старогладковскую только 24 марта. Не всё это время сплошь он провел в походе, в боевых действиях: отряд, в котором был Толстой, исполняя сложный план руководившего походом кн. Барятинского, почти весь январь пробыл в Грозной. Тем не менее Толстому пришлось побывать в делах, и за одно из них, много позднее, он был произведен в прапорщики.

В книге Янжула[1] указано, что «согласно общему плану занятий для войск кавказского корпуса на 1853 г., в Чечне предстояло продолжать вырубку лесов и проложение просек, чтобы отрезать плоскость от Хобишавдонских высот до Аргунского ущелья, возвести новые укрепления и тем очистить плодородную равнину от враждебного нам населения, вынудив его или покориться, или уйти в Черные горы. Для этого считалось необходимым сделать две просеки: одну от укрепления Куринского к аулу Автуры, через Качкалыковский хребет, — а другую от Умаханюрта, перпендикулярно первой». Задача была выполнена, и широкая, безопасная просека, прорезывавшая весь Качкалыковский хребет, усилила переселение к нам чеченцев.

Таким образом, в зимний поход 1853 г. Толстой еще ближе, чем в 1852 г., познакомился с тем, что такое «рубка леса», как одна из главных операций в борьбе с чеченцами.

Личные впечатления Толстого от «рубки леса» должны были войти в состав тех очерков Кавказской военной жизни, которые, под разными заглавиями, он задумывал. Но здесь случилось то же самое, что с «Набегом», зерном которого было «Письмо с Кавказа»: то, что должно было отлиться в форму очерка-корреспонденции, приняло, в конце концов, иную форму, носящую, по признанию самого Толстого, заметные следы Тургеневского влияния.

---

[1] «Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й артиллерийской бригады. 1806 — 1886. Исторический очерк войны и владычества русских на Кавказе. Составил той-же бригады капитан Янжул. Под ред. генерал-майора Чернявского». Тифлис, 1886 — 1887. Т. II, стр. 125 след.

25 июня 1853 г. Толстой намечает в дневнике на следующий день такие работы: «Встать рано, писать *Отрѣчество* до обеда; после обеда... писать Дневник К[авказского] О[фицера] или Бѣглец». Задание относительно «Дневника кавказского офицера» было на следующий день исполнено.

27 июня Толстой «после обеда до самого вечера читал и обдумывал Записки К[авказского] О[фицера]».

Весьма вероятно, что «Дневник кавказского офицера» и «Записки кавказского офицера» — одно и то же произведение, и разница в заглавии отражает колебания Толстого при начале работы.

В архиве Толстого сохранилось начало произведения с таким зачеркнутым заглавием: «Рубка лѣса. Дневникъ Кавказскаго Офицера», — несомненный отрывок первоначального наброска «Рубки леса» (см. настоящий том, стр. 270). В то же время в окончательный текст «Рубки леса» вошли, почти буквально, целые строки из неоконченного отрывка «Записки о Кавказѣ. Поѣздка въ Мамакай-юртъ» (см. настоящий том, стр. 215—217). «Поѣздка въ Мамакай-юртъ» намечена была, как часть «Очерков Кавказа», программа которых занесена в дневник под 19 октября 1852 г. (см. «Историю писания «Набега», стр. 291). Программа в целом и содержание отрывка в частности вполне допускают предположение, что «Очерки Кавказа» задуманы были от лица кавказского офицера.

Таким образом, возможно, что «Рубка леса» началом своим восходит и к «Дневнику кавказского офицера», и к «Запискам кавказского офицера», которые, в процессе работы, были разной формой для одного и того же содержания.

Впервые заглавие «Рубка леса» встречается в дневнике под 28 июня: «после ужина у Ал[ексеева] писал немного Дневник Кавказского офицера и Р[убку] Л[еса] и обдумал».

Запись эта как-будто говорит, что «Дневник кавказского офицера» и «Рубка леса» — два разных произведения. Но обращаясь к отмеченному выше заглавию первоначального наброска «Рубки леса», сводящему воедино заглавия из дневниковой записи, а также к приводимым ниже записям дневника от начала декабря, вполне допустимо предположение, что здесь идет речь об одном произведении. Как будет видно далее, декабрьские записи позволяют поставить знак равенства между «Дневником кавказского офицера» и «Записками фейерверкера», а последние, вне всякого сомнения, одно из заглавий «Рубки леса».

Вероятно, о том же произведении идет речь в записи под 30 июня, где намечается на следующий день после обеда писать З. О. или К. О. (допустимо то и другое чтение этого места с исправленной первой буквой), т. е. «Записки Офицера» или «К[авказские?] О[черки?]».

Затем упоминания о работе Толстого над будущей «Рубкой леса» исчезают со страниц дневника до августа. Очевидно, в работе наступил перерыв, вызванный, быть может, ее трудностью. А последняя находит объяснение в следующих словах Толстого от 27 июля: «Читал З[аписки] О[хотника] Тург[енева], и как-то трудно писать после него».

В августе, одновременно с работой над «Отрочеством» и «Казаками», Толстой берется и за «Записки кавказского офицера».

7 августа утром он намерен писать «Отрочество», а после обеда — «Записки кавказского офицера». Суммарная запись под 17 — 26 августа говорит, что Толстой «решился бросить Отрочество, а продолжать Роман и писать рассказы К[авказские]».

После этого опять длинный перерыв в записях, имеющих отношение к «Рубке леса».

Запись дневника от 2 декабря подводит итог колебаниям Толстого в выборе намеченной литературной работы после «Отрочества», скорое окончание которого он предвидит. «Я решился, — записано в дневнике, — окончив «Отрочество», писать теперь небольшие рассказы, настолько короткие, чтобы я сразу мог обдумать их, и настолько высокого и полезного содержания, чтобы они не могли наскучить и опротиветь мне».

На следующий день литературные планы изложены более конкретно. «Я был в нерешительности насчет выбора из 4-х мыслей рассказов. 1) ⟨Встреча с Кавказ⟩ Дневник Кавказского Офицера, 2) Казачья поэма,[1] 3) Венгерка,[2] 4) Пропащий человек.[3] Все четыре мысли хороши. Начну с самой, повидимому, несложной, легкой и 1-й по времени — Д[невник] К[авказского] О[фицера]».

Суммарная запись дневника под 11 — 16 декабря отмечает, несомненно, переломный момент в работе над той вещью, которая, в конце концов, оформилась, как «Рубка леса». «Начал вчера З[аписки] Ф[ейерверкера], но нынче ничего не писал», — отметил Толстой.

Очевидно, все предыдущие опыты на эту тему оставлены, и Толстой вновь приступил к ее разработке, действительно, в буквальном смысле, *начал* «Записки фейерверкера», не как продолжение старой работы, а как что-то новое, — разумеется, только по форме: реальный материал был один и тот же тогда и теперь. Новое заглавие выразительно подчеркивает наступление переломного момента в работе.

В декабре 1853 г., среди записей о работе над «Романом русского помещика», есть еще одно упоминание о «Записках фейерверкера»: 28 числа Толстому помешали писать их «разные дела».

С 3 по 13 января 1854 г. в дневнике идут почти ежедневные упоминания о «Записках фейерверкера», от которых Толстого не отвлекает и параллельная работа над «Отрочеством».

Некоторые из дневниковых записей носят характер черновых заметок, материалов для будущей «Рубки леса».

Так, 6 января Толстой «раскрыл тетрадь», чтобы писать «Записки фейерверкера», «но ничего не написал, а до ужина болтал с Чекатовским о солдатиках».

Вероятно, разговоры велись в связи с работой Толстого, и под их впечатлением он в тот же день записывает: «Солдат Жданов дает бедным рекрутам деньги и рубашки. — Теперешний феерверкер Рубин, бывши рекрутом и получив от него помощь и наставления, сказал ему: — Когда

---

[1] Повесть «Казаки».

[2] От этого художественного замысла не осталось никаких следов.

[3] Первоначальное заглавие рассказа «Разжалованный» («Встреча в отряде с Московским знакомым».)

же я вам отдам, *дяденька?* — Что ж, коли не умру, отдашь, а умру, всё равно останется, — отвечал он ему».

Под тем же числом еще три аналогичных записи.

«Я встретил безногого угрюмого солдата и спросил его, отчего у него нет креста. — Кресты дают тому, кто лошадей хорошо чистит, — сказал он, отворачиваясь. — И кто кашу сладко варит, — подхватили, смеясь, мальчишки, шедшие за ним».

«Спевак, строевой Ефрейтор, получил от Рубина на сохранение 9 р. с. Он пошел гулять и вынул их с своими деньгами. Ночью у него украли их; и несмотря на то, что Р[убин] не упрекал его, он не переставая плакал, убивался от своего несчастья. Рекрутик Захаров просил Рубина успокоить его, предлагая свой единственный целковый. Взвод сделал складчину и выплатил долг».

— «Только бы фолейтору вожжи держать, — сказал Черных перед кабаком, продавая краденую шубу».

Запись о Жданове использована в III гл. «Рубки леса» для характеристики солдата с той же фамилией. В истории Спевака нельзя не видеть того же, что рассказано о Веленчуке в конце II гл.

Заметка, занесенная 7 января, несомненно использована в XIII гл. «Рубки леса». «Русский — или вообще простой человек, —записал Толстой, — в минуту опасности любит показывать, что чувствует, или действительно чувствует больше страха потерять порученные ему или собственные вещи, чем жизнь».

В качестве материала Толстой заносит и мелкие подробности, касающиеся внешности, одежды солдат, вроде записи под 8 января: «Солдаты носят суконные нагрудники».

Записаны также наблюдения над особенностями языка. Правда, это наблюдения над языком гребенских казаков, но они использованы для передачи говора солдат. Так, под 18 ноября 1853 г. записано: «Казаки говорят: *эта* ружье». Отмеченная особенность казацкого говора нашла отражение в двух местах «Рубки леса». На стр. 53, строка 8, Веленчук говорит: «прямо в ту дерево попанет», и на стр. 65, строки 39—40, капитан Тросенко произносит: «что̀ за чудо такая приехало?»

Упоминания о «Записках фейерверкера» продолжаются почти до самого отъезда Толстого с Кавказа, т. е. до 19 января.

Делая планы работ на время дороги, он пишет: «Перечел «Отрочество» и решил не смотреть его до приезда домой, а дорогой писать Кавк[азские] З[аписки] Ф[ейерверкера]».

Действительно, мысли о «Записках фейерверкера» не покидали его дорогой.

Быть может, 21 января, в Николаеве, их оживила встреча с Чикиным, через которого он послал письмо Алексееву, — если допустить, что этот Чикин — солдат, изображенный под своей фамилией в «Рубке леса», как балагур, весельчак и забавник.

В тот же день сделана запись, которую можно рассматривать, как черновой материал для будущей «Рубки леса»: «Есть особый тип молодого солдата с выгнутыми назад ногами».

Возвращение на родину, свидание с близкими, назначение в Дунайскую

армию, куда Толстой скоро выехал, отвлекли его от работы над «Записками фейерверкера», и упоминание о ней мы встречаем лишь 5 июля 1854 г. Очутившись вновь среди солдат, пристально в них вглядываясь, Толстой вспомнил про давно начатую работу и отметил в дневнике: «Вечером написал главу Зап[исок] Феер[веркера] с увлечением и порядочно».

Через день, 7 июля, «после обеда уже очень поздно начал писать «Записки Феерверкера» и до вечера написал довольно много», хотя у него были гости.

9 числа работа закончена, но Толстой очень недоволен и мрачно смотрит не только на нее, но и на всю свою литературную деятельность. «Утро и целый день» — записывает он, — провел то пиша «Записки Феерверкера», которые между прочим кончил, но которыми так недоволен, что едва ли не придется переделать всё заново или вовсе бросить, но бросить не одни «Записки Феерверкера», но бросить всё литераторство; потому что, ежели вещь, казавшаяся превосходною в мысли, — выходит ничтожн[ой] на деле, то тот, который взялся за нее, не имеет таланта».

На другой день отмечена переписка набело, но, надо полагать, это была не столько переписка, сколько переделка ранее написанного. Об этом говорят записи под 14, 15 и 16 июля.

14 июля Толстой «утром, кроме обыкновенного чтения Гете и подвертывавшихся книжонок, написал Жданова, но насчет личности Виленчука всё еще не решился».

15 июля Толстого рано утром разбудил доктор, и, благодаря этому, он написал довольно много, «всё переделывая старое — описание солдат».

16 июля он отметил: «окончил описание солдат; зато дальше идет туго».

Судя по дневнику, через две недели с небольшим Толстой снова принялся за «Записки фейерверкера».

2 августа „утром писал немного «Записки Феерверкера"".

Под 5 августа записано: «Я встал рано и тотчас же принялся писать с удовольствием. И написал хорошо, конец эпизода ядра, потому что писал с удовольствием».

Ни болезнь, ни горячка азартной карточной игры не отвлекают Толстого от захватившей его работы. Как свидетельствует запись дневника под 17 августа, он пишет даже во время перехода.

Наконец, 20 августа рассказ, — под заглавием, возвращающим нас к началу работы Толстого над ним, — окончен, но оценка ему дана суровая: «Окончил «Рубку леса». Schwach».[1]

С 7 ноября 1854 г. Толстой в Севастополе.

Его письма севастопольской поры к брату С. Н. Толстому, к тетке Т. А. Ергольской, к Н. А. Некрасову, его планы об издании военного журнала, «чтобы поддерживать хороший дух в войске», его усилия собрать кружок лиц, которые из Севастополя снабжали бы «Современник» статьями по военным вопросам, — всё это говорит о том, что солдатская масса с новой силой привлекла внимание Толстого, и что ему естественно было вспомнить про свой отложенный в сторону рассказ.

---

[1] [Слабо.]

Очевидно, он начал новую и на этот раз уже последнюю его переработку. «З[аписки] ф[ейерверкера]»[1] кончу на днях», — отмечает он в дневнике под 8 мая. Затем, после упоминания рассказа 1 июня, жалоб на лень, 16 июня читаем: «Ура... окончил З[аписки] Ю[нкера], нечетко и нехорошо, но послать можно».

17 июня Толстой «работал всё над З[аписками] Ю[нкера]». Очевидно, это была окончательная переписка набело, как всегда у Толстого, соединенная с поправками. Об этом ясно говорит запись следующего дня. «Утром кончил «З[аписки] Ю[нкера]», написал письмо и послал», — читаем в начале. В конце, отмечая по пунктам проявления своей личности за день, под пунктом 2 он говорит: «не переделал разговора в «З[аписках] Ю[нкера], которой нужно было переделать». Накануне подобной лености не отмечено, да и 18 июня «разговор» не был переделан, по всей вероятности, потому, что было много других переделок.

От рукописи «Рубки леса» сохранился в архиве Толстого, находящемся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина *(Папка VII)*, небольшой отрывок начала, упомянутый выше. Это — автограф, 2 лл., 4° в виде согнутого пополам полулиста писчей бумаги с клеймом Невской фабрики, 1 л. чистый. Текст беловой, с очень незначительным количеством поправок. Переписан очень тщательно. Воспроизводится полностью в настоящем томе (см. стр. 270).

ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ «РУБКИ ЛЕСА».

14 июня 1855 г. Толстой писал из Бельбека Некрасову: «Надеюсь, что дня через 3 пошлю вам *«Рассказ Юнкера»* — довольно большую статью, но не Севастопольскую, а Кавказскую, которая поспеет к VII книжке... — Ежели Тургенев в Петербурге, то спросите у него позволение на статье *Рассказ Юнкера* надписать: *посвящается И. Тургеневу*. Эта мысль пришла мне потому, что когда я перечел статью, я нашел в ней много невольного подражания его рассказам».[2]

Некрасов был в восторге от нового рассказа Толстого и писал Тургеневу из Петербурга 18 августа 1855 г.: «В IX № «Совр.» печатается посвященный тебе рассказ юнкера: *«Рубка лесу»*. Знаешь ли, что это такое? Это очерк разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть вещь доныне небывалая в русской литературе. И как хорошо! Форма в этих очерках совершенно твоя, даже есть выражения, сравнения, напоминающие «З[аписки] Ох[отника]», — а один офицер так просто Гамлет Щ[игровского] уезда в армейском мундире. Но всё это далеко от подражания, схватывающего одну внешность».[3]

Самому Толстому Некрасов 2 сентября сообщал следующее: «Рубка леса» прошла порядочно, хотя и из нее вылетело несколько драгоценных черт. Мое мнение об этой вещи такое: формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; всё остальное принадлежит

---

[1] Начальная буква последнего слова написана крайне неразборчиво.

[2] ПСС, ред. Бирюкова, т. XXI, стр. 140 — 141.

[3] А. Н. Пыпин, «Н. А. Некрасов», Спб. 1905, стр. 135.

вам и никем, кроме вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких заметок, и весь он *нов*, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы всё, что знаете об этом предмете, — всё это будет в высшей степени интересно и полезно».[1]

«Рубка леса» появилась в IX кн. «Современника» за 1855 г. под таким слегка измененным грамматически заглавием: «Рубка лесу. Рассказ юнкера. (Посвящается И. С. Тургеневу)». Под рассказом подпись — Л. Н. Т. и дата: «1855 года, 15 июня». После III гл. сразу идет V: очевидно, по недосмотру пропущено обозначение IV гл. Менее вероятным является предположение, что редакция «Современника» хотела соединить III и IV гл. и, по небрежности, забыла изменить нумерацию следующих глав.

По сравнению с «Набегом», «Рубка леса» действительно прошла в цензуре «порядочно», хотя прав был Некрасов и в том, что из нее «вылетело несколько драгоценных черт».

О цензурных пропусках и искажениях в «Рубке леса» можно судить по сравнению журнального текста рассказа и текста, данного в «Военных рассказах» (см. печатные варианты рассказа «Рубка леса», по тексту «Современника», 1855, № 9, стр. 204—210). Разумеется, при этом нельзя забывать, что полной картины это сравнение не дает: она могла бы быть восстановлена лишь при наличии рукописей, с которых рассказ набирался для журнала и сборника, и при наличии гранок, как правленых редакцией, так и подписанных цензором. Ничем подобным мы не располагаем.

В «Военных рассказах» исчезло посвящение Тургеневу, в заглавии вместо «Рубка лесу» появилось «Рубка леса», и главы XIII и XIV соединены в одну.

Текст, данный в «Военных рассказах», повторялся, с некоторыми случайными отменами, в изданиях сочинений Толстого, кончая пятым (1886 г.). Начиная с шестого издания (тоже 1886 г.) стали вноситься исправления явных опечаток и поправки по тексту «Современника».

Мы даем «Рубку леса» по тексту «Военных рассказов» с исправлением очевидных опечаток и со следующими отменами:

Стр. 42, строка 15. *Печатаем по «С.»:* батальон — *вместо:* батальйон

Стр. 42, строки 26 — 27. *Печатаем по «С.»:* трава оттаивала кругом костра, солдатам всё казалось — *вместо:* трава кругом костра. Солдатам всё казалось

Стр. 43, строки 20 — 21. *Вместо:* а) отчаянных забавников и б) отчаянных. — *печатаем:* а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных. *Ниже* (стр. 44, строки 13 — 18) *идет речь о втором подразделении* — отчаянных развратных, *так что пропуск последнего слова является случайностью.*

---

[1] «Нива. Ежемесячные литературные приложения», 1898, 2, стр. 344.

Стр. 45, строка 17. *Печатаем по «С».:* и сам Веленчук) — *вместо:* сам и Веленчук)

Стр. 49. строка 35. *Печатаем по «С.»:* пьяный бы был...— *вместо:* пьяный был...

Стр. 51, строка 37. *Печатаем по «С.»:* их винтовок — *вместо:* из винтовок

Стр. 53, строка 31. *Вместо: бонжуролии — печатаем: бонжурами. Опечатка выясняется сопоставлением данного места со стр. 64, строка 18.*

Стр. 55, строки 12—13. *Печатаем по «С.»:* Он остановился и посмотрел на меня. — Без шуток. — *вместо:* Он остановился и посмотрел на меня без шуток.

Стр. 62, строка 25. *Вместо:* Гнилокшикину — *печатаем:* Гнилокишкину, *считая первое написание опечаткой.*

Стр. 65, строки 8 и 9. *Вместо:* шапку — *печатаем:* шашку

Стр. 67, строки 23 и 24. *Вместо:* Так-с. Это, положим, — *печатаем:* Так-с.

— Это, положим,

Стр. 67, строка 29. *Вместо:* 165. — *печатаем:* 175, *так как здесь явная опечатка.*

Стр. 72, строка 14. *Вместо:* должникам — *печатаем:* должником, *исправляя опечатку в церковно-славянском тексте молитвы.*

Стр. 73, строка 2. *Печатаем по «С.»:* фирверкин — *вместо:* фейерверкин

ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ. РАЗЖАЛОВАННЫЙ.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ «РАЗЖАЛОВАННОГО».

Во время службы на Кавказе Толстой встречался с несколькими лицами, отбывавшими суровое наказание в качестве рядовых кавказских линейных батальонов. Таковы были, например, два участника кружка М. В. Буташевича-Петрашевского, А. И. Европеус и Н. С. Кашкин, разжалованные из офицеров, а также А. М. Стасюлевич, брат профессора Петербургского университета и редактора-издателя «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, тоже разжалованный в рядовые с лишением дворянского звания «за неодобрительное поведение и разные противузаконные поступки по отправлению должности караульного офицера».[1]

Встречи с разжалованными произвели на Толстого большое впечатление. «Разжалованный женатый Европеус очень интересует меня», — записал он в дневнике под 16 июля 1852 г. Встречу со Стасюлевичем (Толстой пишет его фамилию *Стасулевич*) он отмечает под 4 ноября 1852 г.: «Вчера после пульки Стасулевич, который, как кажется, человек с очень хорошими способностями, рассказывал мне историю своего несчастия». Эту историю Толстой подробно записывает, передавая, как Стасюлевич поплатился за чужие служебные проступки, благодаря которым во время его дежурства из Метехского замка в Тифлисе по ночам выпускались арестанты. «Виновен он или нет? — спрашивает Толстой. — Бог знает, но когда он рассказывал мне (он то прекрасно говорит) свое горе и его жены, я едва сдерживался от слез».

В 1901 г., в беседе с А. Б. Гольденвейзером, Толстой вспоминал вторую встречу со Стасюлевичем, в 1866 г., когда Стасюлевич, уж снова офицер, приезжал в Ясную поляну просить Толстого выступить защитником рядового Шибунина, преданного военному суду за оскорбление офицера. «Я его, — сказал Толстой, — описал отчасти в рассказе «Встреча в отряде с московским знакомым». Я нехорошо это сделал: он был так жалок, и не следовало его описывать. Впрочем, это не совсем он. Я соединил с ним еще Кашкина, который судился вместе с Достоевским».[2]

---

[1] П. О. Бобровский, «История 13 лейб-гренадерского Эриванского его величества полка за 250 лет (1642 — 1892)», Спб. 1892 — 1897, т. IV, стр. 354.

[2] А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», М. 1922 — 1923, т. I, стр. 61.

Замысел рассказа, навеянный встречами с разжалованными, зародился на Кавказе. Первое упоминание о нем находится в записи дневника от 3 декабря 1853 г.: «Я был в нерешительности насчет выбора из 4-х мыслей рассказов. 1) ⟨Встреча с Кавказ⟩ Дневник Кавказского Офицера, 2) Казачья поэма, 3) Венгерка, 4) Пропащий человек». Последнее заглавие — несомненно, будущий «Разжалованный» или «Встреча в отряде с московским знакомым».[1]

После этого глухого упоминания вплоть до конца 1856 г. в дневнике Толстого нет никаких указаний на работу над этим замыслом.

В ноябре 1856 г., будучи в Петербурге и, по всей вероятности, под влиянием просьб Дружинина, желавшего, в самое горячее для подписки время, получить что-нибудь в свой журнал от Толстого, последний вспомнил про давно задуманный рассказ и частью продиктовал, частью написал «Разжалованного», как видно будет ниже, несколько раз менявшего заглавие.

9 ноября Толстой «дома диктовал порядочно «Разж[алованного]». На другой день «диктовал немного». 11 числа «продиктовал часа $1^1/_2$». 13 числа «чуть-чуть продиктовал «Разж[алованного]», а на следующий день диктовка прекратилась, и Толстой «дописал начерно «Разжалованного». 15 и 18 ноября он «переправлял» написанное. Повидимому, перемежаясь с работой над «Романом русского помещика», отделка «Разжалованного» продолжалась до конца ноября, когда рассказ был отдан Дружинину.

«Разжалованного» не пропускают», — записывает Толстой в дневнике под 2 декабря.

Вероятно, к этому дню относится следующее не датированное письмо А. В. Дружинина к Толстому по поводу отношения цензуры к его рассказу: [2]

Милейший друг Лев Николаичь, кн. Щербатов мил и прекрасен. Он просит вас о след[ующем]: 1-е переменить заглавие, 2) смягчить резкие выражения об офицерах и вообще Кавказцах, 3) показать от лица автора, что он возмущен был[3] злостными отзывами Гуськова о его товарищах и храбрых воинах. За тем он пропускает всю вещь. Смягчите же историю даже более, чем он просит, и верните корректуры поскорее. Я думаю, можно бы исключить крепость и вообще что встретится в этом роде. Когда вы познакомитесь с Щербатовым и вообще его оцените, вы поймете мою щекотливость, надо беречь такое сокровище для нашей же пользы. Весь ваш А. Дружинин.

Из описания той рукописи, с которой рассказ набирался, а также из сравнения автографа с журнальным текстом (см. выше, стр. 274—277), видно, в какой мере были исполнены переданные Толстому в виде «просьбы» требования цензуры и пожелания Дружинина.

---

[1] Запись под 31 августа того же года: «Встреча не идет как-то» — относится не к «Разжалованному», как можно было бы подумать, а к «Казакам». См. по этому поводу замечания А. Е. Грузинского (настоящее издание, т. 6, 279).

[2] Печатается по подлиннику из архива Толстого, хранящегося в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина.

[3] Был *повторено в подлиннике дважды*.

Заглавие было изменено, и из него исчезло неприемлемое для цензуры слово «Разжалованный». Резкие выражения об офицерах и вообще о военной кавказской среде были в ряде мест смягчены. Третье требование — показать, что автор «возмущен был злостными отзывами Гуськова о его товарищах и храбрых воинах» — тоже было исполнено, хотя, может быть, не в такой мере, как этого хотелось цензору и Дружинину. Сделанная Толстым вставка, где он высказывает свое отрицательное отношение к отзывам Гуськова об офицерах (см. стр. 88, строка 27, со слов: «Мне было противно», до конца абзаца) изложена в сравнительно спокойном тоне, далеком от «возмущения». Просьбу Дружинина о смягчении рассказа более, чем того требовала цензура, можно считать исполненной лишь в том случае, если поставить ее в связь с советом «исключить крепость и вообще что встретится в этом роде». Быть может, цензор случайно не указал на такое одиозное слово, как «крепость». Допустимо также, что цензор мог не обратить внимания на признание Гуськова: «всё дурное я принимал к сердцу, бесчестность, несправедливость, порок были мне отвратительны, и я прямо говорил свое мнение, и говорил неосторожно, слишкомъ горячо и смело» (см. рукописные варианты рассказа, стр. 276, строки 12—15). Осторожный Дружинин, вероятно, по собственному почину, решил исключить и упоминание о том, что Гуськов сидел в крепости, и его признание об отрицательном отношении к злу жизни: то и другое придавало фигуре Гуськова некоторую близость с «разжалованным» из числа политических преступников. Осторожность Дружинина покажется тем более естественной, что Толстой мог в разговоре с ним упоминать о петрашевце Кашкине, как одном из прототипов Гуськова.

Как видно из дневника, Толстой работал над корректурами 3 и 5 декабря.

Рассказ был напечатан в XII кн. «Библиотеки для чтения» за 1856 г. под заглавием: «Встреча в отряде с Московским знакомым. Из Кавказских записок князя Нехлюдова».

Этот текст мы и даем в качестве канонического, так как ни разу при жизни Толстого, в тех изданиях, за которыми он следил сам, не было сделано им ни одной попытки дать текст по первоначальному автографу. Не говорим уже про отсутствие корректур, цензорских и авторских, а без них нельзя решиться на освобождение текста рассказа от цензурных искажений, так как иногда совершенно неясно, произошло ли изменение текста вследствие требований цензуры, или по другим, чисто-художественным соображениям. Таково, например, пропущенное место с характеристикой сестры Гуськова (см. стр. 275, строки 30 — 37).

Но заглавие мы решились оставить в его первоначальном виде, так как письмо Дружинина и описание рукописи с несомненностью говорят, что здесь Толстой вынужден был уступить требованиям цензуры.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «РАЗЖАЛОВАННОМУ».

В архиве Толстого, хранящемся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина, находятся две рукописи рассказа «Разжалованный».

Первая рукопись *(Папка III)* состоит из 24 лл. F^0, фабрики Аристар-

хова, без водяных знаков. Начиная с конца 16 л., эта рукопись — автограф, до этого места — текст писан чернилами под диктовку Толстого. Что начало рукописи не копия, а текст, писанный под диктовку, доказывает такое написание безграмотного писаря, как: «или когносцировок» (вместо «и рекогносцировок»): оно могло появиться только при письме под диктовку. Очевидно, это именно начало рукописи имеют в виду записи дневника от 9, 10, 11 и 13 ноября (см. «Историю писания и печатания» рассказа). На протяжении всей рукописи — довольно значительное число поправок, вписываний рукой Толстого. Обложка в виде согнутого полулиста писчей бумаги. На ней писарским почерком написано: «Изъ Кавказскихъ воспоминаній. Разжалованный N.».

На 1 л. рукописи первоначальное заглавие, сделанное рукой писаря, было — «Изъ Кавказскихъ воспоминаній. Разжалованный». Оно потерпело целый ряд изменений. Сначала оно было зачеркнуто, и под ним рукой Толстого написано было другое: «Гуськовъ». Это новое заглавие было тоже зачеркнуто, и при помощи штриховой подстрочной линии восстановлен первоначальный заголовок. Но он опять был забракован и несомненно потому, что под ним рукой Дружинина чернилами написано: «Не дадите ли, Лев Николаевич, какого-нибудь заглавия поцензурнее?» Под этим вопросом Дружинина рукой Толстого опять написано: «Гуськовъ», затем зачеркнуто, и, наконец, Толстой дает окончательное заглавие: «Изъ Кавказскихъ записокъ. Встрѣча въ отрядѣ съ Московскимъ знакомымъ».

На 1-м же листе вверху, на полях, карандашная, сильно стершаяся помета Дружинина для типографии: «Велите набирать скорей и въ военную цензуру. Иные имена здесь в сокращении, набирать их вполне, как придется по смыслу». Ниже этого, чернилами, с чьей-то совершенно неразборчивой подписью: «Вторую корректуру, *не отсылая* к г. Цензору, доставить к Алекс. Вас. Дружинину».

Рукопись имеет ряд заметок с фамилиями наборщиков.

На полях есть аннотации.

На л. 21, против того места рассказа, где говорится, что автор дает Гуськову деньги (см. стр. 93, строка 7) написано и зачеркнуто:

Теперь у Олф[ерова] игра, желаетъ [?] поправ[ить]. Что вы? общество дурно? Можетъ увидимся въ Пет[ербургѣ]? выпиваетъ водку, задумывается, вспоминаетъ женщину. Нѣтъ, никогда, я погибъ, плачетъ, желаетъ смерти. Я утѣшаю. Храбрость! Ядро подлость. Капитанъ. Ѣду къ Н[ачальнику] Ар[тиллеріи], дорога, возвращаюсь, у костра Г[уськовъ] хвастаетъ.

На полях л. 21 об., против того места, где Гуськов говорит о возможности встречи в Петербурге и вспоминает прошлое, тоже зачеркнутая аннотация, намечающая мотив, не получивший развития, как и некоторые детали предыдущей аннотации:

Онъ убилъ и о томъ не жалѣетъ.

Наконец, рассказ Никиты о том, как удрал Гуськов, представляет собою вставку, сделанную вследствие зачеркнутой заметки на полях л. 23:

Ник[ита] раз[сказалъ] какъ удралъ.

Вторая рукопись *(П. III)* состоит из 44 лл. F° плотной писчей, слегка желтоватой бумаги канцелярского формата и образца, без водяных знаков и клейм, в виде четырех сшитых между собой тетрадей. Это — копия, переписанная прекрасным писарским почерком. Французские фразы вписаны в оставленные для них места другой, неизвестной рукой. Нет никаких поправок. Заглавие: «Встрѣча въ отрядѣ съ Московскимъ знакомымъ. Изъ Кавказскихъ записокъ князя Нехлюдова». Текст, за исключением немногочисленных, незначительных и, повидимому, случайных отмен, тождественен с журнальным.

ЗАПИСКИ МАРКЕРА.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ «ЗАПИСОК МАРКЕРА».

«Записки маркера» задуманы и написаны в сентябре 1853 года, в Железноводске, куда Толстой приезжал на некоторое время из Старогладковской станицы, для того чтобы полечиться и повидаться с сестрой Марией Николаевной, приехавшей туда же из центральной России, вместе с мужем гр. В. П. Толстым.

В то время у Толстого, по его обыкновению, было начато несколько работ, а именно: он продолжал «Отрочество», обдумывал «Роман русского помещика» и набрасывал кавказские очерки. 12 сентября он отметил в своем дневнике: «Окончил ист[орию] К[арла] И[вановича] (главу «Отрочества»); 13 сентября он пишет: «Утром была тоска страшная», а затем «пришла мысль З[аписок] М[аркера], удивительно хорошо, писал, ходил смотреть Собрание и опять писал З[аписки] М[аркера]. Мне кажется, только теперь я пишу по вдохновению; от этого хорошо».

14 сентября он отметил в дневнике: «Окончил начерно и вечером написал один лист набело. Пишу с таким увлечением, что мне тяжело даже: сердце замирает. С трепетом берусь за тетрадь».

15 сентября опять отметка в дневнике: «Утро писал, не обедал, гулял... С 8 (вечера) писал до 11. Хорошо, но слишком неправильный слог. Больше половины написано».

16 сентября «Записки маркера» были окончены. В этот день Толстой пишет в дневнике: «Молодец! Я работал славно. Кончил».

17 сентября он отмечает, что написал письмо Некрасову; в то же время он отослал ему рукопись «Записок маркера». Таким образом этот рассказ был написан и переписан в четыре дня.

Некрасову Толстой писал: «Посылаю небольшую статью для напечатания в вашем журнале. Я дорожу ею гораздо более, чем *Детством* и *Набегом;* поэтому в третий раз повторяю условие, которое я полагаю для напечатания — оставление ее в совершенно том виде, в котором она есть. В последнем письме Вашем Вы обещали мне сообразоваться с моими желаниями в этом отношении. Ежели бы цензура сделала снова вырезки, то ради Бога, возвратите мне статью или, по крайней мере, напишите мне прежде печатания. Напечатать эту статью под заглавием, выставленным

в начале тетради, или: Самоубийца, Рассказ маркера, будет зависеть совершенно от Вашего произвола». («Архив села Карабихи», стр. 200.) Надо заметить, что Толстому была несвойственна та быстрота в работе, с какой написаны «Записки маркера», и та поспешность, с которой рассказ послан в печать. Вскоре он пожалел о своей поспешности: 25 октября 1853 г. от отметил в дневнике: «Я начинаю жалеть, что слишком поспешно послал «Записки маркера». По содержанию едва ли я много бы нашел изменить и прибавить в них, но форма не совсем тщательно отделана».

Некрасов писал Толстому 6 февраля 1854 г.: «... отвечал вам довольно скоро по получении рукописи («Записки маркера») по старому вашему адресу (на имя Н. Н. Толстого). Там я излагал и мнение мое об этой вещи, спрашивал вас в заключение — печатать ли всё-таки эту вещь или вы соглашаетесь на мои замечания? И так приходится мне теперь повторить эти замечания. «Записки маркера» очень хороши по мысли и очень слабы по выполнению; этому виной избранная вами форма; язык вашего маркера не имеет ничего характерного — это есть рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания; избрав эту форму, вы без всякой нужды стеснили себя: рассказ вышел груб и лучшие вещи в нем пропали. Извините, я тороплюсь и не выбирал выражений, но вот сущность моего мнения об этом рассказе; это я счел долгом сообщить вам, прежде чем печатать рассказ, так как я считаю себя обязанным вам откровенностью за то лестное доверие, которым вы меня удостоили. Притом ваши первые произведения слишком много обещали, чтобы после того печатать вещь сколько-нибудь сомнительную. Однакож я долгом считаю прибавить, что если вы всё-таки желаете, я напечатаю эту вещь немедленно; мы печатаем много вещей и слабее этой, и, если я ждал с этою, то потому только, что ждал вашего ответа. Жду его и теперь...» («Голос минувшего», 1915, 5, стр. 211—212.)

Некрасов медлил с печатанием рассказа, по мотивам, им высказанным в этом письме. Толстой же, повидимому, не намеревался переделывать рассказ и, будучи уже не на Кавказе, а в Турции, писал ему 19 декабря 1854 г. следующее: «Напечатаны ли и когда будут напечатаны «Рассказ маркера» и «Отрочество»? И почему я не получаю «Современника»? Уведомьте меня, пожалуйста, об этом и страховым, чтобы было вернее. Адрес мой тот же, в Кишинев...». Рассказ был напечатан в январской книжке 1855 г. «Современника».

В «Записках маркера» можно найти некоторые черты из жизни самого Толстого. В первоначальной рукописи этого рассказа Нехлюдов говорит, что у него есть сестра, братья, тетка; неупоминание о родителях показывает, что у Нехлюдова ко времени рассказа их не было. Известно, что Толстой также рано потерял родителей. Из его дневников можно видеть, что он под влиянием среды и страстности своего характера так же, как и Нехлюдов, отдавал дань некоторым увлечениям дворянской молодежи, чем жестоко мучался и за что беспощадно себя осуждал. Так, например, осенью 1852 года, живя в Тифлисе, он так же, как герой «Записок маркера», много проиграл билльярдному маркеру. В дневнике 20 марта 1853 года он записал: «В последний раз я

играл в конце Августа — следовательно слишком 6 месяцев — и теперь не чувствую никакого позыва к игре. В Тифлисе я стал играть с маркером и проиграл ему что-то около 1000 партий. В эту минуту я мог бы проиграть всё».

Затем он дает себе слово больше не играть, но, как видно из последующих дневников, не выдерживает характера.

Особенно подчеркивает автобиографичность рассказа предполагавшаяся, но не осуществленная вставка в рассказ (см. вар. № 7). Отношения Нехлюдова к светскому обществу, совет его тетушки вступить в связь с дамой из общества, упрекание себя в тщеславии и лени — всё это как бы выдержки из дневника самого Толстого.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «ЗАПИСКАМ МАРКЕРА»

Рукопись, по которой рассказ «Записки маркера» печатался в «Современнике», и рукопись, по которой он печатался в сборнике «Для легкого чтения», до нас не дошли. В архиве Толстого Публичной Библиотеки Союза ССР имени Ленина находятся три черновые рукописи рассказа, написанные рукою Толстого. Бумага — фабрики бр. Варгуниных. Эти три рукописи состоят из: а) полной первоначальной редакции рассказа, б) неполной редакции и в) вставного листка.

а) *(П. VI.)* F°, 8 лл. Рукопись состоит из четырех листов писчей бумаги, исписанных с обеих сторон; последняя страница исписана лишь наполовину. Это — полный первоначальный черновик рассказа, который, как видно из дневника Толстого, написан горячо, в два дня, так сказать, одним взмахом пера. По почерку можно видеть, что рукопись писалась быстро. Многие слова недописаны, много помарок и вставок; некоторые слова неразборчивы или читаются с трудом.

б) *(П. I. 12. 2.)* 4°, 5 лл. Рукопись, состоящая из 5 листов, исписанных с обеих сторон, не полна: недостает начала и одного листа из середины. Она начинается словами: «На другой день квечеру пріѣзжаетъ», после чего рассказ излагается почти так же, как в печатном тексте; затем он обрывается на словах: «Быстро смѣнялись въ моемъ воображеніи и возно[сили]», после чего следует перерыв, объясняемый потерею листка, т. е. двух страниц. Следующий лист начинается словами: «во всякомъ состраданіи есть облегченіе».

В нескольких местах рукописи поставлены цыфры (от 1 до 4), указывающие на перестановку некоторых абзацев. Эта перестановка отчасти осуществлена при напечатании рассказа. Четыре абзаца перечеркнуты крестообразными линиями. Других поправок и вставок мало. Рукопись написана разборчивым почерком; это перебеленный экземпляр.

в) *(П. I. 12. 3.)* 4°, 1 л. Лист исписан с обеих сторон разборчивым почерком с немногими поправками; повидимому, он вырезан из какой-то тетради. Страницы помечены цыфрами 47 и 48. Вверху страницы, помеченной цыфрой 47, написаны слова: «когда еще не зналъ женщинъ», после чего изложение начинается с красной строки сноской (1), указывающей, что листок предназначалось вставить в рассказ. Листок не может быть

вставкой в рукопись первых двух редакций, так как страницы этих рукописей не нумерованы, а обе страницы листка нумерованы. К какой рукописи предназначалась вставка, остается вопросом.

ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ТРЕХ РЕДАКЦИЙ «ЗАПИСОК МАРКЕРА».

Первая редакция — первоначальная рукопись, написанная в два дня, значительно отличается от печатного текста. Наиболее значительные отклонения следующие.

Заглавие рассказа первоначально было «Разсказъ маркера». Слово «Разсказъ» зачеркнуто и вместо него надписано «Записки».

В первом абзаце рассказа имена некоторых лиц, игравших на бильярде, не те, что в печатном тексте:

Такъ часу въ 3-мъ было дѣло.
Играли господа: князь М., адъютантъ большой были, Стариковъ, что всегда съ к[няземъ], Панъ, Огурцовъ, Михаилъ Иванычь — народу было порядочно.

Под словами: «адъютант большой» следует подразумевать флигель-адъютанта, т. е. адъютанта государя. В печатном тексте эти слова заменены другими: «гость большой»—вероятно по цензурным соображениям. Стариков — это то лицо, которое потом называется «Федоткой».

После слов «шары вынимай» следует вариант № 1. Здесь грубость «гостя большого» («адъютанта большого» в рукописи, т. е. флигель-адъютанта) выражена резче, чем в печатном тексте.

Одежда Нехлюдова описана подробнее:

Сапоги, сертучекъ, жилетикъ, шляпка — все съ иголочки ⟨и сукно, видно, первый портной шилъ⟩, часы золотые старинные и цепь золотая ⟨тогда только мода на толстыя вышла⟩; на ней всякія штучки висятъ, тутъ и печатка и каретка, тутъ и сапоги ⟨и въ шарфѣ булавочка дорогая⟩.

Затем маркер предполагает, что Нехлюдов изъ большой фамиліи, изъ ученья только вышелъ, что изъ деревни пріѣхалъ, помѣщикъ т[о]е[сть].

Грубость «адъютанта большого» еще раз подчеркнута в следующих словах:

Кричитъ на меня, что я счелъ будто не такъ, какъ бурлакъ какой, кій даже объ земь шваркнулъ. Не хочу, мылъ, больше играть, ужъ прямо на барина не похожъ.

Вместо слов: «с удовольствием» — в рукописи: Авекъ плезиръ (я съ бариномъ старымъ какъ въ Парижѣ жилъ, такъ по-французски научился немного).

Про пана говорится: Да ужъ игралъ чисто... Бестія! и мнѣ то съ нимъ не сыграть.

В рукописи после слов: «я от тебя ничем не обижусь» следует:— А вы — подлецъ! А вы — мальчишка.

После слов: «вовсе не смыслил» следует эпизод с француженкой (вариант № 2)

После слов: «человек молодой, непривычный» — следует вариант № 3, внесенный в текст рассказа в XII и последующих изданиях полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, но не помещаемый в тексте настоящего издания по соображениям, приводимым ниже, при изложении истории печатания.

В рукописи после слов: «скуластый, дурной такой» следует: такая морда, прости Господи, какъ у моськи, и благороднаго-то ничего нѣтъ, а ходилъ чисто, въ каретѣ ѣзжалъ, не своей, а въ княж[еской].

В рукописи после слов «промеж себя разговаривают» следует: Ты, говоритъ, того, Есмеральду, говоритъ, не знаешь; что твоя Венера! Она, говоритъ, такая изъ себя красавица! А Федотка знай калантара поставитъ, тѣ киксы да киксы, а онъ потаскиваетъ и зашибъ, по 6 р. съ брата.

В рукописи после слов: «Дай бутылку» следует: А нынче все: угодно вамъ заинтересовать. И съ паномъ даже играть сталъ. Ужъ я говорю: что вы сударь, мылъ, съ такимъ человѣкомъ играть изволите? Вѣдь онъ ужъ, мылъ, извѣстный и битъ за то.

В рукописи после слов: «Да опять дернет» следует: На другой день его не было; п[анъ] съ княземъ игралъ, да и разговорились про Козельского.[1] Онъ, говоритъ, богатый и знатной фамиліи. Признаюсь, пожалѣлъ я, что 1000 р. спустилъ ему.

В рукописи после слов: «до того доходил, что» подробнее: извощику заплатить у меня занимаютъ, съ Эстервой часто пріѣзжалъ, а отъ Ста[рикова] ни на шагъ. На верху играютъ, и какіе-то у нихъ втроемъ съ к[няземъ] счеты были мудреные; ужъ не понимаю, кто кому долженъ. Тотъ у того беретъ, тотъ у того беретъ, а все Стар[иковъ] имъ давалъ.

После слов: «иду назад» в рукописи несколько иначе: слышу, что кто-то дверью стукнулъ крѣпко, иду въ биль[ярдную], порохомъ пахнетъ. Смотрю, а онъ лежитъ, вздрагиваетъ, пистолетъ во рту, кровь изо рта такъ и хлещетъ.

Первоначальная редакция предсмертной записки Нехлюдова, как видно из варианта № 4, несколько отличается от печатного текста и полнее его.

Вторая редакция «Записок маркера» в той части рукописи, которая сохранилась, близка к тексту, напечатанному в сборнике «Для легкого чтения» и изданиях полн. собр. сочинений, начиная с XII издания; но в конце рукописи, в предсмертной записке Нехлюдова, есть два места, не вошедшие в книжный текст. Это — во-первых, те четыре абзаца, которые крестообразно перечеркнуты (вар. № 5) и, во-вторых, рассуждения Нехлюдова о самоубийстве и будущей жизни (вариант № 6). Содержание

---

[1] В первоначальной редакции Нехлюдов назывался Козельским.

перечеркнутого отчасти, но в иной редакции, вошло в рассказ. Рассуждения же Нехлюдова выпущены.

Вставной листок (рукопись 1. 12. 3., вар. № 7) не вошел в книжный текст.

ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ «ЗАПИСОК МАРКЕРА».

Рассказ «Записки маркера», посланный в редакцию «Современника» в сентябре или октябре 1853 г., пролежал там больше года и появился в печати только в первом январском номере «Современника» 1855 г. с подписью Л. Н. Т. «Отечественные записки» дали о нем сочувственный отзыв, и Толстой отмечает в своем дневнике 27 марта:

«Приятнее же всего было прочесть отзывы журналов о З[аписках] М[аркера], отзывы самые лестные. Радостно и полезно тем, что поджигая к самолюбию, побуждает к деятельности».

В следующем 1856 году «Записки маркера» вновь появились, уже с подписью «графъ Л. Н. Толстой», в сборнике «Для легкого чтения (повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей», вып. II. Спб., изд. книжного магазина Давыдова и К°. 1856. Цензурное разрешение от 22 мая 1856 года.

Рассказ был передан издателю Давыдову для напечатания в сборнике «Для легкого чтения» самим Толстым.

В его дневнике 14 мая 1856 г., писанном в Петербурге, отмечено: «Пришел Давыдов. Кончил с ним».

Если принять во внимание, что цензурное разрешение на II вып. сборника «Для легкого чтения» помечено 22 мая 1856 г., то надо предполагать, что с Давыдовым речь шла именно о «Записках маркера». Следовательно, текст «Записок маркера», напечатанный в сборнике «Для легкого чтения», есть текст, напечатанный по последней, не сохранившейся рукописи или корректуре, признанной автором окончательной.

В сборнике «Для легкого чтения» «Записки маркера» напечатаны в гораздо более полном виде, чем в «Современнике». При сравнении текста «Для легкого чтения» с текстом «Современника» становится очевидным, что пропуски и изменения в тексте «Современника» — цензурного происхождения. Хотя между временем появления «Записок маркера» в «Современнике» и временем их напечатания в «Для легкого чтения» прошел всего год с небольшим (январь 1855 г. — май 1856 г.), но этот год был как раз началом значительного перелома в русской жизни (19 февраля 1855 г. вступил на престол Александр II) и в частности началом значительного облегчения тех условий, в которых находилась русская печать. Этим и объясняется появление «Записок маркера» в гораздо более исправном и полном виде.

К сожалению, в последующих изданиях сочинений Толстого, включительно до XI изд. 1903 г., «Записки маркера» перепечатывались из «Современника», т. е. в неполном виде. Лишь в XII и последующих изданиях помещен тот текст, который был напечатан в сборнике «Для легкого чтения» с немногими неточностями и некоторой разницей в орфографии.

Сравнение текста «Записок маркера» в «Современнике» с текстом этого же рассказа в сборнике «Для легкого чтения» дает богатый материал для

истории цензуры. На это впервые указал М. О. Гершензон в литературном обозрении «Научного слова» за 1905 г.

Однако не все пропуски восстановлены. После слов «человек молодой, непривычный» (стр. 106, строка 15) в сборнике «Для легкого чтения» поставлено двойное тире :—.—, подобное тем двойным тире, которые указывают на пропуски, сделанные в «Современнике».

В XII и последующих изданиях полного собрания сочинений Толстого здесь сделана следующая вставка, заимствованная из первоначальной рукописи: «Так тут бильярд и загадил. Уж на другой день за сукно 80 руб. заплатил».

Однако такая конъектура едва ли уместна, так как Толстой сам передал свой рассказ издателю Давыдову и тем санкционировал его редакцию. Вопрос же о том, сделан ли пропуск автором, издателем или цензором и по каким причинам, в настоящее время не может быть разрешен; поэтому в настоящее издание такая конъектура не вводится, и пропущенное печатается не в тексте, а входит в вариант № 3.

На том же основании из второй редакции рассказа в текст не вносится конец предсмертной записки Нехлюдова (вариант № 6), несмотря на то, что эти рассуждения о самоубийстве и загробной жизни были, вероятно, выпущены по цензурным соображениям.

В настоящем издании «Записки маркера» печатаются в редакции сборника «Для легкого чтения» с сохранением особенностей речи маркера (трахтир, маркел, канфуз, испужался и т. п.) с следующими поправками:

Слово «пан», как прозвище одного из бильярдных игроков, печатается нами курсивом и с прописной буквы везде, где он упоминается. В «Современнике» оно напечатано с прописной буквы и обыкновенным шрифтом, а в сборнике «Для легкого чтения» со строчной буквы и в трех местах курсивом, а в четырех — обыкновенным шрифтом.

Стр. 100, строка 13. *Вместо:* посмотрел да и сел — *печатается как в «Современнике»:* посмотрел, посмотрел, да и сел

Стр. 103, строка 30. *Вместо:* пирамиду — *печатается, тоже по «Современнику»:* пирамидку

Стр. 104, строки 39—40. *Вместо:* чтобы он, то есть, на дуэль согласия не делал — *печатается:* чтобы он, то есть, на дуэль согласие сделал, *что согласно с рукописью.*

Стр. 111, строка 1. *Вместо:* просто ничего политики не знал. — *печатается по «Современнику»:* простой, ничего политики не знал.

Стр. 116, строка 23. *Вместо:* грозной колеи — *печатается:* грязной колеи, *что также согласно с рукописью.*

МЕТЕЛЬ.

Толчком к написанию «Метели» послужило происшествие, случившееся с Толстым 24 января 1854 г., когда он возвращался с Кавказа домой, в Ясную поляну. Отметив в дневнике под 27 января, что он был в дороге с 22 числа, Толстой продолжает: «24 в Белогородцевск[ой], 100 [верст] от Черк[асска], плутал целую ночь. И мне пришла мысль написать рассказ «Метель».

В записи того же дня есть следующее место: «(Смешно сказать, что) Ничто так не порадовало меня и не напомнило мне Россию дорогой, как обозная лошадь, которая, сложив уши, несмотря на раскаты саней, галопом старалась обогнать мои сани». Эти строки представляются нам тоже связанными с замыслом «Метели», объясняющими, с одной стороны, те места рассказа, где особенно тщательно выписаны фигуры лошадей, а с другой — ту главу, где автор, под влиянием охватившей его дремоты, переносится мысленно в Россию, в свое именье, в среду близких ему лиц.

Следующее упоминание о «Метели» встречается более, чем через два года. Под 2 февраля 1856 г. Толстой записывает в дневнике: «Завтра привожу в порядок бумаги, пишу письма Пелагее Ильинишне и старосте и набело «Метель», обедаю в шахматном клубе и всё пишу еще «Метель...»

Работа была закончена 12 февраля. В этот день в дневнике отмечено: «Окончил «Метель», ей очень довольны». Сам Толстой был другого мнения. «Как понравилась тебе «Метель»? — писал он брату, С. Н. Толстому, вскоре после напечатания рассказа. — Я ею недоволен — серьезно».[1]

«Метель» была напечатана в III кн. «Современника» за 1856 г.

Журнальный текст рассказа не был выправлен с достаточной тщательностью и в дальнейших изданиях, несмотря на несомненно делавшиеся иногда попытки исправления, скорее ухудшался, чем улучшался.

В журнальном тексте «Метели», помимо легко поддающихся исправлению явных опечаток, грубых орфографических ошибок и мелких промахов, попадаются места, которые возбуждают сомнение, но которые тем не менее приходится оставлять без всякого изменения за отсутствием рукописей рассказа и корректур. Такова, например, фраза: «Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки» (гл. V, стр, 128, строка 7).

[1] ПСС. XXI, 145.

Издание Стелловского (1864 г.) повторило журнальный текст, добавив к нему несколько новых ошибок. Например, вместо: «в переднем возу» — появилось: «в переднем углу» — чтение, дожившее до XI издания (гл. III, стр. 123, строка 36).

Несколько случайных пропусков изд. Стелловского были, в дальнейших изданиях, источником новых и не всегда удачных чтений. Сюда относится такой случай. Во фразе: «у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестали земли» изд. Стелловского пропустило последнее слово, и в последующих изданиях получилось: «у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестал» (гл. III, стр. 123, строка 12).

О несомненных попытках исправления текста «Метели» после изд. Стелловского свидетельствуют многочисленные, систематические изменения видовых форм глагола. Таковы, например, «испытывал» вместо «испытал», «повторил» вместо «повторял», «обогнали» вместо «обгоняли» (гл. III), «начинали» вместо «начали» (гл. V), «спотыкнулась» вместо «спотыкалась», «дергала» вместо «дернула», «подкидывала» вместо «подкинула» (гл. VII) и т. д. Эти замены далеко не всегда улучшали текст, который к тому же продолжал обрастать новыми ошибками, иногда очень грубыми. Так, например, в VI гл. Федор Филиппыч бежит к пруду спасать утопающего, «на бегу *надевая* сюртук» (изд. XI, ч. III, стр. 54), вместо того, чтобы его *снимать*, как и было в первом печатном тексте. Отметим, что, начиная с IV изд., в гл. VI появилась существенная отмена: бегущая к пруду Матрена не *стопятилетняя*, а *семидесятилетняя* старуха.

Так как не сохранилось ни рукописей, ни корректур «Метели», и неизвестна доля участия Толстого в исправлениях текста после появления рассказа в «Современнике», мы даем в настоящем издании журнальный текст с исправлением очевидных опечаток и некоторыми отменами.

Во-первых, исправляем нумерацию глав: в «Современнике» следующая за VI глава помечена цыфрой VIII, и неправильная нумерация идет до конца рассказа.

Во-вторых, вносим в текст следующие поправки:

Гл, II. Стр. 122, строки 8—9. *Печатаем:* охотницкий колокольчик — *вместо* охотничий колокольчик. *Такое написание дано четырьмя строками ниже, и в начале главы упоминается* охотницкое заведение.

Гл. V. Стр. 127, строка 15. *Печатаем:* останется — *вместо:* остается. *Считаем, что в журнале опечатка.*

Гл. VI. Стр. 130, строки 28—29. *Печатаем:* волоча одну ногу в шерстяном чулке, — *вместо:* волоча одну ногу, ногу в шерстяном чулке. *Считаем, что в журнале опечатка.*

Стр. 134, строка 18. *Печатаем:* половину ночи — *вместо:* половина ночи. *Считаем, что в журнале опечатка.*

Гл. VII. Стр. 136, строка 2. *Печатаем:* подпрыгивал — *вместо:* попрыгивал. *Считаем, что в журнале опечатка.*

Гл. VIII. Стр. 138, строка 18. *Печатаем:* чем же это кон-

чится? Ежели мы не найдем — *вместо:* чем же это кончится, ежели мы не найдем. *Считаем, что в журнале опечатка.*

Гл. X. Стр. 141, строки 34—35. *Печатаем:* Очертания и цвета спины ямщика и лошадей — *вместо:* Очертания и цвета, спины ямщика и лошадей. *Считаем запятую опечаткой.*

Гл. XI. Стр. 143, строки 28—29. *Печатаем:* согрелся бы важно, — сказал ему советчик. — *вместо:* согрелся бы, важно сказал ему советчик. *Считаем, что в журнале опечатка.*

Сохраняем написания: перебуться, перебулся (стр. 141, строки 6 и 16), *не считая их опечатками, а передачей народного говора.*

ДВА ГУСАРА.

Повесть «Два гусара» написана в Петербурге в первые месяцы знакомства и сотрудничества Толстого с кружком писателей, работавших в «Современнике». В Петербурге первая запись дневника Толстого помечена 21 ноября 1855 г.: «Я в Петербурге у Тургенева».

С 26 ноября он уже не числился на действительной военной службе и теперь мог вполне отдаться своему призванию писателя. В 1856 г. он одновременно работал над несколькими произведениями. В конце декабря 1855 г. он обещал дать А. Краевскому для «Отечественных записок» еще неоконченный рассказ «Утро помещика» (начатый им еще в 1852 г. под названием «Романа русского помещика»); [1] в то же время он работал над «Юностью» и повестью из кавказской жизни (будущие «Казаки»). Эти произведения он подолгу обдумывал, по нескольку раз переделывал, на время откладывал и не спешил отдавать в печать.

Иначе была создана повесть «Два гусара»: задумав ее, он тотчас же стал ее писать и написал в продолжение одного месяца.

11 марта помечено в дневнике: «Пишу прежде всего Епишку или Беглеца, потом комедию, потом «Юность». Но на следующий же день, 12 марта, он изменяет своему намерению и отмечает: «Задумал отца и сына». После этой записи в дневнике нет упоминаний о каких-либо литературных работах вплоть до 15 апреля, когда он отмечает: «Вчера окончил отца и сына». А 19 апреля он записал: «Кончил даже поправки отца и сына, который по совету Некрасова назвал Два гусара. Лучше». В печатном тексте «Современника», в конце повести, стоит еще более ранняя дата окончания повести, а именно 11 апреля. Отсюда видно, что, начиная с 12 марта и до 11 апреля, Толстой был усиленно занят «Двумя гусарами». 26 апреля он записал, что держал корректуры. Так как в то время никакое другое его произведение не печаталось, то очевидно, это были корректуры «Двух гусаров».

Вращаясь в то время в светских и литературных кругах, Толстой читал свою повесть в знакомых ему домах. Он говорил Гольденвейзеру (А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», I, М. 1922, стр. 112), что читал

[1] См. письмо к Краевскому от 31 декабря 1855 г. «Л. Н. Толстой», «Труды Толстовского музея». 1929, стр. 57. «Утро помещика» появилось «в Отечественных записках» лишь в декабрьской книжке 1856 г.

«Двух гусаров» впервые у Блудовых, где, по его словам, собирались писатели того времени. В его дневнике 23 апреля 1856 г. записано: «Обедал у Блудовых»; вероятно, тогда же он читал свою повесть. Из записи дневника 12 мая видно, что он читал свою повесть также у Толстых: «Вечер провел у Толстых, читал Гусаров». Толстые — это вдова и дети гр. Андрея Андреевича Толстого, с одной из дочерей которого — Александрой Андреевной Толстой — он был впоследствии дружен.

«Два гусара» впервые напечатаны в майском номере «Современника» 1856 г. на первом месте, с посвящением сестре Марии Николаевне Толстой, с эпиграфом: «Жомини, да Жомини, а о водке ни полслова. Д. Давыдов» и с подписью: Граф Лев Толстой.

Эпиграф взят из стихотворения «Песня старого гусара» известного партизана 1812 г., поэта Дениса Давыдова. В этом стихотворении (написанном в 1819 г.) старый гусар иронически относится к следующему за ним поколению гусаров; в одной из строф он говорит о новых гусарах:

Говорят, умней они...
Но что слышим от любова?
Жомини, да Жомини,
А об водке ни полслова. [1]

Последние два стиха вошли в поговорку.

Швейцарец барон Генрих Жомини (1779—1869), известный стратег и военный писатель, участвовал в войнах Наполеона; его книга «Traité des grandes opérations militaires» «Трактат о крупных военных операциях» была в свое время хорошо известна в военной среде.

Эпиграф к «Двум гусарам» наводит нас на предположение, что мысль о сопоставлении двух поколений гусаров навеяна Толстому стихотворением Д. Давыдова.

Для характеристики героя первой части повести Федора Ивановича Турбина Толстой воспользовался чертами характера и поведением своего двоюродного дяди гр. Федора Ивановича Толстого (1782—1846), прозванного «Американцем».[2] Ф. И. Толстой участвовал в кругосветном плавании адмирала Крузенштерна, за свои проделки был высажен не то в Камчатке, не то на какой-то дикий остров, побывал в русских американских колониях, на Алеутских островах и в Ситхе, и через всю Сибирь, частью пешком, вернулся в Петербург. Л. Н. Толстой слышал много рассказов о нем от общих с ним родственников: от своего зятя и родного племянника Американца — Валерьяна Толстого, от вдовы Американца Толстого цыганки Авдотьи Максимовны, от дочери Американца — П. Ф. Перфильевой и от семьи Андрея Андреевича Толстого, с семьей которого был близок Федор Иванович, и с дочерью которого — Александрой Андреевной — был дружен Лев Николаевич. Сам Толстой лишь однажды в детстве видел Американца.

---

[1] См. сочинения Д. В. Давыдова, 6 изд., приложение к журналу «Север», I, 1893.

[2] О нем см. С. Л. Толстой. «Федор Толстой Американец». Изд. ГАХН М. 1926. На Ф. И. Толстого намекает Грибоедов в «Горе от ума» в монологе Репетилова и Пушкин в «Послании к Чаадаеву».

В своих воспоминаниях Толстой говорит о нем следующее: «Помню его прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми бакенбардами до углов рта, и также белые курчавые волосы. Много хотелось бы рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека». (П. И. Бирюков, Л. Н. Толстой. Биография. М. Изд. «Посредника». 1911 I, стр. 89.)

В начале прошлого столетия в военно-дворянской среде поощрялась удаль, в чем бы она ни выражалась. Удалью считалась не только храбрость на войне, но и всякие смелые и рискованные, нередко предосудительные, проделки. Ф. Булгарин говорит про Ф. И. Толстого: «Он был человек эксцентрический... Тогда было в моде молодечество, и он довел его до отчаянности».

Близкое родство графа Турбина и гр. Ф. И. Толстого очевидно. Турбин такой же, как и Ф. И. Толстой—бреттер, кутила, любитель цыганского пения и такой же недобросовестный игрок. У него так же, как у американца Толстого, курчавые волосы, блестящие живые глаза, громкий голос, даже то же имя и отчество; его проделки в том же роде; он также «красив, привлекателен и преступен». Менее преступен, но и менее привлекателен второй гусар, сын Ф. И. Турбина. Об отношении к нему автора можно судить по следующей заметке дневника Толстого: «16 мая. Пришел Фет и Трувсон. Последний прелестно сказал, что второй гусар написан без любви».

Читатели из той среды, к которой принадлежали два гусара, далеко не все встретили повесть дружелюбно. После поездки в Кунцево к Боткину Толстой записал в дневнике от 18 мая: «Одни говорят, что ругают, другие говорят, больше литераторы, что гусаров хвалят». Другая запись как бы подтверждает первое мнение: «26 мая. Был у Сушкова, который выразил мне неудовольствие за гусаров». Текущая же литература, наоборот, давала хвалебные отзывы.[1]

Рукописей, относящихся в «Двум гусарам», ни беловых, ни черновых до нас не дошло. Текст повести печатался во всех последующих изданиях в том виде, в каком был напечатан в кн. № 5 «Современника» 1856 г.

Для настоящего издания также принят текст «Современника» с следующей поправкой:

Стр. 165, строка 2. *Печатаем:* блестящие зубы *вместо:* блестящие усы, *исправляя явную ошибку.*

---

[1] «Современник», 1856 № 12. Статья Н. Чернышевского. «Библиотека для чтения» 1856, т. 139, статья А. Дружинина.

ЗАПИСКИ О КАВКАЗЕ. ПОЕЗДКА В МАМАКАЙ-ЮРТ.

В «Истории писания» «Набега» (см. стр. 291) уже были приведены выдержки из дневника Толстого за октябрь 1852 г. 13 числа он отметил, что намерен писать «К[авказские] О[черки] для образования слога и денег», а 19 числа привел и программу задуманной серии очерков. Среди них значится «Поездка в Мамакай-Юрт».

Произведение это осталось незаконченным. Быть может, причиной тому был сатирический тон «Записок», который, как отметил Толстой в дневнике под 7 июля 1852 г., был «не в его характере», и который он изгонял, например, из первоначальных набросков «Набега».

Тем не менее к этому незаконченному отрывку Толстой, несомненно, возвращался, — не для того, чтобы продолжать его, а как к наброску, который, — быть может впервые, — в сжатом виде выразил его взгляд на то, что он, под влиянием читанного и слышанного, думал найти на Кавказе, и что нашел в действительности. А это — один из мотивов и «Набега», и «Рубки леса».

В комментариях к «Рубке леса» (см. стр. 305) было отмечено, что в этот рассказ вошли, почти буквально, некоторые строки из «Поездки в Мамакай-Юрт». Мы имеем в виду VI главу рассказа, одну из важнейших для раскрытия его замысла, в той ее части, где Болхов говорит, что «в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками», а автор, соглашаясь с Болховым, добавляет: «мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь, воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?». III глава «Набега», там, где идет речь о поручике Розенкранце и ему подобных, которые смотрят на Кавказ «сквозь призму «героев нашего времени», Мулла-Нуров и т. п.», которые «образовались по Марлинскому и Лермонтову» , тоже стоит в непосредственной связи с «Поездкой в Мамакай-Юрт».

Датировка, которую Толстой дает своему пребыванию на водах Старого Юрта и поездке в Мамакай-Юрт, требует поправки.

Июнь 1852 г. Толстой провел в Пятигорске, а в Старом Юрте и, очевидно, Мамакай-Юрте, он был в июне 1851 г. Запись дневника под 11 июня 1851 г. говорит, что Толстой вместе с братом, Н. Н. Толстым, уехал в лагерь под Старым Юртом 6 числа этого месяца. Обратно в Старогладков-

скую он вернулся 2-3 августа. Мы предполагаем, что поездку в Мамакай-Юрт отмечает дневник под 4 июля 1851 г.: «Завтра поеду в аул и в Грозное». Мамакай-Юрт как раз аул, расположенный в 20 км. от Грозной, с минеральными источниками, известными под именем «Теплицы св. Павла». Таким образом, отрывок должен был бы начинаться словами: «Въ 1851 году...»

Автограф, с которого «Поездка в Мамакай-Юрт» впервые печатается в настоящем издании, хранится в архиве Толстого в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина *(П. 2)* и состоит из 4 лл. 4° в виде двух согнутых и вложенных друг в друга полулистов сероватой писчей бумаги без водяных знаков и клейма. Довольно много вычеркиваний, поправок и вставок. Судя по чернилам, отрывок писан по меньшей мере в два приема.

СВЯТОЧНАЯ НОЧЬ.

Рассказ писался Толстым на Кавказе в 1853 г. К работе над ним относятся следующие записи дневника этого года. 12 января: «Задумал очерк: «Бал и бардель». 17 апреля: «Встал рано, хотел писать, но поленился, да и начатый рассказ не увлекает меня. В нем нет лица благородного, которое бы я любил; однако мыслей больше». На следующий день: «писал не дурно. План рассказа только теперь начинает обозначаться с ясностью. Кажется, что рас[сказ] может быть хорош, ежели съумею искусно обойти грубую сторону его». В суммарной записи 21 — 25 апреля: «окончил начерно С[вяточную] Н[очь], примусь за корректуру», а немного далее, в тот же день: «Мои теперешние желания: *получить солдат[ский] крест, чин на месте, и чтобы оба рассказа мои удались*». В связи с предыдущими и последующими записями можно полагать, что Толстой разумеет здесь «Отрочество» и «Святочную ночь». По всей вероятности, о последнем рассказе говорит запись дневника под 7 мая: «Нынче писал довольно много, изменил, сократил кое-что и придал окончательную форму рассказу». Наконец, к 15 мая относится последняя запись: «Р[ассказ] Свят[очная] Н[очь] совершенно обдумал. Хочу приняться...».

Нельзя не отметить в рассказе наличия несомненного автобиографического элемента. Так, например, характеристика московского общества и положения в нем молодого человека, вроде Сережи Ивина, героя «Святочной ночи», находит себе параллель в тех «Записках», которые Толстой начал было писать в дневнике в июне 1850 г., вспоминая в них зиму 1847 — 1848 гг. Автобиографичны и те страницы рассказа, где Толстой так горячо и с таким знанием дела говорит о цыганских песнях. Увлечение цыганами сказалось в 1850 г., между прочим, неосуществившимся замыслом «написать повесть из Цыганского быта» (Дневник, 8 декабря 1850 г.). Наконец, Р., разделявший с автором «Святочной ночи» интерес к изучению цыганской музыки, — по всей вероятности, тот самый Рудольф, пьющий немец-музыкант, с которым Толстой познакомился у своих друзей Перфильевых, и которого привез с собой в Ясную поляну в мае 1849 г.

Рассказ сохранился в черновом наброске, доведенном до конца, и во вторичной, перебеленной обработке его начала. Как видно будет ниже, есть основания предполагать, что сохранились следы еще одной, третьей, рукописи рассказа, — вероятно, первоначальной,

Рукописи «Святочной ночи» находятся в архиве Толстого, хранящемся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина *(П. XXII)*.

Автограф-черновик, писанный чернилами, с многочисленными поправками, состоит из 34 лл. 4° в виде согнутых пополам полулистов серой писчей бумаги без водяных знаков и клейм. Кончая л. 21 — авторская пагинация, нумерующая рукопись через лист, причем есть один пропуск, так что на л. 21 вместо 11 стоит 10. После 22 л., несомненно, вложены листы из другой рукописи. За это говорят три обстоятельства. Прежде всего, на первых из шести лл. (23 — 28 по общему счету) имеется, опять через лист, авторская пагинация: 9, 10, 11. Во-вторых, л. 22 кончается словами: «Нѣтъ объ этомъ я не жалѣю», а л. 23 (как указано выше, с авторской пагинацией 9) начинается зачеркнутыми словами: «Однаго точно какъ б», после чего идет повторение конца листа 22: «Нѣтъ объ этомъ я не жалѣю». Весьма вероятно соединение текста, данного на первых 22 лл., с другим, написанным ранее. В-третьих, на л. 23 герой, называвшийся до сих пор Сережей, обозначен инициалом К.

Заглавие: «Какъ гибнетъ любовь» надписано над первоначальным зачеркнутым заголовком: «Святочная ночь».

Текст разделен на главы, обозначенные в большинстве случаев римскими цыфрами и имеющие заглавия. Первоначально, повидимому, главы отделялись одна от другой чертами. Затем появились обозначения цыфрами. Что касается заглавий, то по цвету чернил, которыми они сделаны, и по положению их в отношении к цыфрам можно утверждать, что они появились позже как разделительных черт, так и цыфровых обозначений. Названия глав таковы:

I. Встрѣча. II. Два ребенка. III. Балъ. IV. Увлеченіе. V. Невинность. VI. Любовь. VII. Она могла бы быть счастлива. VIII. Знакомство со всѣми уважаемымъ бариномъ. IX. ⟨Кутежъ.⟩ Веселье. X. Мечты. XI. За что? Кто виноватъ?

От V главы имеется одно заглавие, без текста, и непосредственно за ним идет VI гл. Главы X и XI не имеют цыфровых обозначений.

На обороте 22 л. находится два перечня глав, которые мы воспроизводим полностью (см. «Планы» рассказа стр. 266). На обороте последнего, 34 л., находится вариант VII гл., который также воспроизводится полностью (см. вариант № 1, стр. 267).

К одной из черновых редакций рассказа надо отнести 2 лл. 4° в виде согнутого полулиста серой бумаги. Это вариант VIII гл., который печатается полностью, за исключением первой строчки: «нравимся мы ей. Слушайтесь меня» — отбившейся от предыдущего текста (см. вариант № 2, стр. 268).

Черновая рукопись носит на себе явные следы неотделанности. Имя главного действующего лица, юноши, любовь которого гибнет, несколько раз меняется. Выше было уже указано на одно место, где имя обозначено инициалом К. (то же в варианте № 2), тогда как раньше он назывался Сережа или Serge. С конца IX гл. он называется Alexandre. В VIII гл. появляется новое лицо — Н. Н. Долгов, и в дальнейшем не всегда ясно, к кому относятся инициалы Н. Н.: к Долгову или к кн. Корнакову,

который вообще из фигуры, стоявшей на первом плане рассказа, превращается в какое-то второстепенное лицо, заслоненное другими.

Этот автограф условно называем первой редакцией рассказа.

Беловой автограф, тоже писанный чернилами, занимает 14 лл. 4° в виде согнутых пополам полулистов серой писчей бумаги. Рукопись переписана очень тщательно на первых 8 лл. С л. 9 начинаются поправки и вставки, сначала немногочисленные, но всё увеличивающиеся к концу рукописи, так что два последних листа похожи скорее на черновик. Главы обозначены римскими цыфрами. Заглавие — «Святочная ночь».

По содержанию беловая рукопись соответствует первой, второй и приблизительно четырем пятым третьей главы черновой редакции, подвергшимся стилистической обработке. Лишь одно место и по содержанию значительно изменилось в беловой рукописи: характеристика графа Шёфинг и взаимных отношений его и жены. Это место из II гл. мы даем по черновому тексту (см. вариант № 3, стр. 269).

Беловую рукопись условно называем второй редакцией рассказа.

Таким образом, в настоящем издании воспроизводятся: беловой текст рассказа полностью; черновой текст, начиная с того места III гл., которое непосредственно примыкает к концу беловой рукописи, и, наконец, указанные выше перечни глав и варианты. Текст дан без всяких изменений и поправок в именах действующих лиц, которые, как было сказано, в рукописях неустойчивы. По возможности сохранены и особенности пунктуации Толстого, которые могут показаться несколько странными, особенно при передаче слов кн. Корнакова, где необычная расстановка точки с запятой и вопросительного знака, упорно повторяющаяся несколько раз, по всей вероятности имеет целью передать интонационные особенности речи этого персонажа.

В варианте № 2 допущено отступление от подлинника для исправления явной ошибки. В ркп. сказано, что Н. Н. впервые обратился к К. «въ единственномъ родѣ втораго лица». Мы исправляем: «въ единственномъ числѣ втораго лица».

Рассказ «Святочная ночь» был напечатан в книге «Лев Толстой». Неизданные художественные произведения, со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф Саводника» изд. «Федерация», М. 1928. В этом издании дан по новой орфографии сводный текст из черновой и беловой рукописей. Варианты не приведены, и в тексте есть некоторые отмены против подлинника. В изд. Госиздата: Л. Толстой. Полное собрание художественных произведений, т. I, под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума, с примечаниями В. И. Срезневского, М. — Лнгр., 1928, текст рассказа дан по черновой рукописи, и в него, следовательно, вошел данный нами вариант № 3. В распределении и обозначении глав есть отступления от рукописного подлинника.

ДЯДЕНЬКА ЖДАНОВ И КАВАЛЕР ЧЕРНОВ.

Этот незаконченный рассказ сохранился среди материалов, предназначавшихся Толстым для задуманного им и его товарищами в конце 1854 г. журнала. Журнал, как писал Толстой брату С. Н. Толстому, должен был «поддержать хороший дух в войске», защищавшем Севастополь.

Точной датировке отрывок не поддается. Запись в дневнике под 14 июля 1854: «написал Жданова», сопоставленная с предыдущими и последующими заметками о работе над «Рубкой леса», несомненно относится именно к этому рассказу, а не к «Дяденьке Жданову и кавалеру Чернову», как можно было бы подумать.

Как видно из самого начала рассказа, в основу его легли кавказские впечатления Толстого.

Жданов — несомненно тот же Жданов, про которого рассказывается в «Рубке леса», и о котором есть записи в дневнике Толстого (см. «История писания» «Рубки леса», стр. 306—308). Разница лишь в том, что в «Рубке леса» мы встречаемся со знакомцем Толстого, уже как с «дяденькой Ждановым», старым, заслуженным кавказским солдатом, а в сохранившемся начале другого рассказа перед нами Жданов — только что «пригнанный» на Кавказ новобранец, недавно начавший проходить жестокую военную муштровку Николаевского времени.

Автограф рассказа находится в архиве Толстого, хранящемся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина *(П. XVI)*, и состоит из 2 лл. F° в виде листа серовато́й писчей бумаги без водяных знаков и клейма, перегнутого пополам в продольном направлении. На левой половине 1 л. находится начало первой редакции рассказа, перечеркнутое поперечными, частью перекрещивающимися линиями. На правой половине 1 л. и на левой половине 1 л. об. и 2 л. находится незаконченная вторая редакция рассказа, судя по чернилам и почерку писанная позднее первой. Заглавие дано над первоначальным наброском рассказа.

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН.

В настоящий указатель введены имена личные и географические: названия исторических событий (войн, сражений, революций и т. п.), учреждений, предприятий; заглавия книг, названия статей, журналов, газет, произведений (слова, живописи, скульптуры, музыки); имена героев художественных произведений не Толстого и Толстого, когда последний упоминает их не в тех произведениях, где они выведены. Знак || означает, что цыфры страниц, стоящих после него, указывают на страницы текста не Толстого.

Автуры — аул — || 304.

«Аглицкий милорд». См. «Повесть о приключении англинского милорда...»

Азия — 65.

Александр I (1777—1825)— русский император — 146, 157.

Александр II (1818—1881) — русский император— || 322.

«Александр, Елизавета» — танец — 157.

Алексеев Никита Петрович — командир 4 батареи 20 артиллерийской бригады, в которой служил Толстой — || 305, 307.

Алеутские острова служат океаническим продолжением североамериканского полуострова Аляски — || 328.

Амалат-Бек (правильнее Аммалат-Бек) — герой повести того же названия (1832 г.) Марлинского. См. Марлинский.

«Английский милорд». См. «Повесть о приключении англинского милорда...».

Аргунское ущелье — в среднем течении р. Аргуна, было резиденцией Шамиля — || 304.

Аргун — река в Терской области, правый приток Сунжи, притока Терека — 86.

Аристархова бумажная фабрика — || 293, 296, 314—315.

«Архив села Карабихи», Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову — || 299, 318.

Аустерлицкая битва при Аустерлице в Моравии 2 декабря/20 ноября 1805 г., так называемое, сражение трех императоров (Наполеона, Франца I и Александра I), закончившееся решительной победой французов — 228.

Ахиллес — герой древне-греческого эпоса. Мать Ахиллеса, Фетида, окунула его в р. Стикс, отчего он стал неуязвим, кроме пятки, за которую его держала Фетида—232.

Ашукин Николай Сергеевич. См. «Архив села Карабихи».

Баден-Баден — курорт в Австрии — 216.

Балта — чеченец, приятель Толстого — || 287, 291.

Барыкова Прасковья Васильевна. См. Толстая гр. П. В.

Барятинский кн. Александр Иванович (1814—1879) — командир левого фланга кавказской армии в 1852—1854 гг. — || 287—289, 304.

Белогородцевская — станица вблизи Новочеркасска — || 324.

Бельбек — селение в Крыму в долине р. Бельбек, в 10 в. к се-

веру от Севастополя и в 35 в. от Бахчисарая — || 309.

«Березушка» — народная песня — 73, 74.

Берс Софья Андреевна. См. Толстая гр. С. А.

Бирюков П. И., «Л. Н. Толстой. Биография», т. I — || 329.

Блудовы — семья гр. Дмитрия Николаевича Блудова (1785—1864), || 328.

Бобровский П. О., «История 13 лейб-гренадерского Эриванского полка за 250 лет (1642—1892)» — || 312.

Бородинская битва — сражение русских, под начальством Кутузова, и французов, под начальством Наполеона, вблизи Москвы 26 августа 1812 г. — 228.

Боткин Василий Петрович (1811—1869) — писатель — || 329.

Буемский Николай Иванович — прапорщик легкой № 6 батареи 20 артиллерийской бригады и бригадный адъютант — || 289—291.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционный журналист, беллетрист и критик — || 329.

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866) — основатель и глава кружка русских фурьеристов — || 312.

Бэла — героиня части («Бэла») романа Лермонтова «Герой нашего времени». См. Лермонтов М. Ю.

«Ванька и Танька» — народная песня — 262.

Варгунины х писчебумажная фабрика — || 319.

Ватерлоо — деревня близ Брюсселя, где в 1815 г. коалиционные войска одержали победу над Наполеоном — 37.

Венера — богиня любви и красоты у древних римлян — 158, 321.

Верстовский А. Н. «Аскольдова могила» («Оскольдова могила») — 262.

«Вестник Европы» — журнал (1866—1910), издававшийся М. М. Стасюлевичем в Петербурге — || 312.

«Виют витры» — украинская песня — 27.

Воейков Петр Александрович (1828—1894) — сын опекуна Толстых Александра Сергеевича Воейкова — || 289.

Волочок — Вышний Волочек, город Тверской губ. — 153.

Воронцов кн. Михаил Семенович (1782—1856) — наместник Кавказский в 1844—1853 гг.—79.

«Восстание в Серале» — балет М. Тальони (поставлен в Москве в 1840 г.). См. Тальони М.

Гамлет Щигровского уезда — герой рассказа Тургенева того же названия. См. Тургенев И. С.

Гергебиль — селение в Дагестанской области — 71.

Герой нашего времени — персонаж романа «Герой нашего времени» Лермонтова, Печорин. См. Лермонтов М. Ю.

Гершензон М. О., «Литературное обозрение» — || 323.

Гете Иоган-Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт — || 308.

Глинка М. И., «Жизнь за царя» — 262.

Говарда бумажная фабрика — || 293, 296.

Гольденвейзер А. Б., «Вблизи Толстого», т. I.— || 312, 327.

«Горе от ума» — комедия. См. Грибоедов А. С.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — писатель — || 328. — «Горе от ума» — ||328 (Репетилов).

Грозная (Грозное) — крепость на Кавказе, на левом берегу р. Сунжи, притока Терека — || 304, 331.

Грузинский А. Е. «Объяснительная статья к «Казакам» — || 313.

Грузинский А. Е. См. Толстой. «Неизданные художественные произведения».

Давыдов Алексей Иванович — книгопродавец - издатель в Петербурге — || 300, 322, 323.

Давыдов Д. В., «Песня старого гусара» — 145 (нот.) — || 328. — «Сочинения» — || 328.

«Дама камелий» — «La dame aux camélias» («Дама с камелиями») — роман (1848 г.) Александра Дюма-сына, переделанный им самим в пьесу. См. Дюма А.

Дарги (Дарго) — чеченский аул, известный по неудачному походу на него гр. Воронцева в 1845 г. — 15, 72, 73, 201, 210.

«Две девицы» — водевильные куплеты — 262.

Дело 17—18 февраля 1852 г.— походы отряда кн. Барятинского в глубь Чечни, при которых Толстой едва не был убит снарядом, ударившим в колесо орудия, которым он командовал — || 288, 304.

Дело 16—17 февраля 1853 г. — артиллерийское дело на Качкалыковском хребте, за которое Толстой был представлен к производству в прапорщики — || 304.

Джеми — чеченец— || 287.

Диана — у древних римлян богиня света луны — 158.

«Для легкого чтения (повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей)». Вып. 2— || 319, 321—323.

Доницетти Гаэтано (1797—1848) — итальянский композитор— 262. — «Лючия» — 25.

«Дорожка» — цыганская песня — 165.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — писатель — || 312.

«Дружбы нежное волненье» — цыганская песня — 167.

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — критик, беллетрист, редактор «Библиотеки для чтения» — || 313—315.

Дружинин А. В., «Метель». «Два гусара». Повести гр. Л. Н. Толстого — || 329.

Дюма Александр, сын, «Дама камелий» — 264.

Европеус Александр Иванович (1826—1885)—член революционного кружка М. В. Буташевича-Петрашевского — || 312.

Елизавета Алексеевна (1779—1826) — русская императрица, супруга Александра I — 157.

Емс — см. Эмс.

Епишка. См. Сехин Е. —

Ергольская Татьяна Александровна (1792—1874) — троюродная тетка Толстого — || 288, 289, 308.

Ермолов Алексей Петрович (1779—1861) — генерал командовавший отдельным кавказским корпусом и главноуправляющий Грузией в 1817—1827 гг.: один из жестоких «усмирителей» восстаний кавказских народов в их борьбе с русским царизмом за независимость. — 65.

Жданов — солдат 4 батареи 20 артиллерийской бригады, сослуживец Толстого — || 306—308, 335.

Железноводск — курорт на Кавказе — || 317.

«Жизнь за царя» — опера (1836 г.). См. Глинка М. И.

Жомини Генрих (1779—1869)— французский военный писатель — 145.—«Traite des grandes opérations militaires» — || 328.

Захаров — солдат, сослуживец Толстого по 4 батарее 20 артиллерийской бригады — || 307.

Земля Войска Донского — 118, 119.

Зябрев Василий Ермилович — яснополянский крестьянин, был старостой в начале 1850-х гг.— || 324.

Индейская гора — испорченное название Андийского хребта, отрога главного Кавказского хребта — 72.

Италия — 262.

Кавказ (Капказ) — 15, 17, 27, 29, 50, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 65, 70, 75, 83, 87, 88, 93, 215—217, 221, 224, 226, 228, 229, 232, 235, 270, 272, || 287, 296, 297, 304, 307, 313, 318, 324, 330, 332 335.

Кавказская линия — передовые пункты и все занятые русскими части Кавказа по северную сторону главного и Андийского хребтов — 271, 272.

Казань — 54.

Казбек (Кизбек) — вершина Кавказского хребта — 51.

Калуга — 54.

Камчатка — полуостров в северо-восточной части Азии — || 328.

«Катенька - полька» —

музыка танца, написанная на слова водевильного куплета — 25.

Качкалыковский хребет — продолжение одного из отрогов Андийского хребта — || 304.

Кашкин Николай Сергеевич (1829—1914) — член революционного кружка М. В. Буташевича-Петрашевского — || 312, 314.

Китай — 65.

Кишинев — || 318.

Козихи — Большой и Малый Козихинские переулки в Москве.— 259.

Колбасин Дмитрий Яковлевич — знакомый Толстого — || 300.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) —редактор-издатель журнала «Отечественные записки» — || 327.

«Круг». Альманах. Книга 6.— || 300.

Крузенштерн Иван Федорович (1770—1846) — русский адмирал — || 328.

Кузнецкий мост—улица в Москве — 241.

Кунцево — дачная местность в 10 в. от Москвы — || 329.

Куринское укрепление — на Куре, самой большой реке Кавказского края — || 304.

Лебедянь — уездный город Тамбовской губ. — 147, 148, 165.

Лермонтов (Лермантов)Михаил Юрьевич (1814—1841)—писатель — 22, 215, 232, 330.—«Герой нашего времени» — 22 («Герой нашего времени» — Печорин), 232 (id. и Бэла), 330 («Герой нашего времени»).

«Ливанька — полька»— музыка танца, написанная на слова водевильного куплета — 25.

«Лючия»—опера. См. ДоницеттиГ

Макай — аул. См. Мамакай-Юрт.

Мамакай-Юрт (Макай — аул) — аул в Чечне — 215, 238, || 291, 305, 330, 331.

Мария — сказочный персонаж — 134.

Марлинский — псевдоним писателя Александра Александровича Бестужева (1797—1837) — 22, 215, 232, || 330. — «Аммалат-Бек» — 232 (Аммалат-Бек).—«Мулла-Нур» — 22 (Мулла-Нур) 232, (id.), || 330 (id.).

Метехский замок — тюрьма в Тифлисе — || 312.

Мечик—река на Кавказе—75.

Милорадович гр. Михаил Андреевич (1771—1825) — генерал, участник войны 1812 г.— 145.

Михайловский-Данилевский А. И., «Описание отечественной войны 1812 года» («Описание войны») — 16, 226, || 290.

«Молодость» — старинная русская песня, исполнявшаяся цыганами — 262.

Морская—улица в Петербурге — 94.

Москва — 61, 81, 82, 145, 150, 152, 168, 173, 208, 260, 277.

Мулла-Нур — герой рассказа (1836 г.) того же названия Марлинского. См. Марлинский.

Наполеон I (1769—1821)— французский император — 56, || 328.

Невская бумажная фабрика — || 309.

Некрасов Николай Алексеевич (1826—1877)—поэт, редактор «Современника» в 1847—1866 г. — || 291, 298—301, 308—310, 317, 318, 327.

«Не одна во поле дороженька» — старинная русская песня, исполнявшаяся цыганами — 262.

Николаев — военный и коммерческий порт на берегу Бугского залива — || 307.

Новотроицкий — трактир в Москве — 255, 257.

Новочеркасск — областной город Донской области — 118, || 324.

«Ночка» — цыганская песня— 261.

«Описание войны». См. Михайловский-Данилевский А. И.

Орел — город — 217.

«Оскольдова могила».— опера (1835 г.): См. Верстовский А. Н.

«Отечественные записки» — журнал, издававшийся в Петербурге А. А. Краевским в 1839—1884 гг. — || 322, 327.

«Отче наш» — молитва — 72.

Париж — 320.
Пассек Диомид Васильевич (1808—1845) — военный кавказский деятель — 62.
Патриаршие пруды — в Москве — 259.
Пелагея Ильинична — См. Юшкова П. И.
Перфильев Василий Степанович (1826—1890) — приятель Толстого, в 1878—1887 гг. московский губернатор — || 332.
Перфильева Прасковья Федоровна рожд. гр. Толстая (1831—1887) — дочь гр. Ф. И. Толстого-американца, жена В. С. Перфильева — || 328, 332.
Петербург — 87, 88, 94, 98, 111, 145, 278, || 309, 313, 315, 327, 328.
Петербургский университет — || 312.
Пистолькорс — вероятно, Александр Васильевич (1824—1879) — || 289.
Платон, Диалог «Лахес или о мужестве» — 16, 17, 226 (цит.), 238 (id.), 239, || 290, 293.
«Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике-Луизе...» (1753, первое печ. изд. 1782 г. Матвея Комарова) («Аглицкий милорд», «Английский милорд») — 47, 205.
Польша — 230, 297.
Поход 1852 г. См. Дело 17 — 18 февраля 1852 г.
Поход 1853 г. См. Дело 16 — 17 февраля 1853 г.
«Прости» — старинная русская песня, исполнявшаяся цыганами — 262.
Публичная библиотека Союза ССР им. Ленина (б. Румянцевский музей) — || 293, 300, 309, 313, 314, 319, 331, 333, 335.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 145. — «Послание к Чаадаеву» — || 328.
Пыпин А. Н., «Н. А. Некрасов» — || 309.
Пятигорск — курорт на Кавказе — 216, || 330.

Репетилов — персонаж в «Горе от ума» Грибоедова. См. Грибоедов А. С.
Россини Джакомо (1792—1868) — итальянский композитор — 262.
Россия — 17, 21, 43, 54, 62, 64—66, 68, 204, 209, 229, 230, 235, 262, 276, || 296, 317, 324, 330.
Рубин — фейерверкер 4 батареи 20 артиллерийской бригады, сослуживец Толстого — || 306, 307.
Рудольф (Р.) — музыкант, приятель Толстого — 262, || 332.
Русанов Гавриил Андреевич (1844—1907) — близкий знакомый Толстого — || 288.
Русь — 262.

Саводник В. Ф. См. Толстой «Неизданные художественные произведения».
Саксония — королевство в Германии — 235.
Саратов — 217.
Саратовская губерния — 217, 272.
Севастополь — || 308, 309, 335.
Сехин Епифан (Япишка) — старый гребенской казак станицы Старогладковской, приятель Толстого, прототип Ерошки в «Казаках» — || 291, 327.
Сибирь — || 328.
Синий мост — в Петербурге — 102.
Ситха — город в Аляске — || 328.
Слепцов Николай Павлович (1815—1851) — пользовавшийся большой известностью участник кавказских войн — 62.
«Слышишь, разумеешь» — цыганская песня — 166, 261, 262.
«Современник» — журнал, издававшийся в Петербурге в 1847—1866 г. — 201—212, || 289, 298—302, 308—311, 318, 319, 322—329.
Спевак — ефрейтор 4 батареи 20 артиллерийской бригады, сослуживец Толстого — || 307.
Срезневский В. И. См. Толстой, «Полное собрание художественных произведений в 15 томах».
Ставропольская губерния — 54.
Старогладковская — станица Терской области — || 287, 304, 317, 330.
Старостa (324) — см. Зябрев В. Е.
Старый Юрт — чеченский

поселок в Терской области — 215, 216, || 330.

Стасюлевич Александр Матвеевич (ум. в 1867 г.)—офицер, брат редактора-издателя «Вестника Европы» — || 312.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — редактор-издатель «Вестника Европы» — || 312.

Сулимовский Михаил Иванович — офицер 4 легкой батареи 20 артиллерийской бригады, непосредственный начальник Толстого — || 289, 292.

Сушков Николай Васильевич (1796—1871) — крупный чиновник, стихотворец и драматург — || 329.

Тальони М. «Восстание в Серале» — 166.

Тамбов — 65.

Теплицы св. Павла — минеральные источники в Мамакай-Юрте — || 331.

Терек — река на Кавказе — 216.

Терская линия — цепь казачьих станиц по р. Тереку — 216.

Тифлис — 70, || 312, 318, 319.

Тифлисская губерния — 54, 207.

Толстая гр. Александра Андреевна (1817—1904) — дочь гр. Андрея Андреевича Толстого, близкий друг Толстого — || 328.

Толстая гр. Евдокия Максимовна, рожд. Тугаева (1796—1861), жена гр. Ф. И. Толстого-американца, цыганка родом — || 328.

Толстая гр. Елизавета Андреевна (1812—1867)—дочь гр. Андрея Андреевича Толстого, сестра гр. Александры Андреевны Толстой — || 328.

Толстая гр. Мария Николаевна (1830—1912)—сестра Толстого — 145, || 317, 328.

Толстая гр. Пелагея Ильинична. См. Юшкова П. И.

Толстая гр. Прасковья Васильевна, рожд. Барыкова (1796—1879), вдова гр. Андрея Андреевича Толстого — || 328.

Толстая гр. Прасковья Федоровна. См. Перфильева П. Ф.

Толстая гр. Софья Андреевна, рожд. Берс (1844 — 1919) — жена Толстого — || 293—296, 300—303.

Толстая гр. Софья Андреевна (1824—1895)—дочь гр. Андрея Андреевича Толстого, сестра гр. Александры Андреевны Толстой — || 328.

Толстой гр. Андрей Андреевич (1771—1844) — родной брат деда Толстого, гр. Ильи Андреевича Толстого — || 328.

Толстой гр. Валерьян Петрович (1785—1864) — муж сестры Толстого, гр. М. Н. Толстой — || 317, 328.

Толстой гр. Илья Андреевич (1813—1879) — сын гр. Андрея Андреевича Толстого — || 328.

Толстой Л. Н.

«Бал и бардель». См. «Святочная ночь».

— «Беглец» См. «Казаки».

— «Венгерка» — || 306, 313.

— «Военные рассказы». Спб. 1856. — || 295, 297, 300 — 303, 310.

— «Встреча в отряде с Московским знакомым». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».

— «Встреча в отряде с Московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».

— «Гусары». См. «Два гусара».

— «Гуськов». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».

— «Два гусара» («Гусары», «Отец и сын») — 145 — 200, || 294, 327—329.

— «Детство» — || 289, 291, 300, 317.

— «Дневник кавказского офицера». См. «Рубка леса».

— Дневники — || 287—293, 296, 299, 301, 305 — 309, 312, 313, 315, 317—319, 322, 324, 327—332.

— «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» — 271—273, || 335.

— «Записки кавказского офицера». См. «Рубка леса».

— «Записки маркера» («Рассказ маркера», «Самоубийца. Рассказ маркера») — 100—117, 211, 212, 278—283, || 317—323.

— «Записки о Кавказе. По-

ездка в Мамакай-Юрт» («Поездка в Мамакай-Юрт»)—215—217, || 291, 305, 330—331.
— «Записки фейерверкера». См. «Рубка леса».
— «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» («Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова», «Гуськов», «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный N», «Из кавказских записок. Встреча в отряде с московским знакомым», «Пропащий человек», «Разжалованный») — 75—99, 274—277, || 287, 306, 312—316.
— «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный N». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».
— «Из кавказских записок. Встреча в отряде с московским знакомым.» См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».
— «Кавказские очерки» — || 290—291.
— «Кавказский рассказ» — || 291.
— «Казаки» («Беглец», «Казачья поэма») — || 287, 305, 306, 313, 327.
— «Казачья поэма». См. «Казаки».
— «Как гибнет любовь». См. «Святочная ночь».
— «Комедия» — || 327.
— «Метель» — 118—144, || 324, 326.
— «Набег» («Описание войны», «Письмо с Кавказа», «Рассказ волонтера») — 15 — 39, 201—203, 218—240, || 287—304, 310, 317, 330.
— «Неизданные художественные произведения, со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника». Изд. «Федерация», М. 1928— || 334.
— «Описание войны». См. «Набег».
— «Отец и сын». См. «Два гусара».
— «Отрочество» — || 305 — 307, 317, 318, 332.
— «Очерки Кавказа» — || 291, 292, 305, 330.
— Письма Толстого:
— Буевскому Н. И. — || 291.
— Ергольской Т. А. — || 288, 289, 308.
— Зябреву В. Е. — || 324.
— Краевскому А. А. — || 327.
— Некрасову Н. А. — || 291, 298, 301, 308, 309, 317, 318.
— Русанову Г. А. — || 288.
— Толстому Н. Н. — || 294.
— Толстому С. Н.— || 300, 308, 324, 335.
— Юшковой П. И. — || 324.
— Письма к Толстому:
— Давыдов А. И. — || 300.
— Дружинин А. В.— || 313, 314.
— Колбасин Д. Я. — || 300.
— Некрасов Н. А. — || 291, 299, 309, 318.
— «Письмо с Кавказа». См. «Набег».
— «Повесть из цыганского быта». — || 322.
— «Поездка в Мамакай-Юрт». —215—217, || 330—331.
— «Полное собрание сочинений» под ред. П. И. Бирюкова. Изд. Сытина. М. 1912 (в 20 томах)— || 310, 321, 325.
— «Полное собрание сочинений» под ред. и с прим. П. И. Бирюкова. «Библиотека Русского слова». Изд. Сытина. М. 1913 (в 24 томах) (ПСС) — || 289, 294, 300, 303, 309, 310, 321, 324, 325.
— «Полное собрание художественных произведений» под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума и с прим. В. И. Срезневского. Гиз, 1928 (в 15 томах) — || 295, 303, 310, 321, 325, 334.
— «Полное собрание художественных произведений» под ред. И. И. Гливенко и М. А. Цявловского, Гиз. Приложение к журн. «Огонек». 1928 (в 12 томах)— || 310, 321, 325.
— «Пропащий человек». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».
— «Разжалованный». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».
— «Рассказ волонтера». См. «Набег».
— «Рассказ маркера». См. «Записки маркера».
— «Роман помещика». См. «Утро помещика».
— «Роман русского помещика». См. «Утро помещика».
— «Рубка леса» («Дневник кавказского офицера», «Записки фейерверкера», «Записки юнкера»,

«Рубка леса. Дневник кавказского офицера») — 40 — 74, 204 — 210, 270, || 287, 304—311, 313, 330, 335.
— «Рубка леса. Дневник кавказского офицера». См. «Рубка леса».
— «Русский помещичий роман». См. «Утро помещика».
— «Самоубийца. Рассказ маркера». См. «Записки маркера».
— «Святочная ночь» («Бал и бардель», «Как гибнет любовь»)— 241—269, || 332—334.
— «Сочинения». Изд. Ф. Стелловского. Спб. 1864 — || 310, 325.
— «Сочинения». Изд. 3-е. М. 1873 — || 310.
— «Сочинения». Изд. 4-е. М. 1880 — || 310, 325.
— «Сочинения». Изд. 5-е, С. А. Толстой. М. 1886— || 310, 325.
— «Сочинения». Издания с 6-го (1886 г.) по 11-е (1903 г.) С. А. Толстой. М. — || 310, 325.
— «Сочинения». Изд. 12, С. А. Толстой. М. 1911 — || 295, 300, 302, 303, 310, 321—323, 325.
— «Утро помещика» («Роман помещика», «Роман русского помещика», «Русский помещичий роман») — || 291, 292, 306, 313, 317,327
— «Юность» — || 327.
«Л. Н. Толстой». «Труды Толстовского музея». М. 1929. — || 327.
Толстой гр. Николай Николаевич (1823—1860) — старший брат Толстого — || 288, 292, 294, 301 318, 330.
Толстой С. Л. «Федор Толстой американец». — || 328.
Толстой гр. Сергей Николаевич (1826—1904) — брат Толстого — || 300, 308, 324, 335.
Толстой гр. Федор Иванович (1782—1846) — двоюродный дядя Толстого, по прозванию «американец» — || 328, 329.
Тросенко — офицер, капитан, сослуживец Толстого — || 307.
Трувсон Федор Иванович — брат Луизы Ивановны кн. Волконской — || 329.
Тугаева Евдокия Максимовна. См. Толстая гр. Е. М.
Тугенбунд — буквально — «союз доблести, патриотическое общество научного и морального характера, основанное в Кенигсберге в 1808 г. — 145.
Тульская губерния — 123.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель — || 304, 305, 309, 310, 327.—«Гамлет Щигровского уезда» (Гамлет Щигровского уезда) — || 309. — «Записки охотника» — || 305, 309.
Турин — главный город итальянской провинции Турин — 87.
Турция — || 318.

Умахан-Юрт — селение Терской области на р. Аргун — || 304.

Федоров В. П., «Лев Николаевич Толстой на военной службе» — || 287.
Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт — || 329.
Франклиновский журнал — так Толстой называл свои ежедневные записи слабостей, по имени американского ученого и государственного деятеля Вениамина Франклина, у которого он заимствовал этот обычай — 283.
Фридрих II Великий (1712—1786) — прусский король — 56.

Халабаев К. См. Толстой «Полное собрание художественных произведений в 15 томах».
Хилковский — офицер, знакомый Толстого — ||288, 289, 292.
Хобишаевдонские высоты — крайний с севера гребень гор в Чечне — || 304.
«Хожу ль я по улице» — цыганская песня — 166.

Чекатовский — вероятно один из сослуживцев Толстого на Кавказе — || 306.
Черкасск. См. Новочеркасск.
Черные горы — крайний с севера гребень большого Кавказского хребта — || 304.
Черных — солдат, сослуживец Толстого по 4 батарее 20 артиллерийскокй бригады — || 307.
Чернышевский Н. Г. «Заметки о журналах» — || 329.
Чечня (Большая и Малая) — область на северном склоне Андийского водораздела и в равнине Сунжи и ее притоков — 40, 67, 216, || 304.
Чикин — вероятно, солдат, сослуживец Толстого по 4 батарее 20 артиллерийской бригады — || 307.

Шамиль (1797 — 1871) — вождь горцев Дагестана и Чечни в их борьбе с русским царизмом за независимость, в 1859 г. при взятии Гуниба сдавшийся кн. А. И. Барятинскому — 24, 30, 97, 216, 236.

Шибунин Василий — рядовой, защитником которого в военном суде выступал Толстой — || 312.

Щербатов кн. Григорий Алексеевич (1819—1881) — попечитель Петербургского учебного округа — || 313, 314.

Щигровский уезд — Курской губернии — || 309.

«Эй вы, гусары...» цыганская песня — 166.

Эйхенбаум Б. М. «Лев Толстой. Книга первая». — || 288.

Эйхенбаум Б. М. См. Толстой «Полное собрание художественных произведений в 15 томах».

Эмс (Емс) — курорт в прусской провинции Гессен-Нассау — 216.

Юшкова Пелагея Ильинична, рожд. гр. Толстая (1798—1875) — тетка Толстого, сестра его отца — || 324.

Янжул, «Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20 артиллерийской бригады. 1806—1886» — || 304.

Япишка — См. Сехин Е.

Япония — 65.

Ясная поляна — имение Толстого, Крапивенского у., Тульской губ. — || 287, 312, 324, 392.

«Aurora Walzer» («Аврора-вальс») — музыка бального танца — 27.

«Dame aux Camélias». См. «Дама камелий».

«Traité des grandes opérations militaires». См. Жомини.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Предисловие к третьему тому	7
Редакционные пояснения	9
Набег. Рассказ волонтера (1852 г.)	15
Рубка леса. Рассказ юнкера (1852—1854 гг.)	40
Из кавказских воспоминаний. Разжалованный. (1853—1856 гг.)	75
Записки маркера. Рассказ (1853—1855 гг.)	100
Метель. Рассказ (1855 г.)	118
Два гусара. Повесть (1856 г.)	145
Печатные варианты:	
Набег	201
Рубка леса	204
Записки маркера	211

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ.

*«Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт» (1852 г.)	215
Варианты из рукописных редакций «Набега»	218
**«Святочная ночь» (1853 г.)	241
*Планы «Святочной ночи»	266
Варианты из рукописей «Святочной ночи»	267
*Вариант «Рубки леса»	270
*«Дядинька Ждановъ и кавалеръ Черновъ» (1854 г.)	271
*Варианты из рукописи «Разжалованного»	274
Варианты из рукописей «Записки маркера»	278

КОММЕНТАРИИ.

Н. М. Мендельсон.

«Набег».	
История писания «Набега»	287
Описание рукописей, относящихся к «Набегу»	29
Обзор содержания первой и третьей рукописных редакций и печатного текста «Набега»	296
История печатания «Набега»	298
«Рубка леса».	
История писания «Рубки леса»	304
История печатания «Рубки леса»	309
«Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».	
История писания и печатания «Разжалованного»	312
Описание рукописей, относящихся к «Разжалованному»	314

Стр.

С. Л. Толстой.
«Записки маркера».
История писания «Записок маркера» 317
Описание рукописей, относящихся к «Запискам маркера» . . 319
Обзор содержания трех редакций «Записок маркера» 320
История печатания «Записок маркера» 322
Н. М. Мендельсон.
«Метель» 324
С. Л. Толстой.
«Два гусара» 327
Н. М. Мендельсон.
«Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт» 330
«Святочная ночь» 332
«Дяденька Жданов и кавалер Чернов» 335
Указатель собственных имен. 336

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Фототипия с фотографии Л. Н. Толстого, снятой в 1854 [?] г. (размер подлинника) — между 12 и 13 стр.
Первый лист копии «Разжалованного» с поправками Толстого и пометами А. В. Дружинина — (размер подлинника) — между 80 и 81 стр.
Шестой лист рукописи первой редакции «Записок маркера» (размер подлинника) — между 112 и 113 стр.
Первый лист белового автографа «Святочной ночи» (размер подлинника) — между 268 и 269 стр.

Настоящее юбилейное издание первого полного собрания произведений Л. Н. Толстого печатается на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 июня 1925 г.

Отпечатано с матриц в типографии имени Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57. Заказ Изд-ва № 624. Тираж 5000 экз. Уполн. Главлита № Б-6551. Формат бумаги 68×100¹/₁₆. 77600 тип. зн. в 1 бум. листе. 10,75 бум. л. + 4 вклейки. 21¾ печ. л.
Заказ тип. № 1730.
Корректор
М. А. ПЕРФИЛЬЕВА
*
Техническая редакция
Н. И. ГАРВЬЯ